

А.И. ВОЛОДИН, Ю.Ф. КАРЯКИН, Е.Г. ПЛИМАН

**ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ИЛИ
НЕЧАЕВ?**



**ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ИЛИ
ПЕЧАЛЕВ?**



**О подлинной и мнимой
революционности
в освободительном
движении России
50–60–х годов
XIX века**

А.И.ВОЛОДИН,
Ю.Ф.НАРЯНИН,
Е.Г.ПЛИМАК

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ИЛИ НЕЧАЕВ?

Издательство
«Мысль»
Москва · 1976

В книге, написанной к 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, воссоздается образ непреклонного борца с самодержавием, защитника крестьянских интересов, создателя и пропагандиста глубокой и цельной революционной концепции. Авторы анализируют знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» — синтез его революционных поисков, его завещание грядущим поколениям. Деятельность Чернышевского рассматривается на фоне основных событий, происходивших в русском освободительном движении 50—60-х годов XIX в. Сравнительный анализ позволяет авторам книги выделить разные типы революционности, четко отделить не только революционность от либерализма, но и революционность продуманную, глубокую, подлинную от революционности незрелой, поверхностной, мнимой.

ВВЕДЕНИЕ

Полтора века тому назад, 12 (24) июля 1828 г., родился великий русский революционер, вождь разночинцев-шестидесятников Николай Гаврилович Чернышевский.

Всего около десяти лет (1853—1863), считая с публикации первых рецензий в «Отечественных записках» до появления знаменитого романа «Что делать?» в «Современнике», продолжалась его общественная деятельность. Не примечательная никакими внешними эффектами, она оставила неизгладимый след в истории России. Эту деятельность Чернышевский завершал уже в четырех стенах тюремной камеры, узником Петропавловской крепости.

Царизм беспощадно разделался с писателем-революционером. Но если можно было заживо похоронить в сибирской ссылке человека (правда, и здесь он сумел написать содержательнейший роман о революционерах — «Пролог»), то уже нельзя было убить посеянные им и его соратниками идеи. Не раз и не два они давали новые всходы, пока наконец поколение пролетарских революционеров во главе с В. И. Лениным не ответило делом трех российских революций на завещанный их предшественниками вопрос: «Что делать?»

Время — самый строгий ценитель прошлого — подтвердило жизненность наследия Чернышевского. То же самое время позволяет нам — при новых поворотах событий — видеть в этом наследии новые, малоприметные до того грани, открывать в нем новые черты.

В наши дни по-новому содержательными и особенно притягательными чертами в наследии Н. Г. Чернышевского оказываются обдуманность, трезвость, основательность его революционности в отличие от той легковесности, бездумности, незрелости, которые тоже видело на своем веку российское освободительное движение и кото-

рые еще при жизни Чернышевского нанесли этому движению немалый вред.

Чтобы оценить по достоинству глубину, содержательность революционности Чернышевского, требуется прежде всего верное воспроизведение сути его революционной теории — задача далеко не простая, учитывая и объем его трудов, и особенно их подцензурный характер. Для этого требуется, далее, такой сравнительно-исторический анализ, который позволил бы сопоставить разные типы революционности, выделить фигуры не только родственные, но и различные и даже противоположные по духу, образу действий, по своим воззрениям. Отдельные примеры такого анализа появились в новейшей марксистской литературе¹. Требованиями такого анализа определены и хронологические рамки, и название нашей книги, может быть еще и не столь привычные для взгляда.

Действительно, имена Чернышевского и Нечаева в нашей литературе обычно не ставят рядом: Чернышевский и Нечаев — своего рода противоположности, антиподы освободительного движения XIX в.

Чернышевский больше всех сделал для пробуждения теоретического сознания подрастающего поколения разночинцев, для обучения, воспитания, закалки плеяды профессиональных революционеров, заслужив глубочайшую признательность мыслящей России и Европы.

«Нечаевщина» вошла в историю русского и международного освободительного движения XIX в. опасным, по-своему поучительным примером извращения целей и средств революционной борьбы; ее решительно осудило большинство русских революционеров-семидесятников; опасность «нечаевщины» была подчеркнута в документах I Интернационала.

Но именно потому, что Чернышевский и Нечаев были антиподами русского революционно-демократического движения XIX в., сопоставление этих фигур приобретает важное значение и смысл. Оно прежде всего позволит показать трудность перехода от теоретической революционной мысли к революционному делу, трудность, возникавшую в любом достаточно широком освободительном движении XIX в. Появление ко второй половине

¹ См., например, Жак Дюкло. Бакунии и Маркс. Тень и свет. М., 1975.

XIX в. болсе или менее глубокой теории общественного развития (хотя и не достигшей в России уровня научной теории, но во многих моментах приближавшей к нему) еще не превращало автоматически эту теорию в действительное практическое руководство. Широкое освободительное движение всегда впитывает, вбирает в себя множество элементов, еще не созревших для органического усвоения теории или способных на первых порах овладеть ею лишь формально, «в смысле усвоения догматической стороны ее...»².

Эти трудности «перевода» теории в практику удесятелялись в странах полуфеодальных, с самодержавным политическим строем. Теоретики-революционеры не имели здесь возможности открыто и систематически излагать свое учение. Более того, если им и удавалось — не в последнюю очередь благодаря блестящему литературному таланту — с громадным трудом и риском донести до передовой мыслящей прослойки общества какую-то сумму своих идей, то это еще не давало немедленного осязаемого результата. И сами «воспитатели», и их «воспитанники» затем слой за слоем, поколение за поколением «выкашивались» царскими репрессиями.

Поддержание и продолжение революционной традиции оказывалось делом невероятной трудности, а приток в движение новой, незрелой, неопытной молодежи, действия их вожаков могли давать, несмотря на их личный героизм, самоотверженность и даже самопожертвование, такие «образцы» революционной теории и практики, которые обнаруживали в той или иной мере явное отступление от подлинной революционности. Такой особо трудной и мучительной полосой утери значительной части уже завоеванных теоретических и практических позиций были для молодой революционной России годы глухой реакции середины и конца 60-х годов XIX в., когда «учителя» томились в застенках или погибли, «Колокол» утратил былое влияние на общество, а в центре политической борьбы оказались фигуры типа Ишутина, Каракозова или даже Нечаева.

Сравнение деятельности и заветов Чернышевского с каракозовским и особенно с нечаевским «делом» позволит нам отделить глубокую, продуманную революцион-

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 38, стр. 82.

ность от примитивных, незрелых форм революционности (какими бы благими субъективными побуждениями они ни прикрывались), а тем более от псевдореволюционности.

Современная жизнь, как никогда, остро ставит проблему такого различения. В наши дни к революционному творчеству поднялись в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки широчайшие народные массы, в их политической практике совершенно неизбежны (именно в силу невиданной широты движения) те или иные проявления незрелости, «левизны», зарождение «ультрареволюционности» того или иного типа³. Целенаправленную борьбу с подобными рода крайностями ведут в наши дни коммунистические и рабочие партии мира, показывая своей деятельностью пример выдержанной научной революционной политики. Борьбе с теми же крайностями может и должно помочь усвоение уроков истории.

Отмечая актуальность темы, следует учитывать также, что в истории русского освободительного движения важнейшие переломные моменты: размежевание и борьба демократов и либералов 50—60-х годов XIX в., борьба марксистов и народников в 80—90-е годы XIX в., большевиков и меньшевиков в начале XX в., различных политических партий в годы революций 1905—1907 гг. и 1917 г. — были отмечены особой остротой идейной полемики вокруг «наследства». В этих ожесточенных спорах не просто уточнялись «родословные», шла не просто борьба за «имена» и «знамена». Происходил процесс переосмысления в свете нового опыта теоретического и политического наследия прошлого, чтобы сделать его действенным составным элементом в происходившей борьбе. Клевета на подлинных революционеров, изображение их «наследниками» псевдореволюционеров того или иного типа были при этом не редкостью в идейных спорах и в XIX и в начале XX в.

Победа социалистической революции в России в октябре 1917 г. подвела решающий итог этой борьбе. Но это не означало ее завершения: идейная полемика была перенесена на более широкую, мировую арену. В настоя-

³ См. Б. М. Лейбзон. Что такое революционность сегодня. М., 1972; К. И. Зародов. Три революции и наше время. М., 1975; Б. С. Ерасов. Человеческий фактор и перспективы развития стран «третьего мира». — «Вопросы философии», 1976, № 8.

щее время история русской революционной традиции глубоко и содержательно воссоздана марксистско-ленинской наукой, вскрывшей классовое и теоретическое различие разных этапов русского освободительного движения и одновременно их глубокую преемственную связь. Ныне изучением, точнее, искажением истории Октября и его предыстории, поисками «корней русской революции» занято целое направление буржуазной исторической науки, разветвленное по разным странам, поставляющее на книжные рынки мира обширную литературу.

Авторы сотен статей и десятков книг стараются представить русский буржуазно-помещичий либерализм знаменосцем так и не состоявшегося, по их мнению, «освобождения России», пытаются оторвать от прогрессивных традиций отечественной и зарубежной демократии русских большевиков, оставив им в «наследство» традиции так называемого русского «нигилизма», «экстремизма» и особенно «нечаевщины» — этого классического извращения целей и средств революционной борьбы. «Экстремистские теории анархиста Бакунина и нигилистов-подстрекателей вроде Сергея Нечаева и Петра Лаврова» возрождены-де ныне в ленинизме; «большевики применили методы и организацию, впервые разработанные Нечаевым»; для них «все средства хороши»; «из нечаевского «Катехизиса революционера» Ленин заимствовал все свои позднейшие планы»; «Ленин тесно следует этической концепции Нечаева»; «Нечаев — один из мыслителей (!), которые оказали решающее воздействие не только на друзей народа, но и на более позднюю теорию революции большевиков» — подобными домыслами пестрят многие университетские курсы по истории России, специальные учебники по «большевистской философии» и т. п. «исследования»⁴.

Какому делу служила и служит вся эта, с позволения сказать, исследовательская работа, понять нетрудно.

⁴ Приведенные выше типичные формулировки взяты нами из работ: «The Strategy and Tactics of World Communism». Washington, Committee on Foreign Affairs 1948, p. 23; H. J. Lieber. Die Philosophie des Bolschewismus in den Grundzügen ihrer Entwicklung. Fr. am Main, 1958, S. 37—38; M. Polanyi. Beyond Nihilism. Cambridge, 1960, p. 23; K. Mehnert. Der Sowjetmensch. Stuttgart, 1958, S. 391—392; F. Gross. The Seizure of Political Power in a Century of Revolution. New York, 1958, p. 90—91; H. Kohn. Basic History of Modern Russia. New York, 1957, p. 41.

«. . . В настоящее время, — писал в разгар «холодной войны» прогрессивный американский историк Сомервилл, — всеми средствами массовой пропаганды — кино, радио, телевидением, ежедневной и еженедельной прессой, — так же как и в подавляющем большинстве начальных школ, высших учебных заведениях и церквях, коммунист изображается как беспринципный человек, жаждущий и готовый к использованию насилия и вооруженной силы в любом случае, террористом-индивидуалистом, который не думает о благосостоянии большинства или об увеличении этого благосостояния, а работает в небольших конспиративных группах только для той цели, чтобы обеспечить господство Советского Союза над всем миром»⁵.

Выработанные за рубежом в годы «холодной войны» концепции русского освободительного движения (как и общие представления о коммунизме) хотя и пошатнулись существенно в годы разрядки международного напряжения, но все же остаются господствующими в современной зарубежной буржуазной литературе. Вместе с тем концепции эти подверглись некоторым дополнениям и модификациям. Если ранее традиции русского «экстремизма» буржуазные историки тянули, так сказать, «вверх» — от Нечаева к Ленину, то теперь сделаны попытки протянуть те же традиции и «вниз» — от Нечаева к Чернышевскому. Так, в недавно вышедшей книге «Насилие в насилии. Спор Бакунина с Нечаевым» М. Конфино, рассматривая первоисточки того «типа революционера», который был обрисован в нечаевских писаниях вроде пресловутого «Катехизиса революционера», сообщает читателю: «Сама идея, по правде говоря, не была ни новой, ни оригинальной к 1869 г. и «прототипом» этого типа был, разумеется, Рахметов, герой романа Чернышевского «Что делать?», опубликованного в 1863 г. Именно последний мог претендовать на авторство. Но сочинение Чернышевского было, совершенно очевидно, всего лишь *causa remota* (отдаленной причиной (лат.). — *Авт.*) знаменитого «Катехизиса» и создатель типа «новых людей» не принимал в этом никакого прямого участия. Но тем не менее факт остается фактом: именно поколение, вскормленное, воспитанное и вдохновленное человеческим типом аскета и «подлинного революционера»,

⁵ Д. Сомервилл. Избранное. М., 1960, стр. 120.

каким был Рахметов, и людьми, принадлежащими к этому поколению, как раз и могло создать тип, описанный в «Катехизисе» . . . Разумеется, «Катехизис» был в некотором роде доведенной до крайностей карикатурой на Рахметова, но основная идея была налицо»⁶.

В отличие от откровенно антикоммунистических авторов М. Конфино не занимается в своей книге построениями клеветнических параллелей, его интересуют прежде всего подробности отношений Бакунина с Нечаевым, характеристика методов действий и воззрений последнего. Но на тех немногих страницах книги, где рассматривается проблема преемственности разных поколений в русском революционном движении, явно проступает общая для буржуазных авторов методология: в один и тот же ряд выстраиваются и Чернышевский, и Ткачев, и Бакунин, и Ленин, причем не только оттенки расхождений, но и коренные различия между ними исчезают. Все своеобразие Нечаева сводится к тому, что «насилие» он применял в среде самих революционеров, а не только по отношению к их врагам («насилие в насилии!» — так формулирует свою мысль Конфино). Ясно, что при таком подходе проблемы вынужденности и ограниченности революционного насилия, влияния гуманистического идеала подлинных революционеров на выбор средств борьбы, воспитания высоких нравственных качеств в революционерах — словом, все то, что волновало, к примеру, героев романа «Что делать?» Чернышевского и что было органически чуждо Нечаеву, — остаются вообще за рамками исследования.

Так, благодаря либо прямым искажениям фактов, либо умолчаниям в работах буржуазных авторов по-прежнему выстраивается некая «экстремистская» русская революционная традиция, которая идет якобы от героя романа Чернышевского «Что делать?» Рахметова к Нечаеву, затем к Ленину.

Правда, Чернышевского, как показывают новейшие изданные в США монографические исследования о нем — книги Фр. Б. Рэнделла «Н. Г. Чернышевский» (1967) и У. Ф. Вёрлина «Чернышевский. Человек и журналист»

⁶ М. Confino. Violence dans la violence. Le débat Bakounine — Nečaev. Paris, 1973, p. 47—48.

(1971)⁷, буржуазная наука записывает не только в родоначальники «русского экстремизма». Суть общих для этих авторов приемов исследования — признание Чернышевского «крайним» революционером и социалистом, но вместе с тем поиск и акцентирование таких моментов в его творчестве, где наблюдались те или иные «отступления» от революционности и социализма в сторону «либерализма» или по крайней мере та или иная доля «неопределенности» в формулировке Чернышевским революционных принципов или революционной тактики⁸.

Так, Рэнделл пытается доказать, что «тоталитарный» царизм порождал в России «тотальное» отрицание всего существующего со стороны революционеров. Соответственно и Чернышевский рисуется сокрушителем эстетики, проповедником вульгарного материализма и грубого утилитаризма, воплощением «крайнего радикализма, тотальной решимости устранить устрашающие беды времени, полнейшей непримиримости в защите доводов и в нападках на противника и зловещего предчувствия неминуемого катаклизма, персонального мученичества и революционного суда над всем существующим миром». Но и явное стремление Рэнделла «привязать» Чернышевского к «экстремизму» не мешает ему разыскивать якобы «скрытые» советскими авторами моменты «либеральной непоследовательности» и «колебаний» русского революционера⁹.

Что касается Вёрлина, рисующего образ Чернышевского в более спокойных, объективистских тонах, то и он, признав писателя революционером, на протяжении всей книги ведет полемику с советскими авторами, усматривающими у Чернышевского «непрерывную линию

⁷ *Fr. B. Randell*. N. G. Chernyshevskii. New York, 1967; *W. F. Woehrlin*. Chernyshevskii, The Man and the Journalist. Cambridge (Mass.), 1971. Главы, посвященные Чернышевскому, имеются в таких объективистских по тенденциям пособиях, как: *Fr. Venturi*. Roots of revolution. New York, 1960; *E. Lampert*. Sons against Fathers. Oxford, 1965.

⁸ Впервые в зарубежной литературе эта линия была явственно выражена в посмертной статье бывшего кадета, а затем известного американского историка М. Карповича «Чернышевский между социализмом и либерализмом», опубликованной в 1960 г. в «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», N 4, vol. I, juillet — décembre 1960, p. 581—583.

⁹ *Fr. B. Randell*. N. G. Chernyshevskii, p. 34, 91.

революционной агитации». Мы еще вернемся к детальному разбору этих концепций, пока же отметим основное.

Крайние моменты, которые особенно внимательно фиксируются (а точнее, утрируются) буржуазными историками в тех или иных однозначных определениях («экстремист», «либерал»), представляют в действительности не что иное, как искаженное отображение реального пути эволюции Чернышевского — революционера-демократа, двигавшегося к созданию научной теории революционной борьбы. Но поскольку само понятие «научная теория революционной борьбы» для буржуазной науки не существует, то естественно, что из поля зрения большинства западных авторов выпадает наиболее ценная и содержательная сторона творчества великого русского мыслителя-революционера, в лучшем случае дело сводится к выявлению в его наследии «разных сторон». Выпадает из поля зрения этих авторов и более общая проблема различения разных типов революционности, качественно разных ее уровней, исчезает вообще важнейшее противопоставление революционности подлинной и мнимой.

Напротив, такое различие, такое противопоставление является, безусловно, обязательным для марксистской науки, будет главным оно и для нашей книги, без него нельзя понять в полной мере исторических заслуг Чернышевского.

Сравнив тактическую линию «Колокола» и «Современника» в эпоху «великой реформы» 1861 г., показав глубину и содержательность теории, на основе которой Чернышевский решал в ту пору дилемму «реформа или революция», мы охарактеризуем вкратце и массовое сознание революционеров-разночинцев 1861 г., когда развитие революционной теории пошло не только вглубь, но и вширь. Специальным предметом нашего рассмотрения будет также теоретическое содержание подцензурного романа «Что делать?» — этого синтеза революционных поисков Чернышевского, его завещания грядущим поколениям. Наконец, мы перейдем к характеристике первых этапов пореформенного русского революционного движения, когда теоретическое завещание вождей-«шестидесятников» стало впервые воплощаться в «дело», к трудностям и издержкам этого воплощения, ставшим объектом излюбленных спекуляций буржуазной науки. Такой ана-

лиз позволит выявить не только водораздел между революционностью и либерализмом (на что делается упор в нашей литературе), но и грань между подлинной революционностью и революционностью мнимой, которая впервые наметилась в русском освободительном движении еще в начале 60-х годов, стала более явной к середине и особенно к концу того же десятилетия.

Опубликование за последние 15—20 лет ряда ценных исследований советских авторов об общественном движении 50—70-х годов XIX в. в России существенно облегчило нашу задачу: эти исследования позволяют с достаточной полнотой охарактеризовать сложнейший этап в становлении русской революционной демократии¹⁰. Но именно ввиду сложности этого этапа было бы неверно считать исследовательскую работу завершенной. В связи с этим авторами сделана попытка вернуться к некоторым, казалось бы известным, страницам нашего революционного прошлого, ввести в научный оборот помимо фактов известных также факты забытые или неизвестные, ответить на некоторые спорные вопросы, поставленные развитием отечественной историографии¹¹.

¹⁰ См. сборники «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1960, 1962, 1963, 1965; *Б. П. Козьмин*. Из истории революционной мысли в России. М., 1961; *Ш. М. Левин*. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958; *Э. С. Виленская*. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965; *Н. Пирумова*. Бакунин. М., 1970; *Г. Г. Водолазов*. От Чернышевского к Плеханову. Об особенностях развития социалистической мысли в России. М., 1969; *И. К. Пантин*. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973, и др.

¹¹ Введение, заключение, главы 1—5-я написаны *Е. Г. Плимаком*, глава 6-я — *А. И. Володиным* (в параграфе «Раскольников и Рахметов» использованы материалы *Ю. Ф. Карякина*); глава 7-я — *Ю. Ф. Карякиным* и *Е. Г. Плимаком*.

Хлопоты по «опостылому делу»

В России в 1861 году народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одиночными, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли... Крестьян «освобождали» в России сами помещики, помещицье правительство самодержавного царя и его чиновники. И эти «освободители» так повели дело, что крестьяне вышли «на свободу» ободренные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу к тем же помещикам и их ставленникам.

В. И. Ленин

У истоков великого спора

Всерьез к крестьянской реформе Россия приступила вскоре после смерти Николая I. Смена царствования уже не могла остаться простой сменой лиц, потому что события, лежавшие вне воли и разума правящего класса, расшатали весь государственный организм России. Без поражения в Крымской войне, обнажившего гнилость самодержавно-крепостнического строя, без начавшихся поисков «земли» и «воли» русским крестьянством¹, без

¹ Вынужденное во время Крымской войны так или иначе апеллировать к народной поддержке и самодеятельности (апрельский указ 1854 г. о формировании морского ополчения, январский манифест 1855 г. об организации государственного подвижного ополчения), царское правительство развязало довольно крупное по своим масштабам движение крестьян, сотни тысяч которых восприняли обращение «свыше» как случай освободиться от крепостного состояния. Правда, правительству удалось легко справиться и с самовольными крестьянскими передвижениями 1854 г., и с крестьянскими волнениями 1855 г., и с бегством крестьян «за волей» в Крым и Бессарабию весной и летом 1856 г. Но и в следующий год, и в годы зарождения широкого «трезвеного движения» (1858—1859) общее положение в деревне оставалось достаточно напряженным (см. подробнее в кн.: Я. П. Линков. Очерки истории крестьянского движения в России в 1825—1861 гг. М., 1952).

роста оппозиционных настроений в «образованном обществе» Россия, возможно, еще одно-два десятилетия не увидела бы либеральной «оттепели». Но несомненно и то, что смерть коронованного деспота позволила гораздо быстрее выявиться тем процессам, которые приняли бы, будь жив Николай I, куда более затяжные формы, позволила быстрее оформиться глубокому общественному недовольству.

Уже с 1855 г. русская литература начинает постепенно выходить из затянувшегося «летаргического сна, прерываемого только библиографическим храпом и патристическими грезами»; начинают оживать люди эпохи Белинского, все те, кого тяжкая дубина николаевщины ставила перед выбором: «выть по-волчьи» или «хранить гробовое молчание»².

Хотя русскую журналистику по-прежнему душит узда предварительной цензуры (литераторам и в 1855, и в 1856, и в 1857 гг. строжайше запрещено касаться вопросов государственной политики, писать об освобождении крестьян), однако некоторые послабления в надзоре порождают литературу бесцензурную. Общество наводняется записками, письмами, проектами, наиболее известные из них — К. Д. Кавелина, Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, А. М. Унковского, П. М. Позена — датируются 1855—1857 гг.

Впрочем, радикализм этой бесцензурной литературы не выходил за рамки «дозволенного». Хотя цензура и «не так возмутительно нагла», жаловались К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин в герценовских «Голосах из России», однако «даже до сих пор, ни один живой голос, ни одна правда, ни один вопль народный, не могли еще проникнуть сквозь безумную ценсурную ограду»³.

Герцену принадлежит бессмертная заслуга создания Вольной русской типографии в Лондоне. В 1855—1857 гг. появляются его периодические бесцензурные издания: «Голоса из России», «Полярная звезда», затем «Колокол». «Рабье молчание, — писал В. И. Ленин, — было нарушено»⁴. Но Герцен не только сам протестовал, бу-

² Н. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М.—Л., 1962, стр. 60—62. Далее ссылки в тексте (Д., IV, 60—62).

³ «Голоса из России», ч. I. Лондон, 1856, стр. 16.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 259.

дил, звал, он сделал неизмеримо больше — дал возможность заговорить стране, онемевшей при Николае.

Не удивительно, что именно на страницах герценовской бесцензурной периодики была впервые наиболее ясно выражена суть того великого спора о будущем России, который размежевал вскоре русское «прогрессивное общество», заставил разойтись прежних союзников по разные стороны баррикад.

Начат был спор в 1856 г. «Письмом к издателю «русского либерала» (Кавелина и Чичерина) из России.

Обращаясь к письму «русского либерала», констатируем прежде всего: и либерал-теоретик вынужден порой признавать «законность» революций, хотя бы как факт прошлого, неизбежный для определенных периодов истории определенных стран. «Значение революций мы понимаем, — заявляли Кавелин и Чичерин, — мы знаем, что там, где господствует упорная охранительная система, не дающая места движению и развитию, там революция является как неизбежное следствие такой политики. Это вечный закон всемирной истории. Но мы смотрим на это как на печальную необходимость, как на грустную сторону человеческого развития и считаем счастливым народ, который умеет избежать насильственные перевороты. . . Сделать же из революции политическую доктрину, проповедовать мятеж и насилие как единственное средство для достижения добра, сделать из ненависти благороднейшее чувство человека, поставить кровавую купель непременно условием возрождения, это, воля ваша, оскорбляет и нравственное чувство и убеждения, созданные наукою. . . Вы до такой степени забыли историю, что не видите в ней даже закона постепенности, проникающего все явления. С высокомерным презрением трактуете вы все средние формы и ступени, все посредствующие звенья исторической цепи. А между тем эти средние формы составляют жизнь обществ и народов; по ним совершается движение вперед, их созидание составляет практическую задачу современной истории»⁵.

В этих высказываниях обращает на себя внимание не только мысль о неизбежности революций в странах с «упорной охранительной системой», но и идея безусловной предпочтительности «средних», а не насильственных

⁵ «Голоса из России», ч. I, стр. 26—27, 31.

форм прогресса, мысль, что их созидание составляет «практическую задачу современной истории».

Чтобы подтвердить, что ничего специфически «либерального» в этих суждениях нет, сошлемся на роман Н. Г. Чернышевского «Пролог», как раз описывавший интересующую нас эпоху (он увидел свет за границей, в Лондоне, в 1877 г.). Посмотрим, как действующие здесь революционеры решали дилемму «реформа или революция».

«Шансы будущего различны, — вспоминает Левицкий аргументы Волгина. — Какой из них осуществится? — Не все ли равно? — Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? — Разочарование общества и от разочарования, новое либеральничанье в новом вкусе, — по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мысли... пока где-нибудь в Европе, — вероятнее всего во Франции, не подымется буря...

В 1830 г. буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 г. захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в последующий раз захватит Петербург и Москву.

Верно ли это? — Верного тут ничего нет; только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? По его мнению, хорошего тут нет ровно ничего. Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше. Это общий закон природы: данное количество силы производит наибольшее количество движения, когда действует ровно и постоянно; действие толчками и скачками менее экономно. Политическая экономия раскрыла, что эта истина точно так же непреложна и в общественной жизни. Следует желать, чтобы все обошлось у нас тихо, мирно. Чем спокойнее, тем лучше»⁶.

Это странное в устах самого «основательного» из революционеров 50-х годов XIX в. утверждение — «чем спокойнее, тем лучше» — либо вообще не отмечалось в нашей литературе, либо отмечалось, но тут же объявлялось «отголоском утопических взглядов Чернышев-

⁶ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIII. М., 1949, стр. 244. Далее ссылки в тексте. Те случаи, когда работы Чернышевского не издавались в России при его жизни, оговариваются специально. Квадратными скобками в текстах Чернышевского обозначены цензурные купюры.

ского» (мы цитируем здесь комментарий А. П. Скафтымова). (Ч., XIII, 901).

Но в данном случае явно не различаются весьма разные вещи: абстрактная предпочтительность того или иного варианта прогрессивного исторического движения, о чем только и говорит Волгин в комментируемом месте «Пролога», и наличие условий для «реформаторского» пути прогресса в конкретной ситуации России 50-х годов, что Волгин решительно отрицает. Последнее выясняется из разговора его еще с одним героем «Пролога».

«Вы отвергаете возможность этой реформы, в частности или вообще возможность реформ? — спрашивает Соколовский. — Высказывайте же и основания вашего скептицизма.

— Я несколько не скептик, — отвечает Волгин. — Скептик тот, кто не умеет сказать, «да» или «нет» согласнее с правдою. — Возможности реформ я не отвергаю: как отвергать возможность того, что происходит? Происходят реформы, в огромном количестве, я не могу не знать этого, потому что читаю газеты... Я только отстраняюсь от участия в ваших заботах, потому что не имею желаний хлопотать» (Ч., XIII, 134). И окончательно отказываясь сотрудничать с Соколовским на стезе правительственного либерализма, Волгин ставит точки над *i*: «Я не желаю, чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом» (Ч., XIII, 140).

Эти отрывки из романа «Пролог» вводят нас в самую сердцевину спора «партии Волгина» с «партией Рязанцева». Спор шел вовсе не о том, «реформа» или «революция» более предпочтительна с точки зрения абстрактно-гуманистических принципов: не только либералы, но и «основательные революционеры» признают предпочтительность в принципе более спокойных, менее катастрофических и насильственных форм движения. Спор шел прежде всего о том, есть ли в России 50-х годов XIX в. условия для такой реформы «сверху», которая удовлетворяла бы коренные потребности общества.

«Русский либерал», утверждая, что Крымская война вызвала «чрезвычайные, небывалые явления в умственной и нравственной жизни России», считая, что на сторону «просвещенных и благомыслящих людей в России» может перейти сам царь, видел в таком единстве залог

реальности реформы, силу, способную подавить сопротивление крепостников и особенно «алчной, развратной и невежественной бюрократии». Именно это сознание или ожидание переворота в позиции самодержца позволяло Кавелину и Чичерину отвергать необходимость для России «насильственных» форм прогресса: «Революционные доктрины тогда только могли бы пустить корни между русскими, когда бы правительство продолжало идти по прежней колее. Но, по-видимому, оно поворачивает в другую сторону и наступает новая эпоха в нашей общественной жизни. Вы сами это поняли и написали к императору Александру II письмо, исполненное благородных чувств и горячей любви к народу»⁷.

Ссылки на Герцена были в значительной мере оправданны. Его «Письмо к Джузеппе Маццини о современном положении России» или «Еще вариация на старую тему» (статья-письмо И. С. Тургеневу) дают в 1856—1857 гг. скорее положительный, чем отрицательный, ответ на поднятые «русским либералом» вопросы: «Новая жизнь явным образом закипает у нас; само правительство увлечено ею... Вопросы наши так поставлены, что они могут быть разрешены общими социально-государственными мерами без насильственных потрясений. Мы призваны перебрать права поземельного владения и отношений работника к орудию работы — не есть ли это торжественное вступление в будущий возраст наш? Вся новая программа нашей исторической деятельности так проста, что тут не надобно гения, а просто глаза, чтобы знать, что делать. Одна робость, неловкость, оторопелость правительства мешает ему видеть дорогу, и оно пропускает удивительное время. Господи! Чего нельзя сделать этой весенней оттепелью после николаевской зимы...»⁸

Куда радикальнее выглядит в те же годы позиция Чернышевского, и это устанавливается не только по «Прологу», но и по подцензурному «Лессингу», написанному «с приноравливаниями к нашим домашним обстоятельствам» (публиковался в «Современнике» в конце 1856 — первой половине 1857 г. — Ч., XVI, 313). В условиях Германии XVIII века (читай везде: России

⁷ «Голоса из России», ч. I, стр. 9, 13, 19, 34.

⁸ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XII. М., 1957, стр. 424, 432. Далее ссылки в тексте.

середины XIX в.) с ее сплошным беззаконием, бездарными, погрязшими в разврате правителями, невыносимой жандармской опекой над общественностью, при бессилии литературы и совершенном ничтожестве науки ей мало чем помогло появление на престоле отдельных добродетельных государей вроде Фридриха-Вильгельма и Фридриха II Великого. Причина их бессилия — порочность того строя, в условиях которого они пытались проводить реформы. «Эта система, знавшая только фискальные и полицейские средства, сама по себе была крайне недостаточна для упрочения народного благосостояния. Ее полезные действия при Фридрихе-Вильгельме и Фридрихе II зависели единственно от редких достоинств, какими были одарены эти люди: честная и неутомимая деятельность отдельного человека может, до некоторой степени, давать хорошее направление самому дурному механизму; но как скоро отнимается от этого механизма твердая рука, его двигавшая, он перестает действовать или действует дурно. Прочно только то благо, которое не зависит от случайно являющихся личностей, а основывается на самостоятельных учреждениях и на самостоятельной деятельности нации» (Ч., IV, 37—38).

Но за конкретной дилеммой: сможет ли Россия двигаться путем реформ «сверху» или ей предстоит пережить свой «1789-й год» — стояла более общая проблема: соотношение реформы и революции.

Кавелин и Чичерин не видели существенной связи между этими двумя формами исторического движения. Революция выступала у них, несмотря на отдельные оговорки насчет ее «неизбежности» в определенных случаях, как случайный зигзаг истории. «Неужели же нам нужно напоминать вам, — писали они Герцену, — что всякий народ должен воспитаться для известной формы жизни, и что история, как природа, не делает скачков? Случаются в ней внезапные перевороты, среди которых всплывают наружу самые крайние теории, но это дело временное, и, успокоившись, народ опять-таки возвращается на прежнюю точку и продолжает свое шествие, медленное и постепенное, но зато уже неизбежно достигающее цели»⁹.

В известной статье «Революция в России»¹⁰ Герцен

⁹ «Голоса из России», ч. I, стр. 31—32.

¹⁰ Публиковалась в «Колоколе» № 2, 1 августа 1857 г.

высказывается за альтернативность форм прогресса: «Мы так привыкли видеть с 1789 года, что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя, — что невольно ищем, когда речь идет о перевороте, площадь, баррикады, кровь, топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба — одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное. В то время как Франция с 1789 года шла огнедышащим путем катаклизмов и потрясений, двигаясь вперед, отступая назад, метаясь в судорожных кризисах и кровавых реакциях, Англия совершала свои огромные перемены и дома, и в Ирландии, и в колониях с обычным флегматичным покоем и в совершенной тишине. Весь правительственный такт ториев и вигов состоит в умении упираться, пока можно, и уступать, когда время пришло. Так, как Роберт Пиль, переходом своим на сторону свободной торговли, одержал экономическое Ватерлоо для правительства, так одно из будущих министерств вступит в сделку с чартистами и даст интересам работников голос и представительство».

Напомним, что реформаторским путем с конца 1847 г. двигался и Пьемонт, Герцен обращается к России: «...мы просто люди глубоко убежденные, что нынешние государственные формы России никуда не годны, — и от души предпочитаем путь мирного, человеческого развития пути развития кровавого; но с тем вместе также искренно предпочитаем самое бурное и необузданное развитие — застою николаевского status quo» (Г., XIII, 21—22).

Нельзя признать, чтобы герценовская постановка отличалась глубиной. В формуле Искандера отсутствует важнейший знак — зависимости между революцией и реформой. Герцен сбрасывает со счетов то, что Англия обучилась эволюционному развитию, только пройдя период радикальной ломки старых устоев, долгую школу жесточайшей, кровавой борьбы, которая вызвала громадную передвижку классовых сил в стране, а главное, привела к выработке таких политических форм, которые позволяли правящим классам относительно безболезненно переводить надвигавшиеся революционные кризисы в эволюционное движение.

Возможности для обсуждения теоретических аспектов проблемы «революция и реформа» у Чернышевского,

писавшего в подцензурном журнале, почти не было. Но, несмотря на это, он и поставил проблему, и дал первую наметку ее решения четче, чем Герцен. Как и Герцен, он за альтернативу — возможен и мирный путь переворота, и путь насильственный; как и для Герцена, «моделями» того и другого служат Англия и Франция. Но в отличие от Герцена Чернышевский подчеркивает существенную связь двух типов движения. В одной из своих рецензий он так разъясняет свою — отнюдь не «либеральную» — мысль о предпочтительности эволюционного пути. «Обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений нации — исторические события (читай: революции. — *Авт.*)... Подобным путем всегда изменялись гражданские учреждения во Франции; до конца XVII века им изменялись они и в Англии. Но этот способ слишком дорого обходится государству, и счастлива нация, когда прозорливость ее законодателя предупреждает ход событий» (*Ч., IV, 495*). Иным путем, уточняет он, двигалась Англия после XVII в. «Сравните Англию и Францию, — пишет он в статье «О поземельной собственности», — там и здесь властвует частная собственность; откуда же в Англии успехи земледелия, которых нет во Франции? В Англии прочный законный порядок, которого никто не осмеливается и никто не желает нарушать, потому что мирным путем законного требования и прения торжествует всякая сознанный обществом потребность; во Франции этого нет, там как ни ясно сознавай общество, как ни разумно доказывай оно необходимость реформы, реформа достигается только насильственным путем, — вот главное различие» (*Ч., IV, 404*).

Формулы, как видим, общи, не развернуты, однако связь «насильственного пути» и «мирного пути» намечена: эволюционное движение мыслится как предпочтительное, но возможное только после того, как общество пройдет фазу революций, после того, как изменится его социальная и политическая структура. Сделаны Чернышевским и важные оговорки насчет отсутствия гармоничности движения и в последнем случае. Так, «возникновение пролетариата произвело много государственных бедствий и в Англии и Франции, [а более или менее и в других западных государствах,] и грозит этим странам новыми смутами, жесточайшими прежних, потому что с одной стороны, требования пролетариата остаются все еще

неудовлетворенными, а с другой стороны, число пролетариев все увеличивается и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их понятие о своих потребностях» (Ч., IV, 404—405).

Таковы в самых общих своих чертах первые ответы Кавелина, Чичерина, Герцена, Чернышевского на вопрос, поставленный ходом развития событий в России. Суть спора и те ответы, которые были даны на него вождями русских «партий» (мы берем это слово в кавычки, ибо до появления настоящих политических партий России пришлось ждать почти полвека), были выявлены нами преимущественно по герценовской бесцензурной печати того времени, доступной весьма узкому кругу русских читателей. Вряд ли представлял в это время, скажем, читатель того же «Современника» в деталях и взгляды Чернышевского. Дело в том, что сам Чернышевский практиковал в эти годы в «Современнике» тактику создания своеобразного «единого» оппозиционного фронта. Он неоднократно приветствует в 1856—1857 гг. проявления литературной деятельности К. Д. Кавелина (Ч., IV, 686), Ю. Ф. Самарина (Ч., IV, 730—731), А. И. Кошелева (Ч., IV, 692), М. Н. Каткова (Ч., III, 633, 642—643), А. В. Дружинина (Ч., III, 710), хотя все эти деятели более чем в достаточной мере проявили свою приверженность к «реформе сверху».

Однако это вовсе не означало «скатывания» Чернышевского с позиций революционного демократизма. Чернышевский на опыте Европы прекрасно знал ту истину, что коренные преобразования в феодально-абсолютистских государствах совершаются посредством революционных переворотов. Но та же европейская история учила: широкие политические движения ни в абсолютистской Англии, ни в абсолютистской Франции не начинались в условиях скованности общественной жизни. Они начинались лишь после того, как абсолютистский строй давал серьезные трещины, после того, как в эти щели проникало недовольство оппозиционных слоев, находившее поддержку широких масс.

Сознавая громадную социально-политическую отсталость России («то, что стало уже второстепенным делом на Западе, у нас еще составляет существеннейший вопрос жизни; то, чего требует от своих людей Запад, еще не требуется нашим обществом». — Ч., III, 353), всеми си-

лами способствуя «созреванию» русского общества для сознательной жизни, политической борьбы, Чернышевский, естественно, вынужден был до поры до времени намеренно «приглушать» свой радикализм (не говоря уже о том, что его приглушали систематически и цензурные преследования). В целом к его позиции 1855—1857 гг. вполне приложимы слова, сказанные им о роли Лессинга для Германии второй половины XVIII в.: «Умственная жизнь его публики была очень тесна и слаба. Он употреблял все силы свои на то, чтобы постепенно расширять круг этой жизни, усиливать ее деятельность, возводить ее от одних интересов к другим, более живым и важным» (Ч., IV, 215).

Вначале было «Слово»

Начиная с конца 1857 г. события в России стали обрести неожиданный поворот. Рескрипты Александра II виленскому и петербургскому генерал-губернаторам и известные разъяснения к ним министра внутренних дел С. С. Ланского выявили как будто намерение императора довести до конца обещанное «освобождение сверху». «Итак, освобождение крестьян началось, .. — восклицал Герцен. — Назад отступить будет невозможно. Это величайшее русское событие после 14 декабря» (Г., XXVI, 146).

До этого поворота особой уверенности в том, что правительство действительно пойдет на реформу, не было ни у кого. Дело освобождения велось в глубочайшей тайне, состав Секретного комитета, образованного в начале 1857 г. для обсуждения крестьянского вопроса, заранее обрекал все дело на неудачу. Большинство его — князь А. Ф. Орлов, князь В. А. Долгоруков, граф В. Ф. Адлерберг, князь П. П. Гагарин, генерал М. Н. Муравьев — были убежденными крепостниками, даже по свидетельству придворного историка «усилия их клонились к тому, чтобы по возможности затормозить дело, а если и осуществить, то в самых ограниченных размерах»¹¹. Не удивительно, что к середине 1857 г. само либеральное «прогрессивное» общество начало сомневаться в способно-

¹¹ С. С. Татищев. Император Александр II, его жизнь и царствование, т. I. СПб., 1911, стр. 282.

стях правительства встать во главе прогресса. «События двух целых лет показали, — язвительно замечал Герцен в III книге «Голосов из России», — кто из нас был прав — умеренные ли либералы, писавшие млеком и медом долю статей, изданных нами в первой книжке «Голосов из России», или мы в наших статьях «Полярной звезды».

Ничего не сбылось из пророчеств пылкой юности. А ведь в два года можно было что-нибудь сделать, сверх контракта на железные дороги... Одни говорят, что открыли комитет об освобождении крестьян, другие — что его закрыли, третьи — что он существует и что председатель его — Блудов. Что за тайные общества, что за секреты!..

Хочет правительство освобождения или нет? Да? — Нет? — *Liebt mich? — Liebt mich nicht?*» (Г., XII, 444).

Царские рескрипты конца 1857 г. вроде бы означали произнесенное «да» в пользу либерального решения вопроса. Но «да» было произнесено невнятно, неразборчиво. Сама неразрешимость задачи, за которую бралась власть, — устранить крепостничество, не устраняя привилегий и всеилия помещика в жизни страны, а главное, незыблемости самодержавного строя, — определила двусмысленность правительственных постановлений.

Рескрипты царя как будто ставили целью ликвидировать крепостные отношения, а между тем в них говорилось лишь «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Рескрипты сохраняли за помещиком «право собственности на всю землю», но, с другой стороны, крестьяне приобретали в собственность посредством выкупа «усадебную оседлость» и сверх того в пользование (за оброк или барщину) «надлежащее, по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком количество земли». Рескрипты, с одной стороны, «распределяли» крестьян на «сельские общества», с другой — предоставляли помещикам «вотчинную полицию»¹².

Эта двусмысленность правительственных манифестов и разъяснений Ланского (освобождение объявлено и не объявлено; земля оставлена за помещиком вся и не вся;

¹² Цит. по: «Великая реформа 19 февраля 1861 г.». Сб. статей А. И. Яковлева, В. И. Семевского, В. Я. Уланова, В. Е. Чешихина-Ветринского. М., 1911, стр. 100.

крестьяне, безусловно, освобождаются в «переходный период» сроком не свыше 12 лет, и освобождение это одновременно обуславливается обязательной уплатой взноса или выкупа; допускается крестьянское самоустройство и сохраняется власть помещика) должна была дать и действительно дала возможность «партии плантаторов» на протяжении всего хода выработки реформы во всех инстанциях¹³ бороться за сохранение своих привилегий.

Разумеется, правительство ни в коей мере не собиралось, да и не могло порвать тысячи нитей и уз, которые связывали его с крепостниками. Но так или иначе царизм впервые в истории России приступал к практическому осуществлению известного принципа: «лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу» (Александр II). Тем самым правительство входило в открытое противоречие с «партией плантаторов», не желавших вообще никаких реформ, а это нежелание было подтверждено уже в первые недели после опубликования рескриптов явной оппозиционностью правительственной политике со стороны петербургского высшего света, широким недовольством провинциального дворянства, отсутствием сочувственных откликов с его стороны на призывы царя (адреса дворянства об открытии губернских комитетов начали поступать с запозданием на несколько недель, да и то после внушений правительства).

Напротив, либеральная часть «общества» бурно приветствовала рескрипты: она увидела в них исполнение своих заветных желаний, идею мирного постепенного примирения интересов различных сословий. На начавшейся было в Москве в конце декабря 1857 г. банкетной

¹³ С января 1858 по апрель 1859 г. в России было образовано 48 губернских комитетов с целью составления проектов об «улучшении быта крестьян» (здесь полностью доминировали крепостники). Эти проекты поступали «для составления систематических сводов» в Редакционные комиссии, созданные 17 февраля 1859 г. (здесь решающее слово осталось в конечном счете за правительственной «либеральной» бюрократией). Выработанный комиссиями труд был передан на рассмотрение Главного комитета (образован из бывшего Секретного 8 января 1858 г.) и Государственного совета. Противоборствовавшие в этих инстанциях крепостники и либералы не сходили с почвы признания собственности и власти помещика, борьба между ними шла «исключительно из-за меры и формы уступок» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 174).

кампании раздавались не только общие фразы о «святом деле», «подвиге правды и добра», «светозарной гласности мнения», но и были произнесены слова об «уничтожении крепостного труда», «гражданской полноправности» братьев-крестьян (речь И. К. Бабста, речь и статья В. А. Кокорева).

Роль «плантаторов» и либералов стала обозначаться быстро: с одной стороны, очевидное противодействие «начинаниям» правительства, с другой — их безусловная поддержка.

Либеральным иллюзиям на первых порах поддался и «Колокол». В январе — феврале 1858 г. А. И. Герцен горячо приветствует «мощного деятеля, открывающего новую эру для России»; царь «работает с нами — для великого будущего», — писал он в «Колоколе» (статья «Через три года») (*Г.*, XIII, 196). «...Если даже и найдутся кой-какие противоречия в настоящих постановлениях, — писал в январе Н. П. Огарев, — они могут сгладиться дальнейшей разработкой вопроса. . .»¹⁴

Куда труднее оказалось найти свое место более последовательным демократам. Любое выступление против царских рескриптов могло сыграть на руку «плантаторской партии», которая стремилась свести на нет даже те мизерные уступки либерализму, которые сделал царь. С другой стороны, активная поддержка рескриптов означала бы содействие тем либеральным иллюзиям, которые не могли не кончиться крахом в более отдаленной перспективе. Люди, которые видят негодность, половинчатость правительственных документов, писал один из корреспондентов «Колокола», попали в трудную позицию. Они не могут их поддерживать, ибо видят, что правила, изложенные в рескриптах, не удовлетворяют ни помещиков, ни крестьян, оставляют недовольными и враждебными друг другу обе стороны. И в то же время они лишены возможности их опровергать, да и сами этого не хотят, чтобы не смешаться с дворянской оппозицией рескриптам. «Остается всем нам помогать правительству в этом трудном деле, быть его союзниками против разъяренных помещиков, но ведь это значит в то же время помогать нелепости правительственной, защищать нелепые его распоряжения и навлекать на себя негодование

¹⁴ «Колокол», л. 7, 1 января 1858 г., стр. 55.

народа, в то время как убеждения наши в пользу народных интересов». Получается, писал автор письма, какая-то круговая порука лжи, «разыгрывается громадная комедия, которой стоит выйти на свет божий, чтобы стать правдой, и которая должна окончиться трагедией»¹⁵.

Надо сказать, что и «Современник» не сразу дал демократическому читателю ясный ответ на вопрос «что делать?»¹⁶.

Способен ли Александр II стать «государственным человеком»!

Первые рескрипты Александра II датируются ноябрем — декабрем 1857 г., а уже в январе и марте 1858 г. Чернышевский публикует замечательную статью «Кавеньяк», где на примере Франции учит принципам оценки переломных эпох в истории народов и государств.

Нисходящее движение революции 1848 г. во Франции объяснено в целом уже в соответствии с принципами классового анализа. Автор ясно показывает, что февральское «единство» победившего народа было единством глубоко разнородных социальных сил, «класса капиталистов, с одной стороны, класса, живущего наемной работой, с другой стороны...» (Ч., V, 12). Дальнейшее развитие этого основного конфликта между «республиканцами» и «работниками» и привело к кровавой схватке в июне 1848 г., к устранению последних с арены общественной борьбы, к последующему поражению самих «республиканцев», которые лишили себя тем самым опоры левых сил в борьбе с Луи Наполеоном.

Но хотя статья «Кавеньяк» была посвящена истории Франции, некоторые страницы ее имели, и на наш взгляд, прямое отношение к событиям, которые разворачивались в России. Мы имеем в виду разработку Чернышевским понятия «государственный человек», выра-

¹⁵ «Колокол», л. 20, 1 августа 1858 г., стр. 166.

¹⁶ Давний спор о том, появились ли у Чернышевского кратковременные надежды на «верхи» (В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбово. Л., 1936; А. Скафтымов. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1947) или же таких надежд он не питал (В. Я. Зевин. Политические взгляды и политическая программа Н. Г. Чернышевского. М., 1953 и др.) не выявил, по нашему мнению, всех деталей тактической линии «Современника».

ботку им критериев оценки деятельности истинного реформатора. Для «государственного человека», пишет Чернышевский, недостаточно одних хороших качеств, вполне достаточных для почтенной деятельности в частном кругу. Дело в том, что в отличие от круга частной жизни, «где все определяется обычными отношениями» (Ч., V, 6—7), круг государственной жизни представляет собой куда более обширное и зыбкое поле деятельности. Без обычных достоинств «государственный человек», разумеется, не будет полезен родине, но, кроме того, ему нужны еще другие «высшие достоинства». «Он должен верно понимать силы и стремления каждого из элементов, движущих обществом; должен понимать, с какими из них он может вступать в союз для достижения своих добрых целей; должен уметь давать удовлетворение законнейшим и сильнейшим из интересов общества как потому, что удовлетворения им требует справедливость и общественная польза, так и потому, что, только опираясь на эти сильнейшие интересы, он будет иметь в своих руках власть над событиями. Без того его деятельность истощится на бесславную для него, вредную для общества борьбу; общественные интересы, отвергаемые им, восстанут против него, и результатом будут только бесплодные стеснительные меры, которые необходимо приводят или к упадку государственной жизни, или к падению правительственной системы, чаще всего к тому и другому вместе» (Ч., V, 7).

У читателей «Современника», естественно, возникал вопрос: применимо ли понятие «государственный человек», употребляемое Чернышевским, к русскому самодержцу?

Если брать, скажем, воззрения Чернышевского начала 50-х годов XIX в., то мы теперь знаем, что он отвечал на этот вопрос категорически: «...монарх, и тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии» (Ч., I, 356); лицо, стоящее на вершине общественной пирамиды, не может и думать о коренной ломке ее основания. Но внимательный читатель его статей 1858 г. не мог не видеть: Чернышевский делает упор на относительной самостоятельности абсолютизма. Приводим одно из важнейших мест: «Мы ставим совершенно различными

силами короля и роялистов; точно так же мы совершенно различаем народ от либералов» (Ч., V, 261). Иными словами, Чернышевский изучает способность «династии» вступать в определенные противоречия с «аристократией» (классом феодалов в целом или с теми или другими его слоями). «Все факты прошедшего говорят, — пишет Чернышевский, — что неограниченная форма монархии возникала из борьбы между аристократией и демократией, опираясь на демократию. В Греции тираны были предводителями демократов и получили свою власть низвержением аристократического устройства общества. Императоры в Риме также вышли из предводителей демократической партии. То же было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно резко выражается это в истории Франции. Вся сила королей была приобретена борьбой против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Людовик XI и Ришелье, наиболее содействовавшие утверждению самодержавия во Франции, оба ненавидели аристократов не меньше, чем Робеспьер, и казнили их с такой же беспощадностью. Сам Людовик XIV, пока еще сохранял умственные силы, держал аристократов под очень суровым ярмом. Подобное явление продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется монархия свободной от конституции» (Ч., V, 261).

Сделаем существенные пояснения к этому тезису. Под народом в примерах Чернышевского фигурируют патриархальные массы, не осознавшие своих собственных интересов, занятые пока еще поисками хлеба насущного, а не помыслами о политической свободе (Ч., V, 265). Когда абсолютизм боялся «опереться» на народ, продолжает Чернышевский, он неминуемо сходил в могилу, это вполне доказала история Людовика XVIII и Карла X: «Напрасная борьба династии против новых интересов, нисколько не враждебных выгодам королевской власти... оставление народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, гибель династии без пользы для народа — вот в коротких словах история реставрации» (Ч., V, 291).

Мы допускаем, что некоторые акценты определялись в этих рассуждениях желанием подействовать на воображение Александра II. Чернышевский, по всей види-

мости, сознательно преувеличивал степень расхождения интересов самодержавия и феодалов (вернее, он подчеркивал одну сторону — определенное различие их интересов, умалчивая о другой, главной — их единстве). Но тем не менее сама постановка вопроса о возможности расхождения интересов «династии» и «феодалов», а еще более разработка Чернышевским понятия «государственный человек», выработка предписаний и правил действия реформатора — все это говорит о том, что Чернышевский в конкретной ситуации 1858 г. изучал возможность какого-то варианта реформационного движения для России, что он «проигрывал» этот вариант, не предвешая заранее результатов.

Таким образом, уже первый номер «Современника» за 1858 г. давал читателю критерии, согласно которым следовало в дальнейшем оценивать способность Александра II быть «государственным человеком». А всего через месяц тот же «Современник», казалось, присоединил свой голос к хору либеральных ликований...

Действительно, на первый взгляд позиция Чернышевского в феврале 1858 г. ничем не разнится от позиции Герцена.

Статья Искандера «Через три года», на которую мы уже ссылались, открывалась известным обращением к Александру II: «Ты победил, Галилеянин!» (Г., XIII, 195). Статью первую «О новых условиях сельского быта» Чернышевского открывает один из псалмов Библии: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза тя бог твой» (Ч., V, 65).

Февральские статьи Герцена и Огарева в «Колоколе» возвещали о пришествии как будто новой эры для России. Герцен видит в Александре II «мощного деятеля», заявляет, что имя его отныне принадлежит истории. Чернышевский в феврале также восклицает: «...уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славой, высочайшей в мире!» (Ч., V, 70).

И однако же, сходству меньше всего следует доверять, сравнивая бесцензурную и подцензурную печать; обманчивы в нашем примере и хронологические совпадения.

Хвала Александру II раздавалась в «Колоколе» в январе — феврале, в «Современнике» — в феврале 1858 г.

Но в оценках русской политической жизни «Колокол» отставал в это время на месяц-другой от событий в России. Герцен в январе — феврале приветствует ноябрьско-декабрьские рескрипты царя, и только. Что касается Чернышевского, то он славит Александра II два-три месяца спустя после издания первых рескриптов, когда правительство под давлением «плантаторов» стало одну за другой сдавать «либеральные» позиции.

Начавшаяся было банкетная кампания в Москве в пользу «освобождения» была тут же пресечена распоряжениями свыше. Сразу же за опубликованием первых рескриптов в печати (17 декабря) последовали распоряжения министра народного просвещения А. С. Норова об усилении цензурных строгостей, было запрещено разбирать, обсуждать и критиковать распоряжения правительства (циркуляры от 27 декабря и 16 января). Промелькнувшие в первых разъяснениях С. С. Ланского слова об освобождении помещичьих крестьян «из крепостной зависимости» затем надолго исчезают из правительственных циркуляров. Узнав из донесений губернаторов и предводителей дворянства об отсутствии «сочувствия к намерениям правительства» на местах, Ланской специально подчеркивает в циркуляре от 17 февраля, что «в отношениях моих, как прежних, так и в настоящих, не надобно искать подробной для суждений комитета программы». Само «незыблемое основание», «на котором должно воздвигнуться и утвердиться предназначаемое великое дело», приобретает в его разъяснениях совершенно туманный вид: «...обеспечение помещикам поземельной их собственности, а крестьянам прочной оседлости и надежных средств к жизни, и к исполнению их обязанностей»¹⁷.

В одном из опоздавших «четырьмя месяцами» писем из Петербурга, опубликованных в «Колоколе», так описывалась российская ситуация конца зимы — весны 1858 г.: «А известно ли вам, что в последнее время крестьянский вопрос сделал не шаг вперед, а вдруг несколько шагов назад, что новый циркуляр внутренних дел — новая уступка помещикам и новая хитрость для того, чтоб отдалить разрешение этого вопроса на неопределенное время... Восторг охладел. У нас теперь

¹⁷ «Программа для занятий губернских комитетов». — «Колокол», л. 19, 15 июля 1858 г., стр. 156.

все ясно видят, что правительство на стороне помещичьей партии, что оно с радостью отказалось бы от своих невинных затей по делу об освобождении крестьян и осталось при существующем порядке, если бы кто мог указать ему верное средство сохранить этот порядок без опасения народного волнения. К счастью, такого средства нет и вот где наши надежды, а не в благородстве правительства»¹⁸.

Думаем, что не само дарование рескриптов, а именно уступки Александра II «партии плантаторов» и заставили Чернышевского, как бы парадоксально это ни выглядело, принять позу восторженного поклонника «освободительных» манифестов, изо всех сил кричать «ура» их творцу, заодно напоминая правительству, что дело «всемирно-исторического значения», за которое оно взялось, именуется «делом уничтожения крепостного состояния в России» (Ч., V, 65).

Похвалу лично в адрес Александра II содержит один только абзац статьи, и то довольно своеобразный. Приведем его, ставя в скобках наводящие вопросы. «Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы, — счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных (не наводит ли на размышление такая исключительность? — Авт.). Длинный ряд великих монархов во Франции со времен Людовика Святого стремился к делу освобождения французских поселян, и ни у кого из них не достало силы совершить это дело (не подчеркнута ли снова исключительность деяний русского царя? — Авт.). Благороднейший человек своего времени Иосиф II австрийский также успел сделать только первый шаг к освобождению своих подданных (т. е. опять-таки Александру II предстоит превзойти всех предшественников. — Авт.)» (Ч., V, 70).

Но остается еще пример Пруссии, который говорит о возможности и реальности либерального пути: «Счастливей французских королей и великого чистотой своих намерений императора австрийского были короли прусские; благосклонная судьба дала монархическому правлению Пруссии вполне совершить это благодеяние; но

¹⁸ «Колокол», л. 23/24, 15 сентября 1858 г., стр.

слава его разделяется между двумя монархами: Фридриху II принадлежит честь многих законодательных мер, венцом которых было окончательное уничтожение феодальных отношений при Фридрихе-Вильгельме III» (Ч., V, 70).

Положение это звучит странно: за год до того автор «Лессинга» доказывал, что даже «хорошая рука» Фридриха II, приложенная к «дурному механизму», не могла изменить порядков в Пруссии. Одно из двух: либо Чернышевский начисто забыл то, что совсем недавно сам утверждал, либо он идет на преднамеренную и вынужденную уловку. Для первого предположения нет никаких подтверждений. Зато для второго они есть. В первоначальной редакции статьи реформы в Пруссии связывались с революционными событиями в той половине прусского государства, где новые законы вводил враг прусского короля — Наполеон (Ч., V, 960). В опубликованном тексте воздействие революционной Франции на Пруссию было обозначено ироническим оборотом: «благосклонная судьба!» Таким образом, даже откровенно апологетические места статьи Чернышевского способны навести внимательного и знающего историю читателя на раздумья: Александр II берет на себя дело, которое, собственно говоря, нигде и никогда не доводилось до конца и не осуществлялось по доброй воле самодержцев...

Отрезвляющая нотка проскальзывает и в том абзаце, где Чернышевский, напоминая о «блистательных подвигах времен Петра Великого», благословляет и времена Александра II «славой высочайшей в мире»: «Мы не знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность» (Ч., V, 70).

Чернышевский выражает «готовность помочь» русскому дворянству

Статья Чернышевского «Ответ на замечания г. Провинциала» появилась в марте 1858 г. Это было то время, когда один за другим стали сыпаться запоздалые адреса дворянства об открытии губернских комитетов и ответные рескрипты царя.

Любопытно, что Чернышевский здесь внешне куда более благожелателен к дворянству, чем Герцен в статье «Через три года». Для последнего не было сомнения, что закоснелые помещики окажут «гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противудействие» реформе: «Выходите же на арену — дайте на вас посмотреть, родные волки великороссийские, может, вы поумнели со времен Пугачева, какая у вас шерсть, есть ли у вас зубы, уши? ... Выходите же из ваших тамбовских и всяческих берлог — Собакевичи, Ноздревы, Плюшкины и пуще всего Пеночкины, попробуйте не розгой, а пером, не в конюшне, а на белом свете высказаться. Померяйтесь!» (Г., XIII, 196—197). Автор «Ответа...» такой ненависти как будто не питает. Благородный человек, пишет он, не имеет «к людям всех званий и состояний, — никаких иных чувств, кроме чувств благорасположения и готовности помочь» (Ч., V, 147—148). Спокойно растолковывает Чернышевский помещикам выгоду для них самих освобождения крестьян. Можно объяснить эти диссонансы разницей цензурных условий «Колокола» и «Современника», но это не все объясняет до конца. Чернышевский (в этом — главное) учит демократического читателя принципиальному подходу к враждебному классу в целом.

Суть этого подхода такова: надо отличать лицо и класс, субъективную вину и объективное положение. При существовании крепостного права, пишет Чернышевский, помещик занимал наименее выгодное, ненормальное положение относительно требований справедливости и народного благосостояния. «Но из того, что известный класс занимает положение, не согласное с этими условиями, вовсе еще не следует, чтобы лиц этого класса [как людей] можно было осуждать за невыгоды, приносимые государству или другим сословиям теми условиями быта, которые составляют привилегию сословия» (Ч., V, 144—145). Эта формула переносила центр борьбы демократической партии не на месть лицам, а на коренное общественное преобразование, не на уничтожение привилегированных лиц, а на уничтожение привилегий.

Далее Чернышевский пытается выделить разные прослойки в дворянстве. Одно дело — те, кто боится покинуть рутину по невежеству, не понимая необходимости нового порядка вещей. Эти малоразвитые люди, говорит Чернышевский, нуждаются в сострадательной помощи.

Человек более развитой показал бы себя недостойным уважения, «если бы вздумал враждовать против таких личностей, вместо того чтобы просвещать их». Для многих отмена привилегии сопряжена в ближайшем будущем с такими убытками, которые им трудно вынести. Таким нужно материальное пособие, чтобы они «могли пережить без разорения переходный период» (Ч., V, 145).

Но если элементы, враждебные прогрессу не по натуре своей, «а только по случайным обстоятельствам», нуждаются в просвещении или в помощи, то иного отношения заслуживают ярые крепостники, плантаторы не только по положению, но и по духу, по натуре. Чернышевский как будто покидает здесь социально-классовую позицию и отходит к абстрактному антропологизму. «В каждой многочисленной корпорации, — пишет он, — есть люди нравственно дурные, люди, которым дорога не столько собственная выгода, сколько возможность удовлетворять дурным страстям: тщеславию, самовластию, лени, низким порокам и т. п. . . . Они восстают против улучшений не по ограниченности ума или сведений, не по ошибочному расчету, не по робости перед нововведениями, а из пристрастия к дурному. В каждом сословии есть такие люди, но они не принадлежат собственно ни к какому сословию, кроме сословия людей нравственно испорченных» (Ч., V, 146).

Но отходя на первый взгляд к антропологизму, Чернышевский как раз пытается связать воедино с «натурой» людей их классовое положение. [«В одном сословии, — пишет он о «нравственно дурных людях», — может быть их несколько больше, нежели в других, но нет такого сословия, в котором бы составляли они большинство»] (Ч., V, 146).

Намек: «несколько больше» слабо передает суть дела. Но в подцензурной статье нельзя же было открыто написать: привычка вести паразитическую жизнь, господствовать над другими увеличивает черты нравственной испорченности в правящем сословии.

Но это одна сторона проблемы. Другая, не менее важная, заключается в том, что в феодальном обществе дворянство оказывается средоточием не только самого отвратительного, нравственно испорченного человеческого материала, но и самых образованных и развитых элементов. Это также понятно, ибо эксплуататорский класс

имел здесь беспрепятственный, преимущественный доступ к благам цивилизации, к науке, к литературе. «Хотя привилегированное положение [вообще не] благоприятствует нормальному развитию человека, — замечал Чернышевский, — но, с другой стороны, сословие помещиков обладает у нас, по отношению к удобствам нравственного развития, столькими средствами, недостающими другим сословиям, что можно предположить в сословии помещиков большую пропорцию людей, замечательных по особенной развитости ума и чувства, нежели во многих других сословиях... Беспристрастный человек едва ли станет отрицать, что в дворянском сословии находилось и находится очень много людей, заслуживающих признательность патриота своими заслугами делу общественной жизни вообще, и, в частности, находится много людей, самым благородным и полезным образом содействовавших разрешению вопроса о крепостном праве» (Ч., V, 148—149).

Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что выражение признательности адресовано прежде всего поколению дворянских революционеров, людям типа Пестеля и Рылеева, Герцена и Огарева. Высокая гуманность побуждала этих благородных людей восставать против привилегий, которые им были даны, их отречение от своего класса составляло «высокий нравственный подвиг». [«Редкое благородство и бескорыстие в образе мыслей соединялось у этих людей с доблестью воли, столь же редкою. Эти люди — лучшие граждане своей родины. За таких людей извиняются недостатки всей нации, как же не примириться ради них с сословием, к которому, в частности, они принадлежат?»] (Ч., V, 150).

Но не только дворянским революционерам отдана дань уважения в этой статье. К числу «гуманных элементов» среди дворянства Чернышевский относит (на данной ступени) и дворянских либералов: Ю. Ф. Самарина, А. И. Кошелева, К. Д. Кавелина, А. М. Унковского и др. «В самом деле, — пишет он, — нельзя забывать того, что из людей, наиболее заботившихся об уничтожении крепостного права, большая часть принадлежала и принадлежит сословию помещиков. Почти все дельные проекты об уничтожении крепостной зависимости, предшествовавшие административным мерам, были составлены людьми из сословия помещиков» (Ч., V, 149).

Таким образом, в сословии дворян следует различать три-четыре прослойки: неисправимых «негодяев», инертную и косную массу, которую тоже нельзя будет сдвинуть с места без объяснений «серьезных и вразумительных» (т. е. без борьбы. — *Авт.*) (*Ч., V, 147*), наконец, отдельные «благородные», «гуманные» элементы. Тяготение косной и инертной массы к тому или иному полюсу и должно будет определить в конечном счете отношение передовых людей России к классу дворян в целом и будущее этого класса: «...чувства наши относительно самих лиц, пользующихся существующей привилегией, совершенно зависят от чувств, которыми проникнуты сами они» (*Ч., V, 145*). Подчеркнуты в «*Ответе...*» и предварительный характер, и относительность высказанных оценок: [«Этими мыслями определяется наше мнение о землевладельцах со всей точностью, до какой довели его факты, известные до сих пор. Круг фактов еще не заключился, потому и мнение, из них выводимое, не имеет в себе ничего такого, что не могло бы измениться в будущем...»] (*Ч., V, 150*).

Статьи Чернышевского «Кавеньяк» и «Ответ на замечания г. Провинциала» выясняли, таким образом, отношение «партии» «Современника» к правительству и дворянству. Статья вторая «О новых условиях сельского быта» («Современник», 1858, № 4) выясняла ее отношение к российскому либерализму. Чернышевский воспроизвел здесь, в частности, кавелинский проект освобождения крестьян.

Чернышевский в «союзе» с Кавелиным

Чернышевский и Кавелин, по определению В. И. Ленина, представители двух противоборствующих — демократической и либеральной — тенденций в русском освободительном движении. По сути дела кавелинский план мирной «развязки» антагонизма помещика и крестьян (личное освобождение крестьян с наделом, за выкуп, при сохранении общины) был близок Манифесту 19 февраля 1861 г.

События русской истории доказали негодность замысла и исполнения: из реформы вышла одна «мерзость», потребовались революции 1905 и 1917 гг., чтобы разрубить узлы противоречий в русской деревне. Первым в Рос-

сии несостоятельность кавелинской программы вскрыл Чернышевский, противопоставив идее самодержавной реформы идею народной революции (или, по определению В. И. Ленина, прусскому пути решения аграрного вопроса противопоставив американский путь).

Расхождение двух тенденций было одним из главных результатов реформы 1861 г. Но именно поэтому важно установить, как и почему в начале 1858 г. у обеих тенденций оказались точки соприкосновения¹⁹. Тот факт, что на публикацию кавелинской записки Чернышевского вынудил поворот правительства назад, еще не объясняет всех деталей происшествия. Чернышевский не просто опубликовал кавелинскую записку, он предлагал ее как «формулу соединения для людей, подобно нам сочувствующих основным убеждениям автора ее» (*Ч., V, 135*). Какова степень искренности заявления?

Публикуя записку, Чернышевский существенно «подправил» ее текст. Указания комментаторов Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, что он опускал отдельные либерально-монархические формулировки, не отражают, правда, всего характера правки (из записки был исключен и превосходный обличительный материал, безусловно созвучный направлению «Современника»).

Крепостное право Кавелин именовал неиссякаемым источником безнравственности, невежества, тунеядства, доказывал, что оно ведет к деградации и помещика и крепостного, порождая, с одной стороны, необузданный произвол и преступления, с другой — раболепие и обман: «Архивы судебных и полицейских мест содержат в себе обильные материалы для страшной летописи человеческого уничтожения вследствие невежества и рабства. Они так многочисленны, так всем известны, что горько и больно русскому сердцу вспоминать их...»²⁰ Не менее резко звучали нападки Кавелина на бюрократическую манеру ведения правительством крестьянского вопроса: за него брались робко и «вообще действовали в величайшей тайне», обществу приходилось довольствоваться нелепыми

¹⁹ Вывод о том, что уже в 1857 — начале 1858 г. крепостники «сходили со сцены» (?), а свой «главный огонь «Современник» направлял против либералов» (см. *Н. М. Сикорский. Журнал «Современник» и крестьянская реформа 1861 г. М., 1957, стр. 50—51*), не подтверждается публикациями «Современника».

²⁰ *К. Д. Кавелин. Собр. соч., т. II. СПб., 1898, стлб. 29.*

слухами, начиналось волнение умов, и правительство спешило торжественно отречься «от всяких видов на изменение или отмену крепостного права», тем более легко и охотно, что высшие государственные чиновники, которым поручались меры, сплошь были врагами освобождения²¹.

Вряд ли эти разоблачения ушли из публикации по доброй воле Чернышевского. В первоначальном варианте кавелинская записка вызвала замечания цензуры, и скорее всего как раз ее вмешательством объясняются эти изъятия.

С другой стороны, из записки исключены — и здесь правы комментаторы — некоторые мысли либерально-монархического и охранительного порядка. Возражая «плантаторской партии», которая пугала самодержца тем, что уничтожение помещичьей власти над крестьянами явится прелюдией к уничтожению власти монарха над Россией, Кавелин пытался доказать, что ход русской истории состоял и будет состоять в усилении власти государя за счет знати и вельмож. Этот ряд рассуждений и доводы о том, что крепостное право «возникло у нас частью вследствие настоятельной государственной потребности», частью исторгнуто у власти в период ее шаткого положения²², отсутствуют в публикации Чернышевского. Нет в публикации и охранительной рекомендации властям насчет того, как подавлять разрозненные крестьянские бунты в период реформы. Оказалась смягченной формулировка Кавелина о том, что правительственная власть не должна затрагивать собственность помещика, и отсечен пункт записки, гласивший, что в случае невозможности приступить к коренной реформе надо будет начать с повсеместного введения в России косвенных мер освобождения.

Однако все эти достаточно целенаправленные вторжения Чернышевского в текст не изменили либеральной сущности записки. «Кто знает Россию, — утверждалось в ней, — кто понимает ее великое призвание, тот не сомневается, что ей прежде всего необходимы мирные успехи, которые, впрочем, не только у нас, но и везде вернее и прочнее развития сомнительным и тяжким пу-

²¹ Там же, стлб. 38—39.

²² Там же, стлб. 23, 35—36 и др.

тем переворотов и смертельных опытов. . .»²³. Чернышевский чуть смягчил лишь последнюю фразу — концовка стала звучать так: «. . .которые, впрочем, не только у нас, но и везде вернее и прочнее всяких других» (*Ч., V, 120*).

Сугубо либеральный характер носили и публикуемые конкретные предложения записки. За исходную точку предлагалось «принять существующий ныне порядок дел»; освобождение происходило за выкуп, выкупу подлежала и земля, отводимая крестьянам, и личность крестьянина — «крепостные составляют такую же собственность владельцев, как и земля». Предусматривалось, кроме того, получение помещиком сполна всей выкупной суммы по цене на крепостных и землю, существующей на местах (*Ч., V, 117, 118*). Кавелинский проект вообще не предусматривал участия крестьян в подготовке реформы.

Говорить о том, что сам Чернышевский субъективно на какой-то период поверил в кавелинскую идею гармоничного примирения интересов враждующих сословий: владельцев, которые «защищают в нем (крепостном праве. — *Авт.*) свое имущество, дошедшее к ним законным порядком», и крепостных, интерес которых состоял «в полном, личном освобождении их от владельцев» с удержанием их собственного имущества и той земли, которой крестьяне «владеют и пользуются для себя» (*Ч., V, 114*), — на наш взгляд, нет оснований. Кавелинской записке предшествовали и за ней следовали статьи Чернышевского, настойчиво и систематически разоблачавшие либеральные воззрения. Кавелинская записка объявляла войну партии революции, в «Кавеньяке» Чернышевский, напротив, предупреждал о гибельности и порочности действий в духе «того демократизма, который против так называемой демагогии (т. е. революционеров. — *Авт.*) враждует гораздо сильнее, нежели против реакции» (*Ч., V, 59*). Публикуя кавелинскую записку, Чернышевский предлагал на ее основе объединить всех сторонников освобождения, а «Кавеньяк» предупреждал о гибельности разного рода случайных союзов, заключаемых партиями с противоположными целями; «эти союзы ведут к смертельной вражде между союзниками» (*Ч., V, 36*). Кавелин пытался доказать, что возможен такой исход освобождения, при котором и волки будут сыты, и овцы

²³ Там же, стлб. 76, 54.

целы; в то же самое время, как бы предваряя эти мысли, Чернышевский разоблачал аналогичные надклассовые иллюзии Луи Блана, который из-за боязни революционного насилия думал примирить в 1848 г. противоположность интересов собственников и простолюдинов.

Остается два предположения. Первое — публикация относилась все к тем же попыткам «прощупать» позицию правительства. Второе — принятие «партией» «Современника» либеральной кавелинской программы в качестве платформы совместных действий, серьезная уступка демократической партии русскому либерализму были платой за такое содержание кавелинской программы, вернее, отдельных ее пунктов, которые, даже не удовлетворяя демократов, могли в будущем открыть путь к развитию самостоятельности крестьянских масс. Еще во втором номере «Современника» за 1858 г., цитируя слова консервативного экономиста Л. В. Тенгоборского: «Наш крестьянин считает поле, которое обрабатывает на себя, своей собственностью или, лучше сказать, собственностью своей общины», — Чернышевский добавлял от себя: «Правда, и этот факт мы должны запомнить как можно тверже...» (Ч., V, 75).

Этому главному «факту» отчасти отвечала кавелинская записка. Она предусматривала наделение крестьянина той землей, которой он фактически владел, и как раз это делало проблематичной возможность гладкого, бесконфликтного выкупа в ходе реформы.

Содержал кавелинский проект еще один пункт, устраивающий «партию» «Современника». Освобождение крестьян должно было производиться в условиях полной гласности. Правда, первоначальный текст кавелинской записки говорил о гласности, «само собой разумеется, в известных пределах»²⁴. Чернышевский обрезал эту охранительную концовку.

В целом же исходная позиция, с которой «Современник» начал борьбу за освобождение крестьян, рисуется так: при отсутствии развитого демократического движения революционерам-одиночкам в России приходилось силой обстоятельств, волей-неволей идти на временный союз с либералами, стараясь, сколь это было возможно, сохранять собственную линию, стараясь нащупать и ак-

²⁴ Там же, стлб. 62.

центрировать в либеральных программах те места, где было возможно в дальнейшем движение вперед.

В наших раздумьях над замыслами Чернышевского остается, разумеется, элемент предположительности. Но зато можно совершенно точно указать на объективную роль публикации кавелинской записки Чернышевским — она содействовала разоблачению «верхов».

В связи с «выходкой» «Современника», осмелившегося приняться всерьез за обсуждение реформы, а главное, затронуть вопрос о выкупе полевых наделов, на русские журналы посыпались цензурные предупреждения, и как раз текст их подтвердил, что правительство по существу отказывается от наделения крестьян землей. В качестве идей, противоречащих главным началам царских рескриптов, названы были следующие: мысль о том, что освобождаемый из крепостного состояния крестьянин должен получить в полную собственность ту часть помещичьей земли, которой он пользуется; мысль о необходимости полностью ликвидировать зависимость крестьян от помещиков; мысль о приобретении усадеб в собственность без выкупа. Был «подвергнут неприятностям» и сам автор записки К. Д. Кавелин.

Первые поправки к тактической линии «Современника»

Конец весны — лето 1858 г. — время успехов «плантаторской партии». Члены Главного комитета генерал Я. И. Ростовцев и министр юстиции В. Н. Панин трудятся над планом перевода России на чрезвычайное положение. В апреле губернским комитетам спускается программа, предусматривавшая введение срочнообязанного положения и освобождение крестьян без земли.

Позицию Чернышевского в этот период лучше всего выражает статья «Русский человек на rendez-vous», которая была, на наш взгляд, не только «злой» и «меткой» характеристикой «российского либерализма» вообще, как считали еще Г. В. Плеханов²⁵ и следовавшие за ним историки, но и прямым выпадом против распространенных в ту пору представлений, лучше всего выраженных в известной мысли одного из творцов «освобождения

²⁵ Г. В. Плеханов. Соч., т. V. М., 1924, стр. 85.

сверху» — Н. А. Милютина: «...ныне... правительство либеральнее самого общества»²⁶.

Повод для статьи — появление лирической повести Тургенева «Ася». С легким чувством, пишет Чернышевский, начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, столь отличную от мрачной обличительной литературы. «Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты» (Ч., V, 156).

В повести Тургенева решительная минута состояла в том, что молодой человек Н. Н. (критик иронически именует его Ромео) испугался слишком быстрого проявления чувств со стороны возлюбленной, поступил вопреки зову сердца, оттолкнул ее. Чернышевский по своему обыкновению перескакивает от сюжетов обыденной жизни к сюжетам политическим: «Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, — только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, как мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах» (Ч., V, 166).

Любопытны детали статьи. Есть, думаем мы, в обществе силы, восклицает Чернышевский, которые положат преграду вредному влиянию дурных людей, которые изменят своим благородством характер нашей эпохи. «Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник». Благородный Ромео говорит своей Джульетте в ту минуту, когда должна навеки решиться их судьба: «Вы передо мною виноваты... вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я

²⁶ «Из записок Марии Агеевны Милютиной». — «Русская старина», 1899, январь, стр. 64.

должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше» (Ч., V, 157). Не напоминают ли все эти тирады о тех первоначальных надеждах, которые либеральное «общество» связывало с именем Александра II, и о том выговоре, который получил «сверху» после весенних событий 1858 г. предводитель «либеральной партии» Кавелин?

Продолжим чтение «Русского человека на rendez-vous», ставя в скобках свои вопросы: «От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица (а не был ли главным лицом в событиях зимы 1857 — весны 1858 г. Александр II? — Авт.) не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести (не намек ли на ноябрьские-декабрьские рескрипты царя? — Авт.), то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком». Правда, затем Чернышевский расширяет рамки обличений: «...характер героя верен нашему обществу» (Ч., V, 158).

Но скорее всего именно царю, а не либералам адресованы такие высказывания: «Мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом», нам все еще кажется, «будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто без него было бы нам хуже. Все сильнее и сильнее развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта», что «есть люди лучше него, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его братьям» (Ч., V, 171—172). Адресование этого места непосредственно Александру II довольно определено. А вот и заключительное обращение Чернышевского к «верхам»: «...мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над

ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их... Невозвратен счастливый миг. Не дожидаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств... «Постарайтесь кончить тяжбу любовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш» (Ч., V, 172—173).

Правда, в середине 1858 г. цензурные запреты не позволяют Чернышевскому высказывать свое мнение о конкретных условиях этой «любовной сделки». Остается неопубликованной статья «О способах выкупа крепостных крестьян», где Чернышевский обозначает «задачу безобидной для обеих сторон развязки крепостных отношений» (Ч., V, 185). Но уже в августе — сентябре в «Современнике» печатается статья «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X». В ней мы находим упоминавшийся выше принцип членения противоборствующих политических сил: либералы, роялисты, династия как особая сила (эта расстановка, очевидно, представляется Чернышевскому характерной и для России периода 1857—1858 гг.); в ней настойчиво проводится мысль о том, что династия Бурбонов погибла в 1830 г. потому только, что, не поняв своего особого интереса, позволила феодалам связать себя по рукам и ногам, пренебрегла интересами народа.

Рассказывая о гибели Бурбонов, Чернышевский в сущности дает отрицательный ответ на вопрос, может ли Александр II стать «государственным человеком»: «Бурбоны по своей истории, по своей натуре, по всей своей обстановке не могли действовать иначе, нежели как действовали. Так, к сожалению, совершенно так. Напрасно очевиднейшая выгода, настоятельнейшая необходимость указывала им иной путь — в них не было сил идти по этому счастливому пути, в них не было даже способности видеть этот путь. Так, рассудок чуть ли не совершенно бессилён в истории. Напрасно говорить о нем, это пустая идеология» (Ч., V, 276).

А вот еще одно важнейшее дополнение. Рассказывая о причинах гибели Бурбонов, Чернышевский выделяет особо интриги некоего иезуитского общества: «Сила роялистов сосредоточивалась в тайном обществе, известном под именем конгрегации. Тайные иезуиты, овладевшие отцом убитого принца и братом короля, графом д'Артуа, были руководителями этого общества. Оно повсюду име-

ло агентов, располагало огромными суммами, но скрывало свои действия так искусно, что очень немногим людям во Франции были известны даже имена людей, управлявших конгрегацией; она действовала так хитро, что в те времена многие историки и публицисты даже отвергали существование ее политических интриг» (Ч., V, 238).

Соотнося эти высказывания с ситуацией в России конца 50-х годов XIX в., можно сказать, что больше всего на «конгрегацию» походила придворная клика, та часть владельческой партии, которую бесцензурный «Колокол» назовет «черным кабинетом». Но важно не только выявление еще одного скрытого фактора политической борьбы в стране, крайне важна мысль о его значении. В общественной жизни действие, беспримерное по катастрофическим последствиям, оказывается, производит не сопротивление назревшим преобразованиям реакционного класса в целом, а сопротивление наиболее активной, наглой части этого класса, имеющей прямой доступ к рычагам государственной власти, действующей закулисно, тайком, интригами.

Эта «деталь» представляется Чернышевскому столь существенной для исхода реформ «сверху», что он возвращается к ней в статье «Тюрго». В истории, поясняет он, действительно были монархи (или их первые министры), которые могли действовать с полной независимостью. «Таковы были Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV в первую половину своего царствования. Но качества, нами названные, могут являться только при известных условиях, из которых самое главное — существование упорной борьбы для упрочения правительственной формы... Но когда форма упрочена, характер дел изменяется, а с ним и характер людей... начинается эпоха личных отношений и наступает владычество камариллы, которая скоро так опутывает волю, что она лишается своей самостоятельности. Имя остается прежнее, но прежнего духа уже нет» (Ч., V, стр. 313—314).

И тогда самодержец оказывается самодержцем только по названию, фактически же господствует, пользуясь именем короля, придворная клика. «Она овладевает всей дворцовой жизнью до такой степени, что потомки Людовика XI не могут приобретать знакомства с государственными делами. Камарилла стоит между ними и делами,

скрывает все, что может скрыть, показывает в извращенном свете то, чего не может скрыть... [Словом, ту личность, около которой вертятся ее мелкие хлопоты, она делает такой же, какова сама, — способной только на мелочи, лишенной и знания и воли во всем серьезном]» (Ч., V, 314).

Интересно отметить, что в середине 1858 г. в «Современнике» (№ 6, 7, 8) печатается статья Н. А. Добролюбова «Первые годы царствования Петра Великого», близкая по направленности статьям Чернышевского. Здесь слабому и непоследовательному Алексею Михайловичу, который ограничивался «всегда только полумерами» и «допустил обольстить себя вельможам», противопоставляется Петр как «великий исторический деятель, понявший и осуществивший действительные потребности своего народа и времени». Правда, добавляет Добролюбов, в то время «высшие понятия о благе и величии народов не были еще выработаны» (Д., III, 24—27).

Таким образом, к осени 1858 г. Чернышевский приходит, казалось бы, к окончательному выводу: безнадежно ждать от Александра II — простой игрушки в руках «камариллы» — исполнения роли «государственного человека». Правда, оставалось неясно другое — что делать русским демократам в тогдашней ситуации. «Есть в истории, — писал Чернышевский, — такие положения, из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю?.. Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он по крайней мере не должен делать: не стараться ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастью подвергся ей, — оставим надежды ребятам, взрослому человеку неприлично ожидать виноградных гроздов на терновнике» (Ч., V, 277).

Во Франции 1830 г. судьба Бурбонов была решена внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, — вмешательством народа (Ч., V, 261). В России 1858 г. эта сила не пробудилась к открытой политической борьбе. Именно поэтому предложить вместо реформы «сверху» иную конкретную программу Чернышевский в 1858 г. еще не имеет возможности. Только в двух-

трех статьях — «Тюрго», «Откупная система» («Современник» № 9, № 10 за 1858 г.) — можно найти глухие намеки на необходимость глубинной пропашки общественных отношений. Приведем одно из таких мест. «Каждый год русские бабы и девки, — пишет Чернышевский, — по несколько раз трудятся над полотьем сорной травы на своих скудных полях, и каждый год сорная трава вырастает снова. Мы совершенно убеждены в необходимости полоть; недаром у нас есть пословица: «дурную траву из поля вон»; но мы думаем, что подобное занятие вышеупомянутых баб и девок останется работой Данаид, пока их мужья не убедятся в необходимости переработать почву своих полей более глубокою пропашкою: на хорошо обработанной земле меньше останется зерен сорной травы, да и та заглушается дружным, сильным ростом хлеба» (Ч., V, 334).

«Полевение» Ростовцева.

К вопросу о движущих силах реформы

К концу 1858 г. крепостники берут верх в губернских комитетах — здесь взвинчиваются размеры выкупа за крестьянские усадьбы и повинностей на срочнообязанный период, проявляется (особенно в черноземных губерниях) стремление обезземелить крестьян. Правда, в ряде комитетов (Тверском и других) распространяется либеральная идея передачи крестьянам в собственность наделной земли, но надел сокращается, за него назначается несоразмерный выкуп.

Позицию сил, взявших на себя защиту крестьянских интересов, Чернышевский изобразил в известной статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» («Современник» № 12 за 1858 г.). Хотя, писал Чернышевский, большинство литературного мира пришло к высказанному мной принципу сохранения общинного землевладения, однако это не внушает мне особой гордости, напротив, «я стыжусь самого себя»: думая о «высшей гарантии благосостояния людей», я не подумал о гарантиях «низших» (Ч., V, 358—360).

Автор статьи самокритичен и в оценке своего участия в обсуждении реформы в начале 1858 г. Предположим, пишет он, что вы изыскиваете средства для сохранения

провизии, из которой изготовляется для вас обед, и представьте себе, что вы узнаете, что провизия вовсе не принадлежит вам и что «за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?» (Ч., V, 360—361).

Первая «относится ко мне самому»: «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» «Вторая моя мысль — о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!»» (Ч., V, 361).

И все же, несмотря на все эти самобичевания, Чернышевский будет еще и в 1859 г. продолжать хлопоты по «опостылому делу», обсуждать условия выкупа. Эта странная «непоследовательность» была вызвана внешними обстоятельствами — неожиданным поворотом в правительственной политике. «По крестьянскому вопросу назначена комиссия для окончательного составления нужных положений, — писал Чернышевский родным в Саратов 8 марта 1859 г. — Председателем сделан Ростовцев. Говорят, что в число членов он берет людей просвещенных и понимающих дело надлежащим образом. Дай бог!» (Ч., XIV, 373). Об этом же событии издатели «Колокола» запрашивали у своих читателей в мартовском номере 1859 г.: «Дошел до нас слух, что Иаков Ростовцев написал проект освобождения крестьян, который хорошо принят государем... Проект этот, говорят, замечателен. Мы были бы очень обязаны, если б нам прислали копию или хоть содержание проекта»²⁷.

Суть проекта, который запрашивал «Колокол», была такова: «1) крестьяне получают личную свободу и включаются в состав свободного сельского сословия; 2) в административном отношении крестьяне составляют

²⁷ «Колокол», л. 37, 1 марта 1859 г., стр. 306.

сельские общества, которые избирают органы мирского управления; 3) помещик должен иметь дело с миром, а не с отдельной личностью крестьянина; 4) помимо обеспечения крестьянина земельным наделом в постоянное пользование необходимо предоставить ему возможность выкупить этот надел в собственность. В этих целях правительство оказывает содействие крестьянам путем организации кредита; 5) необходимо регламентировать срочнообязанное положение»²⁸.

Изменились и организационные формы подготовки реформы — разработка дела была изъята из рук Главного, «плантаторского» по составу, комитета и передана вновь образованным Редакционным комиссиям. Созданные, по мысли Н. А. Милютина, из представителей правительственных ведомств и назначаемых правительством экспертов-дворян (возникшая было мысль о включении крестьянских старост не была осуществлена), комиссии были совершенно послушным орудием в руках государя. Члены их получили доступ к обширной литературе, включая «Колокол» (!), принципом их работы была объявлена «полная гласность».

Для современников этот сдвиг «влево» остался трудно объяснимым. Иные приняли его за некое самодвижение правительства, вступившего на путь реформы. «Так существо дела, раз поднятого, — писал один из корреспондентов «Колокола», — растет само собою, по врожденной ему силе, тоже и со всеми другими вопросами. Чем больше упирается администрация, тем больше определяются вопросы и это — так называемое беспокойством, волнением, задором и либерализмом — просто условия дороги, на которую выехало общество. Так как оно выехало на нее по крайней необходимости, то воротиться ему назад нет возможности, а стоять без лошадей в степи тоже неудобно и нельзя. Оно еще боится порядочных лошадей и подпрягает кляч, но тащиться должно и тащится.

Ну, тащися, сивка!»²⁹

Впрочем, большинство современников (а впоследствии либеральных историков) объяснило поворот конца

²⁸ П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России. М., 1968, стр. 109.

²⁹ «Колокол», л. 39, 1 апреля 1859 г., стр. 316.

1858 — начала 1859 г. изменением душевного настроения у одного из творцов крестьянской реформы — Якова Ростовцева. Оказывается, летом 1858 г., изучая на зарубежных курортах крестьянское дело, он пришел к мысли о необходимости скорейшей развязки крепостных отношений. Свои новые идеи он поспешил изложить в письмах государю, они пришлись тому по душе, и, когда главные действующие лица спектакля вернулись осенью в Петербург — Александр II из очередного вояжа по России, Яков Иванович из заграничной поездки, — дело пошло на лад быстро и гладко. Царь призвал в свой дворец в Гатчине Ростовцева и Ланского, втроем они решили, как перехитрить сановников — противников реформы, передав дело вновь созданным Редакционным комиссиям.

Разумеется, подобным объяснениям всерьез верить не приходится. Трудно допустить, что смена настроений у Ростовцева — рабской тени государя — или какие-то ловкие ходы Ланского или Милютина, которые шагу не ступали самостоятельно, могли быть истинной причиной поворота в политике. Правда, поскольку дело происходило в абсолютистском государстве, нельзя просто отбрасывать мысль о смене настроений и мыслей самого Александра II как ближайшей причине событий. «Механизм освобождения» действительно приводился в движение или останавливался по воле монарха. Но сводить суть дела к настроениям царя или его приближенных, как это делали либеральные историки, значило бы остаться на поверхности событий. То, что происходило в царском дворце, определялось в конечном счете не эмоциями проживавших в нем лиц, сами эти эмоции были производными от более глубокой причины. Эту причинную связь вскрывает известная марксистская формула: «реформы — побочный продукт классовой борьбы».

Краткая выдержка из политического обозрения III отделения за 1857 г. говорит нам больше о причинах обнародования царских рескриптов в конце 1857 г., чем тома либеральных писаний. «Из всех предметов, наиболее занимающих теперь Россию, — говорилось здесь, — самым важным является предположенное освобождение помещичьих крестьян. Слухи об изменении их быта, начавшиеся тому около трех лет, распространились по всей империи и привели в напряженное состояние как помс-

щиков, так и крепостных людей, для которых это дело составляет жизненный интерес»³⁰.

Существенная связь была, несомненно, и между июлем 1857 г. — выходом № 1 «Колокола», возвестившего известные лозунги: «Освобождение слова от цензуры!», «Освобождение крестьян от помещиков!», «Освобождение податного состояния от побоев!», — и ноябрем — декабрем 1857 г., когда правительство сдавленным голосом произнесло столь роковое для него по своим последствиям слово «свобода».

В конечном счете теми же глубинными причинами: массовым крестьянским недовольством, давлением бесцензурного «Колокола» и русских подцензурных журналов — был вызван и резкий зигзаг в правительственной политике в конце 1858 г. Пусть число крестьянских волнений, вспыхнувших и подавленных в 1858 г. (378), было еще и не столь значительно, учитывая необъятные пространства Российской империи и громадную численность ее населения, но оно уже значительно превышало их число в сравнительно безоблачные для самодержавия времена Николая I (1059 волнений за 23 года, с 1826 по 1849 год)³¹. Быстро росла радикальная оппозиция и в городах, где скорее чувствовались те повороты «вправо», которые происходили в «высших» сферах. Дело доходило, как свидетельствуют герценовские публикации из России, до явных угроз: «Ждите, бедные труженики! Не дожидаться вам этого дня: царь, тот самый царь, который в марте 1856 года говорил дворянам в Москве — лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу, — тот же царь теперь надежду вашу на свободу называет нелепым толком и объявляет, что она вряд ли когда может осуществиться. Слышите ли, бедняки, нелепы ваши надежды на меня, говорит вам царь. На кого же надеяться теперь! На помещиков? Никак — они заодно с царем, и царь явно держит их сторону. На себя только надейтесь, на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам царя,

³⁰ Цит. по: «Крестьянское движение 1827—1869», вып. 1. М., 1931, стр. 112.

³¹ «Крестьянское движение в России в 1857 — мае 1861 гг.». Сб. документов. М., 1963, стр. 11, 12.

снизу! За дело, ребята, будет ждать, да мыкать горе; давно уже ждете, а чего дождались? ..»³²

Нет, Россия не представляла исключения из общего правила. «Добрая воля» государя в конце концов оказывалась производной от силы давления прогрессивных общественных сил. Правда, и крестьянское недовольство, и сила бесцензурного «Колокола» (или подцензурных русских журналов, выразивших более глухо и смутно те же оппозиционные настроения) были слишком малы, чтобы переломить ход событий в пользу народа. Но новый поворот в политике правительства стал фактом. Этот поворот потребовал определенных поправок и в тактической линии «Современника».

Последний шанс на «полюбовный» исход дела

Так появляются в «Современнике» последние «либеральные» статьи Чернышевского зимы 1858—1859 г. и конца 1859 г.: «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа», «Труден ли выкуп земли», библиография журнальных статей по крестьянскому вопросу, «Материалы для решения крестьянского вопроса». К ним надо прибавить и не увидевшую тогда свет реплику — «Замечания на предыдущую статью» — по поводу проекта кн. П. В. Долгорукова (Ч., V, 492—498).

Целиком соглашаясь с комментаторами Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, утверждающими, что он «в сущности боролся вовсе не за наибольший крестьянский земельный надел и наименьшие выкупные платежи при сохранении помещичьего землевладения, а за полную экспроприацию последнего» (Ч., V, 948), мы должны отметить и другую сторону вопроса, поскольку речь идет не об общей позиции Чернышевского в эпоху реформ, а о тактических установках 1859 г. Нам представляются заслуживающими внимания выводы тех историков, которые видели смысл названных статей в доказательстве «необходимости, выгоды для помещиков и

³² «Колокол», л. 25, 1 октября 1858 г., стр. 205.

полной возможности для государства обязательного выкупа земли в пользу крестьян»³³.

В «Книге для чтения...», на которую мы ссылаемся, на наш взгляд, достаточно точно воспроизводится суть аргументов Чернышевского: «Противники идеи выкупа, тем более обязательного, пугали огромными цифрами стоимости этой операции и отсюда — невозможностью ее. Чернышевский считает эти цифры (полтора-два миллиарда рублей. — *Авт.*) преувеличенными и ни на чем не основанными... По мнению Чернышевского, большие цифры противников выкупа или по крайней мере скептиков происходят от того, что они хотят выкупа всей земли помещика и оценивают ее всю одинаково. Между тем часть земли находилась в личном пользовании крестьян и должна была находиться по закону в таком пользовании, а стало быть, и по закону и по справедливости должна остаться за крестьянами... Доход помещику получается с остальной, находящейся в его пользовании земли... Поэтому и выкупная сумма должна вычисляться по этому действительному, а не фиктивному доходу, т. е. применительно к части помещичьей земли, а не всей ее. С этой точки зрения выкуп даже выгоден для помещиков»³⁴.

Отметим еще два обстоятельства. Прежде всего, приуроченность последних «либеральных» статей Чернышевского 1858—1859 гг. к вполне определенным сдвигам правительственной политики. По вопросу о выкупе Чернышевский пытается выступить или выступает несколько раз — в ноябре и декабре 1858, январе 1859 г. и в октябре 1859 г. А теперь напомним, что в октябре 1858 г. Главный комитет получил новые указания царя, а 4 декабря 1858 г. утвердил новые либеральные принципы реформы; к концу лета 1859 г. были получены первые результаты работы Редакционных комиссий — «оболванен», как выражался Ростовцев, предварительный проект реформы.

Такое совпадение в датах не случайность, особенно если учесть замысел упомянутых выше статей Чернышевского: определить тот рубеж, ту «крайнюю уступку», да-

³³ В. Алексеев. Русское общество и освобождение крестьян. — «Книга для чтения по истории нового времени», т. V. М., 1917, стр. 537.

³⁴ Там же, стр. 538.

лее которой принятие более или менее спосного для крестьян варианта «освобождения сверху» превращалось в откровенное предательство крестьянских интересов. Этот предел зимой 1858—1859 г. рисуется по его статьям в следующих чертах:

1. «...Сохранение настоящего надела с прибавкою необходимой части леса и других угодий, которыми до сих пор пользовались крестьяне даром, хотя эти угодья часто и назывались принадлежащими исключительно к господской половине» (Ч., V, 495).

2. Умеренная стоимость выкупа земли. Мы не будем затруднять внимание читателей анализом громадных цифровых выкладок Чернышевского, укажем только итог. «Помножая эту среднюю ценность выкупа (49 руб. 05 коп.), — пишет Чернышевский, — на все количество крепостных душ в Европейской России (10 844 902, по новейшим сведениям г-на Тройницкого), мы получим 531 942 433 руб. 10 коп. Вот вся сумма выкупа с землею при наделе, увеличенном на целую треть выше настоящего. Как далеко от этой цифры до страшных полутора или двух миллиардов рублей серебром, о которых обыкновенно говорят! Целая бездна отделяет наш вывод от этих ужасающих фантомов» (Ч., V, 515).

Наконец, в октябрьском номере «Современника» за 1859 г. Чернышевский делает последнюю свою попытку «самым умеренным и спокойным образом обозначить, какое решение вопроса могло бы, хотя до некоторой степени, соответствовать идеям, с незапамятных времен существующим в поселянах». Это запрет «принужденного перенесения крестьянских усадеб»; увеличение размера надела «в тех поместьях, где нынешний надел служил причиной справедливых жалоб по своей недостаточности»; увеличение выкупной суммы до 70—90 руб. с души, отчего «одна треть помещиков (помещики оброчных имений) останутся не в убытке; две другие трети помещиков (помещики имений с господской запашкой) будут иметь огромный выигрыш»; обязательный и всеобщий переход выкупаемой земли крестьянам, ибо «добровольное соглашение (на котором настаивали помещики. — Авт.) только тогда может быть добровольным, когда обе стороны находятся в полной независимости одна от другой»; уплата выкупа исключительно деньгами, но никак не обязательным трудом; «сохранить обязательный труд

значило бы в сущности сохранить крепостное право» (Ч., V, 713, 716, 720, 734, 735, 737).

Очень важный факт! Условия выкупа, защищаемые в 1859 г. «Современником», довольно близки условиям, которые выставлял «Колокол». Как раз в марте 1859 г. Н. П. Огарев, завершая полемику с Н. И. Тургеневым, отвергает, как нереальное, его требование безвозмездного наделения крестьян землей: «Я не спорить хочу с вами. Внутренне я очень согласен на безвозмездное наделение крестьян землею. В этом предположении есть столько широко благородного, что мудрено ему не сочувствовать. Но опыт доказывает, что применение его невозможно. Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землей, но едва согласится на выкуп; оно слишком завязло в любви не к одному землевладению, но и к рабовладению»³⁵.

Важна и близость названных Огаревым цифр тем цифрам, которые защищало левое крыло русских либералов в губернских комитетах и в литературе той поры. Проекты А. М. Унковского, В. А. Кокорева и других, солидарность с которыми выражал «Колокол», предлагали брать с крестьян для ежегодной уплаты процентов и погашения с выкупного капитала около 5—5,5 руб. на душу; помножив 5—5,5 руб. на 10 с лишним миллионов крестьян и на 20 лет выкупных операций, получаем результат около 1,1—1,2 млрд. руб., это немногим больше, чем тот самый крайний предел, который был обозначен и в статьях Чернышевского конца 1859 г.

Отметим, что в статье «Труден ли выкуп земли?» Чернышевский еще раз подтвердит солидарность с публиковавшимся ранее кавелинским проектом — тем решением вопроса, «которое было представлено в нашем журнале и с которым в главных основаниях мы тогда же соглашались» (Ч., V, 504).

Итак, и «Современник» и «Колокол» защищают в 1859 г. примерно одинаковые и притом вполне реальные цифры выкупа, реальные в том смысле, что сумма эта была близка цифрам проектов определенной части либерально настроенного дворянства. Разумеется, и Чернышевский и Огарев защищали эту сумму вовсе не потому, что хотели вознаградить помещиков. Огарев, как мы ви-

³⁵ «Колокол», л. 38, 1 марта 1859 г., стр. 307.

дели, «внутренно» согласен на безвозмездное наделение крестьян землей, Чернышевский также намекает, что его решение лишь «до некоторой степени» защищает крестьянский интерес, и в этом отличие субъективных установок демократов от установок либералов. Дело в ином — защитники крестьянских интересов идут на компромисс с либеральной помещичьей партией, испытывают в условиях недостаточной развитости демократических сил последний шанс на «полюбовный исход дела»³⁶.

Не менее важно отметить еще одно обстоятельство — определенный отход Редакционных комиссий, «оболванивших» к осени 1859 г. проект реформы, от позиции губернских комитетов. В результате бурных и продолжительных прений в комиссиях были отвергнуты проекты безземельного освобождения крестьян. Комиссии приняли нормы наделов, более чем вдвое превышавшие нормы ряда губернских комитетов, несколько снизили размер повинностей, устанавливаемых на переходный период, а тем самым — и размер выкупных платежей (их сумма исчислялась по капитализации повинностей).

Этот итог «левая» часть Редакционных комиссий (Ростовцев — Милютин) продиктовала, оберегая «государственный интерес»: чрезмерно обездоленный крестьянин представлял бы вечный источник беспокойства для государства, а главное, дурно нес бы государственную повинность. Но беда в том, что в документах комиссий по каждому из главных пунктов остались неясности, да и сам итог ее весенне-летних занятий был сугубо предварительным: предстояло обсуждение проекта представителями губернских комитетов и «вышшими» инстанциями.

Огарев, получив материалы Редакционных комиссий, возрадовался осторожности их формулировок: «Сначала

³⁶ Кстати говоря, рассмотренные нами «либеральные» статьи Чернышевского 1858—1859 гг. дали ему возможность в начале 1862 г. в ответе редакции журнала «Современник» на предложения министра просвещения представить ему свои мнения о необходимых преобразованиях в цензуре, выставить журнал систематическим приборником либеральных начинаний правительства. Чернышевский явно хитрил, уверяя, что редакция «Современника» «всегда желала располагать общественное мнение в пользу реформ, совершаемых правительством» (Ч., XVI, 363) (курсив наш. — Авт.). Но он несколько не поступался истиной, обнаруживая компромиссную тенденцию в перечисленных нами статьях.

заметим только одну важную и страшно полезную вещь: Председатель сказал, что никакое решение и постановление не должно быть чем-нибудь окончательным, непреложным, на что бы нельзя было, при дальнейшем ходе трудов комиссии, возвратиться и чего бы нельзя было изменить на что-нибудь лучшее. Эта мысль, без сомнения, есть основание всякой правильной реформы, основанной на согласовании понимания с фактом, это мысль, которая даст простор уму»³⁷.

Но увы! Приняв желаемое за действительное, издатели «Колокола» забыли ту истину, о которой вскоре напомним им знаменитое письмо, присланное из русской «провинции» за подписью «Русский человек»: «Надежда в деле политики — золотая цепь, которую легко обратит в кандалы подающий ее»³⁸. Самодержавно-бюрократическая машина, в недрах которой были изготовлены в конце концов Положения 19 февраля 1861 г., была менее всего способна согласовать «понимание с фактом», тем более дать «простор уму». Слова председателя о возможности изменить любое положение на «что-нибудь лучшее» реально означали только одно — изменить в пользу крепостников. Тот же самый Ростовцев откровенно сообщал императору 23 декабря 1859 г.: «Комиссии иногда наклоняли весы на сторону крестьян и делали это потому, что наклонять весы потом от пользы крестьян к пользе помещиков будет и много охотников и много силы, а наоборот — иначе»³⁹.

Куда трезвее, чем издатели «Колокола», смотрели на события издатели «Современника». Ясное понимание того, сколь сильны и могущественны в государстве силы, действующие в пользу помещиков, в ущерб крестьянам, заставляло Чернышевского в том же 1858-м, а особенно в 1859 г. не слишком надеяться на «полюбовный» исход дела, исподволь готовить читателя к иному, революционному исходу, заранее зная, каким трудным и тяжким будет и этот путь. События подтвердили реализм его позиции.

³⁷ «Колокол», л. 52, 15 сентября 1859 г., стр. 424.

³⁸ «Колокол», л. 64, 1 марта 1860 г., стр. 535.

³⁹ Цит. по: М. Н. Покровский. Крестьянская реформа.

Первая полоса «Колокола» от 15 марта 1860 г. имела необыкновенный вид. Траурная рамка окаймляла сообщение о назначении нового председателя комиссий вместо умершего Ростовцева. «Невероятная новость о назначении Панина на место Ростовцева, подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакции — поставлен главою освобождения крестьян»⁴⁰.

Полученную весть Герцен называет невероятной. Между тем назначение В. Н. Панина как нельзя лучше подтвердило суть «великой» реформы: освобождение крестьян руками царя и крепостников отразило ту закономерность русской политической жизни, о которой Герцен еще в сентябре 1858 г. писал: «Все одно и то же. Хотят каких-то новых порядков и употребляют старых николаевских слуг...» (*Г., XIII, 345*).

В самом деле, на всех этапах реформы, во всех органах, занятых ее разработкой, Александр II сохранял откровенных противников освобождения. Целевое назначение такой политики выявлено в нашей литературе. Сохранение элементов старого в органах, занятых его «отменой», позволяло самодержавию эквилибрировать между крепостниками и либералами, соблюдая интерес всего класса помещиков в целом, вырабатывая лучшую для этого класса меру и форму уступок. Нельзя не согласиться со справедливым выводом исследователя эпохи отмены крепостного права в России: «Правительство более полно выражало интересы дворянства как класса, нежели большинство помещиков, не понимавших, что реформа необходима для сохранения дворянского землевладения хотя бы и в несколько измененном виде»⁴¹. К этому стоит прибавить, что та же реформа была не менее необходима для сохранения в неприкосновенности самой императорской власти. Будучи верховным судьей в пресловутой борьбе крепостников с либералами, правительство пуще глаза берегло свой собственный самодержавный интерес.

⁴⁰ «Колокол», л. 65/66, 15 марта 1860 г., стр. 539.

⁴¹ П. А. Зайончковский. Отмена крепостного права в России, стр. 87.

При этом, назначая тех или иных исполнителей своей воли, Александр II бдительно следил за тем, чтобы не перетягивало слишком сильно вниз ни одно из плеч этого своеобразного коромысла. Отсюда — включение в состав комиссий «ярых» либералов типа Милютина, отсюда же — сохранение в комиссиях таких людей, как Шувалов, Паскевич. Отсюда — такие своеобразные шахматные ходы, как назначение реакционера Панина председателем «либеральных» комиссий и назначение «либерала» великого князя Константина Николаевича председателем явно крепостнического Главного комитета. Но и в этой традиционной игре назначение Панина было ходом исключительным.

Граф Панин был убежденным николаевцем. Если сделать (по мемуарам современников) небольшую сводку тех качеств, которыми природа, а еще более сановно-бюрократическая среда в изобилии наградили этого человека, то получилась бы образцовая анкета административного лица эпохи Николая. Вот главные из них: рабское пресмыкательство, полное самоуничтожение перед «вышестоящими» и необузданный деспотизм по отношению ко всем «нижестоящим»; невероятное пристрастие к канцелярщине, бумажной волоките и смертельная боязнь общения с живыми людьми; мнительность, болезненная подозрительность к любому признаку инакомыслия, неизлечимый формализм в решении любых дел, доходящий до полнейшего отсутствия здравого смысла. Крепостник среди крепостников — членов Редакционных комиссий и Главного комитета, Панин выделялся еще и абсолютным раболепием перед волей царя. И если «либерал» Ростовцев, недаром сидевший в том же кресле председателя комиссий, выразил свои верноподданнические чувства в известном афоризме «совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство»⁴², то верноподданничество крепостника Панина запечатлели следующие известные слова: «Если я каким-либо путем, прямо или косвенно удостоверюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я, я долгом считаю тотчас отступить от своих убеждений и действовать даже совер-

⁴² Цит. по: «Колокол», л. 20, 1 августа 1858 г., стр. 161.

шенно наперекор им, с тою и даже большею энергиею, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями»⁴³.

Именно «счастливое» сочетание в Панине убежденной дворянской реакционности с безусловным раболепием царедворца объясняет нам появление мрачной фигуры николаевских времен во главе освободительного дела как раз именно в тот момент, когда появилась заметная трещина в отношениях правительства и губернского дворянства (мы имеем в виду конфликт депутатов губернских комитетов первого и второго приглашения, созванных в Петербург, с комиссиями, а также осуждение действий «петербургской бюрократии» в ряде губернских дворянских сословных выборных собраний в конце 1859 — начале 1860 г.).

Назначение Панина ввергло «либеральное общество» в своеобразный шок; в марте 1860 г. столица полна была слухов «о закрытии Редакционной комиссии и о перемене будто бы взгляда государя на крестьянское дело»⁴⁴.

События второй половины 1859 — начала 1860 г. позволили Чернышевскому окончательно определить поведение правящего класса в деле реформирования России. Дворянство не желало поступаться своими сословными интересами, его требованиям все больше поддавалось правительство; крепостнический характер предстоявшей реформы стал после назначения Панина самоочевидной вещью. Выявилась окончательно «не колоссальная, а ничтожная», по выражению Чернышевского, разница планов либералов-прогрессистов и помещичьей партии — «с землей или без земли освободить крестьян». В «Прологе», который мы цитируем, Волгин следующим образом разъяснит суть дела: «Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь, или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому, он даже лучше. Меньше проволок, — вероятно, меньше и обременения для крестьян.

⁴³ «Дневник графа Петра Александровича Валуева». — «Русская старина», 1891, октябрь, стр. 149—150.

⁴⁴ «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II», т. II. Берлин, 1860, стр. 428.

У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее: это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше, пусть будут освобождены без земли» (Ч., XIII, 187—188).

В конце 1859 — начале 1860 г. «Современник» полностью оставляет тактику прощупывания и подталкивания «верхов», отстраняется от всякого участия в обсуждении крестьянского вопроса. «Колокол» после получения вестей о назначении Панина также прощается с надеждами на Александра II. «Нас упрекнуть нельзя, — писал Герцен в «Письмах из России». — Мы держались до последней крайности, до открытой измены, до преступного назначения Панина, до самоуправства в деле Унковского и Европеуса, до полицейского заговора, вследствие которого нахватали студентов, профессора Каченовского и мы не знаем кого еще. Мы могли поддаваться и уступать, когда главный поток шел своим руслом, теперь другое дело!

Прощайте, Александр Николаевич, счастливого пути! Bon voyage! — Нам сюда» (Г., XIV, 256—257).

Пройдет немногим более года, и после некоторых колебаний (связанных с изданием Манифеста 19 февраля 1861 г.) «Колокол» перейдет на революционные позиции, выдвинет знаменитый лозунг «Земля и воля», вокруг которого сплотятся противостоящие самодержавию силы. Гораздо раньше приступила к пропаганде идей революции «партия» «Современника». Причем пропаганда этих идей велась не только на страницах журнала...

«Современник» открывает «Историческую библиотеку»

На русском языке до сих пор не было *ни одной* книги, в которой бы хотя с некоторою подробностью рассказаны были события последних годов французской истории до Наполеона. Между тем этот период, самый интересный во всей европейской истории прошлого столетия, давно уже привлекал к себе внимание и русских читателей. Теперь их желания могут быть удовлетворены наилучшим образом: им представляется рассказ Шлоссера, столько основательный, полный и беспристрастный, как только можно этого желать. . .

Н. А. Добролюбов

«Тацит XIX столетия»

В 1858 г. при «Современнике» по инициативе Чернышевского было начато издание «Исторической библиотеки», призванной познакомить русского читателя с наиболее значительными сочинениями по всеобщей, и особенно новой, истории. Общественная потребность в таком ознакомлении была огромна. «История, которой нас учили, — свидетельствует о той поре Н. В. Шелгунов, — была историей благополучия и прославления русской мудрости, величия, мужества и доблестей. Оканчивалась она царствованием Екатерины II, и все последующее время представлялось нам в виде туманного пятна с большим вопросительным знаком». Что же касается «политических и исторических отношений Европы», то они были закрыты «завесой»¹.

«Историческая библиотека» открывалась переводом 8-томного труда Ф. К. Шлоссера «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской

¹ «Чернышевский в воспоминаниях современников», т. I. Саратов, 1958, стр. 207—208.

империи». Переводчиками сочинения были сам Н. Г. Чернышевский и некоторые из близких ему людей². В центре «Истории восемнадцатого столетия...» (пятый ее том) стояли события Великой французской революции 1789—1794 гг.

Почему именно труд Шлоссера предложил Чернышевский русскому читателю? Ведь можно было попытаться начать «Историческую библиотеку», скажем, с «Истории Французской революции» Ф. Минье — стройного по мысли, блестящего по стилю сочинения; с ним не шло ни в какое сравнение довольно хаотичное по содержанию, корявое по стилю сочинение Шлоссера³.

Н. Г. Чернышевский знал о недостатках работ Шлоссера, он предупреждал о трудности его чтения в «Предисловии» к русскому переводу «Истории восемнадцатого столетия...»: «изложение у него не обработано», «язык его неправилен», «читая его, вы читаете будто бы не книгу, изданную для публики, а черновые тетради, не просмотренные автором». «И, однако же, — отмечал Чернышевский, — этот человек, говорящий таким небрежным языком, бессвязно, иногда вяло, этот человек занимает первое место между всеми современными нам историками... Тацит как рассказчик гораздо выше Шлоссера; но в том, что составляет главнейшее достоинство Тацита, в строгом и совершенно здравом понимании людей и жизни, из новых историков ближе всех подходит к Тациту Шлоссер» (*Ч., V, 175, 177*).

Мы еще вернемся к этому отзыву Чернышевского, а пока попробуем определить, с каких же партийных позиций «Тацит XIX столетия» описывал события великой эпохи Французской революции 1789—1794 гг.

Обычно, полистав любую «Историю Французской революции», можно довольно быстро установить (по оценкам ключевых событий и фигур революции), какому на-

² А. Н. Пыпин, Е. А. Белов и др. Автограф подтверждает «доминирующую роль Чернышевского в издании» (*Ч., XVI, 789*).

³ Кстати сказать, работа Минье была пропущена в печать в 60-е годы XIX в., в период жестоких гонений на литературу, его «История Французской революции» выдержала в дореволюционной России немало изданий и даже была «допущена в библиотеки средне-учебных заведений».

правлению сочувствует исследователь. Со Шлоссером дело обстоит не так просто⁴.

Шлоссер, глава так называемой Гейдельбергской исторической школы (здесь не должно оставаться и тени неясности), отнюдь не был восторженным почитателем революционного способа действий. В его изображении Французская революция, с ее «путаницей в государстве, мятежным характером в образе действий, тягостью переходного состояния между уничтожением и восстановлением порядка, криком и сарказмами друзей старины, раздорами между друзьями нововведений», представляла процессом мучительным, болезненным, эпохой «страшной борьбы»⁵.

Скажем больше, Шлоссер питал чувство отвращения к насильственным действиям, и там, где это чувство проявлялось особенно резко, русский издатель Шлоссера позволял себе несколько смягчать его негодующие оценки. Так, описывая события 12—17 июля 1789 г., Шлоссер говорил о «всяческих бесчинствах» толпы (место, опущенное Чернышевским); он рассказывал, что в эти дни

⁴ Об этом свидетельствуют и противоречивые оценки Шлоссера в советской историографии. В первом издании БСЭ историк причислен «к умеренно-либеральным кругам немецкого бюргерства», во втором издании он же значится «историком буржуазно-демократического направления»; в первом выделена его односторонность: «он, совершенно не интересуясь проблемами социально-экономической истории, занимается преимущественно вопросами внешней политики»; во втором отмечены достоинства его трудов: «В них широко и весьма сочувственно освещались судьбы народных масс и народные движения, они были чужды узкого национализма немецкой историографии того времени» (БСЭ, т. 62. М., 1933, стр. 537; т. 48. М., 1957, стр. 112). Если авторы БСЭ разных лет переоценивали Шлоссера, двигаясь «справа налево», то комментаторы произведений К. Маркса (а он в свое время тщательно штудировал труды Шлоссера) шли в обратном направлении. В. Адоратский писал в 30-е годы о Шлоссере как об одном «из лучших представителей исторической науки» XIX в., выразителе «демократических воззрений лучшей поры в истории буржуазного развития» (см. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. V, стр. V, VI). Комментаторы последнего собрания Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса куда более сдержанны в своих оценках: «Шлоссер... — немецкий буржуазный историк, либерал...» (см. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 30, стр. 700).

⁵ *Ф. К. Шлоссер*. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи с особенно подробным изложением хода литературы, т. 5. СПб., 1859, стр. 75, 362, 390 и др. Далее ссылки в тексте. Имена собственные даются в современном написании.

Парижу угрожало «грабительством и убийством разнужданное отродье» (zügellose Gesindel — «буйные толпы», по смягченному переводу Чернышевского); о публицистах, сознательно разжигавших ярость «черни», он отзывался следующим образом: «У Камилла (Демулена. — Авт.) была такая же каннибальская натура, как и у Марата» («Камилл имел свирепость Марата», по смягченному переводу Чернышевского, и т. д. и т. п.) (Ш., V, 44, 46, 47, 48, 69 и др.)⁶.

И однако же, Шлоссер умел — редкое качество среди буржуазных историков революции — становиться выше своих антипатий в оценке объективных результатов тех или иных политических действий, какими бы средствами ни достигался этот результат, какого бы рода возмущающими его душу эксцессами он ни сопровождался, а мы напомним, коль скоро речь зашла об этой стороне дела, слова Маркса: «*Весь французский терроризм был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством*»⁷.

В самих по себе «плебейских способах» расправы с «врагами буржуазии» было мало привлекательного. Отталкивающие кровавые сцены и рисует Шлоссер. Но, скажем, в штурме Бастилии он видит не только «ужасное умерщвление» ее защитников во главе с губернатором маркизом де Лонэ, но и грандиозное для судеб нации событие: «...разрушение Бастилии должно было служить самым приличным сигналом, чтобы призвать всю Францию к уничтожению средневековых учреждений, и развалины страшной государственной тюрьмы казались славным памятником мужественно завоеванного парижскими гражданами освобождения от всякого произвола» (Ш., V, 49, 50).

Шлоссеру антипатичны «отчаянные люди», сыгравшие далеко не последнюю роль в переломных событиях 10 августа 1792 г. и присланные, как он сообщает, «друзьями депутата Барбару из южных провинций Франции; этих людей называли марсельцами... Как сильно хлопотал Барбару о присылке в Париж этих марсельцев, он сам

⁶ Ср. F. Ch. Schlosser. Die Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. . . Bd. 5. Berlin, 1879, S. 56, 58, 59.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 6, стр. 114.

рассказывает нам в своих записках; но он не говорит, что они состояли из бандитов, бродяг, освобожденных преступников и черни портовых городов». Никакого восторга не вызывает у Шлоссера и соединившаяся с марсельцами «чернь» Сент-Антуанского или Сен-Марсельского предместий. Описывая сам штурм дворца Тюильри, Шлоссер добавляет: «Тогда по всему городу начались грабежи, убийства и смятения». Но вот принадлежащая тому же Шлоссеру общая оценка результатов революционного переворота, начавшегося в «тяжелые дни» августа: «Когда рушилось здание старинного французского государства и с 10 августа начало хоронить под своими развалинами все потомство испорченных поколений XVII и XVIII столетий, начало хоронить и виновных и невинных, союзники не предчувствовали, что под развалинами и из развалин вырастает новое поколение, исполненное гигантской силы и гигантской дерзости, которому не по плечу их средневековые рыцарские роды, обедневшие духом, ослабевшие телом. Союзники видели во Франции только кровь и разрушение... Сначала повсюду были беспорядок, хаос, убийства и грабежи. Но скоро цивилизация вступила в свои права; по своему обыкновению она отвергла все грубое, совершенно непригодное, совершенно неспособное к новой жизни; кто был делен и образован, скоро нашел себе место в новом порядке вещей. Новые администраторы и военные начальники, обязанные своими местами только своим способностям и энергии, делали чудеса, потому что приходились по новому порядку вещей, как он приходился по ним» (Ш., V, 286, 287, 291, 301).

Постоянно именуя Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона «демократическими деспотами», называя якобинскую диктатуру «террористической олигархией», «правительственной инквизицией» и т. п., с возмущением описывая, как члены «террористического триумvirата» обвинили в «составлении» несуществующего заговора «так называемых злоумышленников», таких, как Дантон, Эбер и т. д., Шлоссер видит и вынужденность действий вождей якобинцев на определенных этапах борьбы. От апреля до конца мая 1793 г., пишет он, «якобинцы боролись с жирондистами, будучи в необходимости казнить или быть казненными». Именуя «страшной» ту борьбу, которая разгорелась в Конвенте и во всей Франции, он до-

бавляет: «...и как ни печально сказать, но она доказала, что только уничтожением некоторой части депутатов можно сохранить единство правления, победить роялистов в Вандее и союзников на северной и восточной границе». Более того, Шлоссер поднимается по существу и до понимания исторической прогрессивности того террористического режима, формы которого возмущали его до глубины души, поднимается до понимания истины, которая запечатлена в известном высказывании Маркса: «Господство террора во Франции могло поэтому послужить лишь к тому, чтобы ударами своего страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции»⁸. «Система, господствовавшая во Франции со 2 июня (1793), — пишет Шлоссер, — совершенно соответствовала тем результатам, для произведения которых предназначалась: она непоколебимо упрочила владычество нового поколения, новых нравов, учреждений и законов во Франции и доставила новой Франции владычество над остальной обветшавшею Европою. Но средства для достижения этих результатов были употребляемы беспощадные» (*Ш.*, V, 362, 385 и др.).

Способность Шлоссера рассказывать, как он сам обещал в предисловии к пятому тому, только «факт за фактом», «рассказывать события со своей точки зрения, без всяких политических, дипломатических, церковных и личных лицепрятий» (*Ш.*, V, с. IX, X) Н. Г. Чернышевский характеризовал следующим образом: «Многие хвалятся тем, что не принадлежат ни к какой партии; почти всегда это бывает самообольщением... О Шлоссере этого нельзя сказать. Он не хвалится беспристрастием, но действительно беспристрастен, насколько то возможно человеку; он не принадлежит ни к какой партии — не потому, чтобы у него не было своего образа мыслей, очень точного и непреклонного, но потому, что его понятия о людях и событиях основаны не на личных желаниях и привязанностях, а на опыте долгой жизни, честно проведенной в искании добра и правды. Чтобы разделять этот взгляд, надобно отказаться от всех обольщений внешности, от всех прикрас идеализма, но сохранить молодое стремление ко всему истинно благотворному для людей, нужно холодную разборчивость старика соединять с бла-

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 299.

городством юноши» (Ч., V, 176). Напомнив, что Чернышевский был мыслителем сугубо партийным, прекрасно понимавшим, что такое «партийность» (недаром он в те же годы критиковал писателей, объявивших «чуждость текущей политике» чуть ли не идеалом политической теории XIX в.) (Ч., VII, 222—223), мы выскажем соображение о том, что предельно выраженный объективизм Шлоссера и привел Чернышевского к выводу о его «надпартийности», позволил Чернышевскому сравнить его в смысле точности и верности описания событий с Тацитом⁹. Но одновременно уточним и дополним вывод Чернышевского. Как «многосторонность» Тацита не мешала ему защищать вполне определенный политический идеал — времена «просвещенных» императоров¹⁰, точно так же и «надпартийность» Шлоссера не исключала явного проявления его симпатий к «умеренному» буржуазно-либеральному этапу Французской революции в противоположность к этапу «крайнему», якобинскому. А что касается главных его трудов в целом, то нам хотелось бы согласиться с той их оценкой, которая высказана не так давно в нашей специальной литературе.

«Главные произведения Шлоссера — «История XVIII и XIX вв. до падения Французской империи» и «Всемирная история для немецкого народа», — сообщает авторитетное учебное пособие, — отличаются широтой исторического кругозора, глубоким сочувствием к угнетенным, непримиримым отношением к любым формам насилия, к тирании, к преступлениям правителей, какими бы «государственными соображениями» они ни были вызваны. К государю, как и к простому гражданину, Шлоссер предлагает одинаковую моральную мерку, предъявляет одинаковое требование — быть «честным и порядочным человеком». Конечно, с такой ригористической позиции далеко не всегда можно было правильно оценить политическое действие. Но эта позиция по крайней мере га-

⁹ Описывая эпоху гражданских междоусобиц в Риме, Тацит показывал бесчеловечность взаимного истребления римских граждан; видя в императорстве средство прекращения этих междоусобиц, он показывал его перерождение в «деспотизм» и «тиранию»; оправдывая необходимость римской экспансии, он, с другой стороны, сочувствовал и борьбе «варваров» за «свободу» и т. д.

¹⁰ Корнелий Тацит. Соч. в 2-х томах, т. II. Л., 1969, стр. 5.

рантирует читателю доброкачественный материал, не искаженный стремлением угодить власти имущим, скрыть или замаскировать неприятный факт в чьих-либо интересах...

Характером творчества Шлоссера объясняется тот факт, что Маркс положил в основу своего конспекта по всемирной истории именно его труд, а не произведение какого-либо другого автора»¹¹. Это совпадение круга интересов Маркса и Чернышевского, обращение того и другого к Шлоссеру немаловажно выявить и подчеркнуть, разбирая нашу тему.

В конце своей жизни Маркс действительно проделал титаническую работу по конспектированию ряда исторических пособий (объем конспекта примерно 75 печатных листов), причем самым тщательным и обширным был конспект 18-томной «Всемирной истории» Шлоссера¹². Советскими учеными было предпринято тщательное сопоставление текста Шлоссера с текстом Марксова конспекта, выдвинут ряд гипотез о побудительных мотивах, творческом замысле этого незавершенного труда. Но коль скоро советскими учеными, как справедливо подчеркивал Б. Ф. Поршнев, были проделаны «тщательные сопоставления текста Шлоссера, Сьюэлла, Ботта, Грина, в особенности Шлоссера, с текстом Марксова конспекта»¹³, то, как нам кажется, важным дополнением к этому будет и более или менее подробное сопоставление особо важных текстов Шлоссера с некоторыми особо важными текстами Чернышевского. Речь идет, разумеется, прежде всего о трактовках эпох революций нового времени, прежде всего Французской 1789—1794 гг.

«Так называемый самодержавный народ»

Одна лишь доброкачественность материала не была единственным достоинством трудов Шлоссера. Шлоссер,

¹¹ «Исторнография нового времени стран Европы и Америки». М., 1967, стр. 155. Касаясь методологии трудов Шлоссера, то же пособие уточняет (стр. 154): «В области философии он являлся учеником Канта, систему которого Маркс назвал *«немецкой теорией французской революции...»* (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 88)».

¹² Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. V—VIII.

¹³ Б. Ф. Поршнев. Исторические интересы Маркса в последние годы жизни и работа над «Хронологическими выписками». — «Маркс — историк». М., 1968, стр. 406.

что еще более важно, умел представлять — это снова свидетельство Чернышевского — «посредством краткого указания двумя-тремя словами связь и зависимость событий в своем, по-видимому, бессвязном рассказе» (Ч., V, 177). Подтвердим это свидетельство материалами пятого тома.

Первое, что подчеркивает Шлоссер, говоря о Франции конца XVIII в., — это неотвратимость изменения отживших отношений «феодализма и иерархии». Второе, на что с такой же настойчивостью указывает историк, — это абсолютное нежелание господствующего класса идти на какие-либо нововведения, перемены.

Корыстное и тупое сопротивление «упорной части дворянства» любым реформам заставило в свою очередь сделаться революционерами довольно-таки умеренных либеральных политиков третьего сословия в Национальном собрании; чтобы сломить сопротивление короля и феодалов, они были вынуждены апеллировать к вооруженным массам, а широчайшие народные массы, как показывает Шлоссер, и в 1788, и в 1789 г., и в Париже, и в провинции находились в состоянии хронического, непрестанного волнения.

В признании диктатуры «простолюдинов», затем диктатуры якобинских комитетов рычагом ниспровержения старого порядка вещей — основная заслуга Шлоссера, пункт расхождений, скажем, концепций Минье и Шлоссера и одновременно пункт соприкосновения концепций Шлоссера и Чернышевского. Шлоссер предельно ясно показывает, что без взятия Бастилии, без «жакерии» лета 1789 г. не было бы ни отмены феодальных привилегий (ночь 4 августа), ни нового судопроизводства, ни самой конституции 1791 г.; точно так же, как без революции 10 августа 1792 г., без вторжения народных масс на политическую арену в мае — июне 1793 г., без последовавшего за тем якобинского «терроризма», не было бы и того громадного толчка, который определит развитие Франции (и не одной только Франции) на протяжении всей первой половины XIX столетия.

Вот несколько зарисовок, сделанных Шлоссером в пятом томе; они хорошо показывают народ, диктующий свою волю в нереломные моменты революции.

Париж летом 1789 г. «В Париже было еще больше хаоса, нежели в Версале, и каждый класс, каждое сословие граждан присваивали себе частицу народного само-

державия. Солдаты французской гвардии образовали совещательное собрание в оратории, портные подмастерья — в колоннаде, парикмахеры — на Елисейских полях, четыре тысячи слуг — в Лувре, три тысячи сапожных подмастерьев — на площади Людовика XV. Страшнее всего были собрания секций¹⁴, в которых владычествовали простолюдины благодаря своей многочисленности... Секции часто вели жаркие споры между собою и с муниципальным советом, членов которого они считали своими слугами. Главными людьми в комитетах были адвокаты без практики; бывшие секретари судилищ и юристы произносили приговоры, подвергали граждан аресту и заключению в тюрьму» (Ш., V, 60).

Провинция летом 1789 г. «В провинциях, особенно в тех, над которыми феодализм наиболее тяготел, например в Провансе, Франш-Конте, Эльзасе, Лотарингии, почти не было и надобности в средствах, употребленных для возбуждения крестьянской войны и сцен, подобных тем, которые в шестнадцатом столетии происходили в Германии на реках Рейне, Неккаре, Майне, Заале и в Вестфалии. Замки аристократов были превращены в пепел, сами они были преследуемы огнем и мечом, и название аристократа сделалось смертным приговором. Вскоре повсюду была учреждена муниципальная полиция, путешественники были задерживаемы в самых незначительных местечках, и их паспорта были рассматриваемы крестьянами и горожанами» (Ш., V, 55).

Франция середины 1792 г. «Во Франции вооружался тогда весь народ. Принятие в Национальную гвардию граждан, вооруженных одними пиками, т. е. беднейших людей, обратило Национальную гвардию в войско пролетариев. Якобинцы систематически основывали во всех городах, местечках и деревнях клубы, становившиеся органами парижского Якобинского клуба, который таким образом сделался грозным центром владычества простолюдинов над Францией, и была повсюду учреждена полицейская и судебная расправа, производившаяся

¹⁴ Шлоссер не точен с формальной стороны дела — речь идет не о «секциях» (они были созданы по новому муниципальному закону в июне 1790 г.), а об их предшественниках — дистриктах, организованных для выборов в Генеральные штаты, а затем превратившихся в самостоятельную муниципальную организацию.

людьми, получившими доверие клубов, секций и общин» (Ш., V, 248—249).

Процесс короля. «С сентября месяца (речь идет о так называемых «сентябрьских убийствах» 1792 г. — Авт.) все мирные граждане были так напуганы, что едва осмеливались показываться на улицах; простолюдины были раздражены журналистами и клубами против всего старого; судьи выбирались народом; народ присвоил себе право казнить своих врагов без суда; открытое противоречие требованию народа относительно судьбы короля было бы смертным приговором для того, кто отважился бы противоречить» (Ш., V, 341).

Но важное обстоятельство! Подчеркивая значение «постоянно возраставшего и отчасти искусственного волнения низших классов и черни», показывая, как «физическая сила» масс решала в моменты кризисов 1789, 1792 или 1793 г. будущее фракций, судьбу нации, участь короля, Шлоссер все время употребляет выражения: «люди, которые тогда назывались народом», «люди, называвшиеся тогда народом», «так называемый самодержавный народ», «так называемая верховная власть народа» (Ш., V, 273, 284, 285 и др.).

Но дело не только в несколько странных выражениях, в самом шлоссеровском рассказе о переломных событиях революции на первый взгляд концы не сходятся с концами. То он описывает «так называемый самодержавный народ», диктующий волю Национальному собранию, то оказывается, что этим «народом» и даже не столько «народом», сколько разного рода «чернью» дирижирует кучка решительных политиков того же Национального собрания. То мы читаем у Шлоссера, что Конвент или Якобинский клуб «безгранично зависели» от настроений парижских клубов, секций и Коммуны, то сама эта Коммуна или клубы были простым инструментом в руках какого-то «секретного» комитета Якобинского клуба или Горы в Конвенте, которая «хотела покорить себе Конвент при помощи Общинного Совета (Коммуны. — Авт.) и простолюдинов столицы» (Ш., V, 361).

Проще всего счесть все это той «нескладицей», о которой предупреждал Чернышевский. Но напомним: за внешней «нескладицей» переводчик Шлоссера учил искать глубокий смысл. Так и в данном случае. Шлоссер здесь подмечает важнейшую черту буржуазных револю-

ций, выявленную затем четко и ясно марксистской теорией, черту, отмеченную и Чернышевским. «Хотя во время террора, — обобщал опыт Французской революции Энгельс, — неимущие массы Парижа захватили на одно мгновение власть, но этим они доказали только всю невозможность господства этих масс при тогдашних отношениях»¹⁵. А Чернышевскому принадлежит следующее глубокое обобщение, касающееся роли народных масс в эпоху буржуазных революций: народ «в политическом отношении до сих пор служил только орудием для среднего и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного независимого положения в политической истории» (Ч., VII, 35).

В сущности на это же указывает и Шлоссер: хотя низшему сословию «на время обещали и, по-видимому, действительно передали верховную власть», время это оказывалось крайне непродолжительным, а власть снова быстро отбиралась теми фракциями, которые сокрушали своих противников в государственных органах, опираясь на «физическую силу» масс.

Плебейство было само по себе страшной разрушительной, но вместе с тем и слепой массой, которую требовалось в переломные моменты 1789—1793 гг. сплотить воедино, направить, организовать. В организации была заключена как тайна успехов «так называемого самодержавного народа», так и причина его поражений в буржуазной революции 1789—1794 гг.: предводители фракций, которые последовательно овладевали созданным в ходе борьбы аппаратом насилия, сначала приводили в движение плебейскую стихию (или пользовались ею), чтобы сокрушить своих врагов, а затем старались ту же стихию обуздать, ибо она начинала сразу же угрожать их собственному интересу. При этом взаимодействие полюсов: массы — буржуазные или мелкобуржуазные политики (конечно, у Шлоссера нет данной терминологии, но есть описание сути процесса) постоянно осложнялось соперничеством лиц и фракций в самих «механизмах для произведения восстаний».

¹⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 268—269.

Хотя Шлоссера, по его словам, мало занимали «подробности, речи, сцены в Собрании, деятельные интриги предводителей партий», одним словом, те или иные «театральные эффекты, которые каждый день бывали, тогда в Национальном собрании, в клубах, в секциях Парижского управления и в Пале-Рояле», тем не менее он подчеркивал, что сама борьба партий «имеет величайшую важность для французской истории и вообще для политики» (Ш., V, 278—279).

Эту борьбу радикальные буржуазные и мелкобуржуазные деятели объявляли (будь то искренне или лицемерно, отвлекаясь пока от субъективной подкладки мотивов их действий) борьбой за «общечеловеческие», «национальные», «народные» и тому подобные интересы: наиболее решительные из них отваживались употреблять ярость «черни», «простолюдинов» как свой главный аргумент. Политик, замечает Шлоссер, «необходимо должен был потерять всякое политическое значение, если не мог подкрепить своих слов вооруженною силою» (Ш., V, 277; см. также 348, 370).

Но как только та или иная радикальная фракция одерживала победу, сразу обнаруживалось, что главным реальным объектом ее интереса, устремлений был отнюдь не «общечеловеческий» или «общенародный» интерес. Реальное содержание — а не идеологическое облачение — действий той или иной фракции, бравшей власть в свои руки, Шлоссер и выявляет в первую очередь, отличаясь этим от историков типа Тьера, Мишле и даже Минье. Так, о конституционалистах, взявших власть на гребне народного возмущения 1789 г., он пишет: «Они вдруг сделали неожиданное открытие, что принадлежат не человечеству, а искусственному миру; иначе сказать, они трусили, когда увидели хаос, из которого должен был возникнуть новый мир. Эти свободолюбивые вельможи только теперь стали замечать то, о чем совершенно забывали среди восторженных заседаний 1789 и 1790 и в упоении фимиамом Неккерových салонов, — стали замечать, что эмигранты во всех отношениях стояли к ним бесконечно ближе, нежели целая нация. Это было замечено органами тогдашнего времени, и они стали проповедовать совершенное истребление прежнего знатного

поколения, говоря, что иначе не упрочатся права нового плебейского поколения» (Ш., V, 245).

В этих условиях недавно еще радикальная часть Национального собрания занялась прежде всего заботой о сохранении власти в своих руках: после событий 14 июля и 4 августа 1789 г. «Национальное собрание, — пишет Шлоссер, — хотело поскорее окончить составление конституции в основных ее чертах, чтобы новою организацией государства положить конец анархии». Шлоссер хорошо показывает обратную сторону усиленной конституционной деятельности: Национальное собрание, пишет он, «сумело сначала уклониться от неограниченного господства Парижских секций и муниципального совета и издало 21-го числа (октября 1789 г. — Авт.) так называемый «военный закон», по которому конституционному начальству давалось право с помощью зажиточных граждан отражать силу силою и положить предел охлократическим бесчинствам. Кроме того, назначено было судебное следствие против тайных виновников сцен 5-го и 6-го октября...» (Ш., V, 60, 69—70). Кстати говоря, закон этот сыграл немалую роль в сохранении «порядка» в 1790 г., но оказался бессильным в условиях углублявшегося кризиса в конце 1791—1792 гг. Важно и другое — помимо охранительных действий конституционалистов Шлоссер фиксирует и такой объективный результат их деятельности, как определенные «реальные выгоды», которые приобрела нация во время их господства, «выгоды», которые, как показывает его сочинение, были не столько дарованной «сверху» милостью, сколько вырванной у «верхов» уступкой. Впрочем, им устанавливается и другое не менее существенное обстоятельство: в конечном счете все эти вырванные борьбой масс «решения приносили выгоду вовсе не тем людям, которые имели бы право на облегчение своей судьбы» (Ш., V, 58, 59, 69, 72—74, 299 и др.).

Главными из «выгод», обретенных французской нацией на этапе 1789—1791 гг. (мы их называем «буржуазные социально-экономические и политические преобразования»), Шлоссер считает следующие: отмену привилегий «феодального дворянства»; ограничение прерогатив королевской власти; конфискацию «поземельных владений духовенства» («эта мера подобно позднейшей конфискации поместий больших землевладельцев и продаже

этих земель раздробленными участками доставила тысячам людей, бывших прежде работниками и арендаторами, поземельную собственность»); введение нового судопроизводства, «судов присяжных». «В числе главных выгод, доставленных нации тогдашними реформами, мы полагаем решенную в январе 1790 г. отмену старого разделения государства и введение нового наименования его частей; прежняя разрозненность провинций была предана этим забвению, и все различные части соединились в одно национальное целое» (Ш., V, 72—74).

Еще одно весьма важное обстоятельство. Шлоссер отмечает далее, что эпоха Реставрации и Второй империи перечеркнула многие из завоеваний революции, прежде всего в области государственно-правовой: «Из 2500 законов, изданных Конституционным собранием, до нашего времени сохранилось едва 25». До каких границ зашло в той или иной сфере общественной жизни это регрессивное движение, Шлоссер не уточняет, но он подчеркивает, что восстанавливались только «пустые формы старины», сущность нового порядка (мы именуем его: «буржуазный») была уже незыблемой (Ш., V, 96, 388—389).

Аналогичное отношение соперничающих фракций к плебейским массам Шлоссер фиксирует, переходя к деятельности жирондистов, ставших у власти в эпоху кризиса 1792 г. Жиронда снова занимается разработкой конституции, теперь уже республиканской, по мнению Шлоссера, чисто умозрительной: это была попытка «возвести новое здание из совершенно разнородных остатков, когда еще не были готовы новые материалы». С другой стороны, в период начавшихся распрей с Горю Жиронда, обладавшая большинством в Конвенте, предпринимала отчаянные усилия обуздать все «возрастающую анархию», самодеятельность парижских неимущих масс, на которую опиралась малочисленная в Конвенте, но энергично действовавшая вне его стен Гора. Так, «большинство Конвента 26 числа (февраля 1793 г. — Авт.) приняло декрет о предании суду Марата, как виновника беспрестанных смут; но никто не мог и думать о том, чтобы привести в исполнение этот декрет»; и впоследствии жирондисты также всеми силами стремились применять репрессии к вожакам народа.

Жиронда погибла потому, что не отважилась идти на

крайние меры, уступить требованиям народных масс, поврвала союз с радикальной частью Конвента — «разрушителями, которыми руководили Дантон и Марат», стала склоняться к так и не состоявшемуся компромиссу с роялистами («Бриссо, Гюаде, Верньо вступили в переписку с королем, их письма были потом найдены при разграблении Тюильри и обращены к их гибели») (Ш., V, 283) и, сохраняя большинство в Конвенте, потеряла главное — поддержку плебейских масс за его стенами. Роковую роль для Жиронды в развернувшейся смертельной борьбе ее с Горой сыграла и попытка жирондистов, потерявших опору в Париже, обратиться за помощью к тем департаментам, от которых они получили поддержку еще в период борьбы с конституционалистами. Тем самым, пишет Шлоссер, «Жиронда дала якобинцам желанный предлог обвинять ее в федерализме и в ослаблении национального могущества, оправдывая этим обвинением все жестокости» (Ш., V, 369).

Борьба Горы и Жиронды подтвердила ту же истину, что и борьба республиканцев с конституционалистами, а еще раньше — конституционалистов с роялистами; в борьбе побеждали те фракции, которые не боялись опереться на народные массы, чтобы их силой вырвать у противника кормило государственной власти. Якобинцы действовали во Французской революции энергичнее всех других фракций и пошли в своих принятых под напором масс декретах и мерах дальше других. «Они хотели, — пишет Шлоссер, — разорвать все общественные связи старого времени, уничтожить всех не разделявших господствующего энтузиазма к новому; передать богатства и важные места в обществе какими бы то ни было средствами друзьям нового порядка вещей и возвратиться к законности только тогда, когда преобразование старого порядка будет закончено. Для достижения этой цели надобно было обогатить бедняков, и особенно тех энергических простолюдинов, которые поддерживали власть государства в то время, когда войска республики сражались с внешними врагами. Этого формально и смело требовали во всех публичных собраниях ораторы Горы, и особенно Робеспьер; это ежедневно провозглашалось в памфлетах Камилла Демулена, в газетах Фрерона, Марата и других... Против этих энергических принципов, против беспощадных людей, силою проводивших эти

принципы при помощи раздраженной массы, конечно, не могли устоять красноречивые люди, блиставшие некогда вместе с Лафайетом, Ларошфуко и другими в салонах госпожи Сталь, а теперь бывшие предводителями Жиронды». Победа осталась за «последовательными людьми практической жизни, думавшими об одном только разрушении» (*Ш.*, V, 348, 370). Но после победы Горы обнаружилось и утопизм ее программных лозунгов, и ее неспособность платить по выданным векселям.

Правда, якобинская диктатура, пришедшая к власти в результате смертельной схватки с Жирондой в середине 1793 г., решила — и это отмечено Шлоссером — ряд конкретных, реальных задач революции, таких, как организация обороны страны от внешнего нашествия и внутренних роялистских мятежей, централизация для этой цели всех сил и средств. Она доломала остатки феодальных порядков, и Шлоссер отдает должное той решительности, беспощадности и энергии, с помощью которой эти задачи осуществлялись в эпоху «терроризма»: «Истребление старого было действительно совершено этим путем; но когда фанатизм прошел, Франция не знала, что ей делать». Иными словами, неспособность бесстрашной, беспощадной, не стесняющейся в выборе средств якобинской власти совершить прочную созидательную работу не вызывает у Шлоссера сомнений. «Демократические деспоты, — пишет он чуть дальше, — действовали по старинному правилу всех правительств, в которых исключительно господствуют юристы и министры, — по тому правилу, что одними приказами можно создавать религию, нравы и общественное мнение и изменять народные обычаи. Поэтому 29 сентября 1793 был возобновлен декрет 4 мая, неисполнимость которого давно обнаружилась, и снова была назначена такса на все предметы первой необходимости» (*Ш.*, V, 391, 392).

Шлоссер не был прав в отношении происхождения «максимума», эта мера была отнюдь не «выдумкой» юристов якобинского правительства, она была навязана правительству Робеспьера необходимостью пойти навстречу требованиям голодающих плебейских масс, логикой борьбы с парижскими «бешеными»: удовлетворив их требования, укрепившись у власти, якобинцы получили впоследствии возможность расправиться с их вожаками (эту сторону дела обстоятельно осветит в историографии

Французской буржуазной революции уже в XX в. Матьез)¹⁶. Но Шлоссер, безусловно, прав в отношении неисполнимости как «максимума», так и многих других якобинских декретов. Так, считая равно «сумасбродной» и идею «всеобщей республики» и «всеобщего атеизма» Клоотса, и его «разные фарсы», которые разыгрывались в церквях, Шлоссер, с другой стороны, высмеивает и робеспьеровскую идею создания «новой республиканской религии», и торжество 8 июня 1794 г., «названное праздником Верховного Существа; Робеспьер должен был явиться на нем чем-то вроде первосвященника. Его друг, живописец Давид, изобрел для этого праздника театральные декорации и театральную церемонию, которая очень характеристично представляла победу адвокатской мудрости Робеспьера над титанической гордостью его врагов. Давид поставил картонные статуи атеизма, эгоизма и раздора; они были зажжены; из их праха явилась статуя мудрости, правда, не в блестящем виде, потому что дым закоптил ее» (*Ш.*, V, 405—406).

Сочинение Шлоссера (здесь мы должны сделать «скидку» и на общий уровень историографии XIX в., и на ограниченность его методологии) не дает достаточно четкого и полного представления о причинах гибели якобинской диктатуры. У Шлоссера нет вывода о невыполнимости якобинской программы всеобщего «равенства» на почве крепнущих буржуазных отношений (хотя есть, скажем, мысль о неисполнимости того же «максимума»); Шлоссер не показывает в деталях ни противоречивости экономической политики робеспьеристов, ни процесса систематического сужения различных форм «народоправства», которые в историографии XX в. опишет Матьез и Собуль¹⁷. Мы находим в пятом томе Шлоссера лишь беглые упоминания о «деспотической олигархии» якобинцев, о том, что «во время этих страшных волнений втихомолку росла грозная энергия бесстрашного и беспощадного революционного правительства» (*Ш.*, V, 361). Явно не смог понять и раскрыть Шлоссер и классовые причины расхождения робеспьеристов с дантонистами и эберистами,

¹⁶ А. Матьез. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора. М.—Л., 1928.

¹⁷ А. Матьез. Указ. соч.; А. Собуль. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.

все дело сведено к одним лишь личным распрям, причем историк не всегда отделяет «умеренных» от «ультрареволюционеров», считая, к примеру, Эбера «верным приверженцем» Дантона (*Ш.*, V, 398). У Шлоссера нет и представления о классовой, мелкобуржуазной ограниченности якобинского «терроризма», которое мы находим в трудах основоположников марксизма.

Напомним в этой связи, что Маркс, Энгельс, Ленин неоднократно подчеркивали прогрессивность якобинского террора как самого быстрого и действенного способа разделаться с остатками феодализма во Франции и с его защитниками. Но классики марксизма постоянно подчеркивали также и неспособность мелкобуржуазных революционеров найти, поставить какие-то границы, рамки применению террористических мер, нелепость поисков теми же якобинцами корней пауперизма, дороговизны в *«контрреволюционном, подозрительном образе мыслей собственников»*, бессмысленность попыток якобинцев — этих «самых ярых и самых искренних революционеров» — «казнями отдельных, немногих «избранных» и громами декламации» «победить спекулянта», обуздать мелкобуржуазную стихию¹⁸. Энгельс четко определил и ту грань, когда якобинский террор из меры, оправданной военной обстановкой, стал средством сведения счетов вступивших между собой в конфликт вождей мелкобуржуазных фракций: Коммуны «с ее крайним направлением», фракций Дантона и Робеспьера; «в этом конфликте трех направлений победил Робеспьер, но с тех пор террор сделался для него средством самосохранения и тем самым стал абсурдом...»¹⁹. Есть у Энгельса и классовое объяснение крайностей якобинского террора, всех его «бесполезных жестокостей» как в большой степени дела рук «перепуганных, выставлявших себя патриотами буржуа», «мелких мещан, напускавших в штаны от страха», и «шайки прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре»²⁰.

Но хотя у Шлоссера, повторяем, отсутствует и всесторонность анализа якобинского «терроризма» и осо-

¹⁸ См., например, *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 1, стр. 439; *В. И. Ленин. Полн. собр. соч.*, т. 36, стр. 297; т. 43, стр. 208

¹⁹ *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 37, стр. 127.

²⁰ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.*, т. 33, стр. 45.

бенно понимание его классовой природы, некоторые из существенных моментов, определивших гибель правительства Робеспьера, историк выявляет все же достаточно четко.

Первый момент — это употребление системы якобинского террора против вождей тех самых революционных плебейских сил, которые подняли якобинцев к власти, но которых якобинцы, следуя примеру своих предшественников, сразу же после прихода к власти попытались подавить. «Надобно, впрочем, сказать, — пишет Шлоссер, — что этими казнями Робеспьер сам отнял у себя средство продолжить свое владычество, опиравшееся на физическую силу простолюдинов, которыми теперь некому было предводительствовать. Главная опора его власти была разрушена казнью Ронсена, за которую необходимо следовало распадение революционной армии санкюлотов» (*Ш.*, V, 400).

Второй момент — использование созданной эпохой гражданской войны обстановки террора «низменным», «безнравственным» элементом в самом республиканском стане с целью сокрушения стоящей у власти фракции Робеспьера — этого воплощения республиканской «добродетели» и «неподкупности».

Выходя на важнейшую для теории революции проблему: взаимодействие морали и политики в революционном процессе, Шлоссер постоянно фиксирует: моральный авторитет, его сила становились существенным фактором политической борьбы, средством влияния на массы как раз в те моменты, когда сами борющиеся фракции «откладывали в сторону» все соображения нравственности (*Ш.*, V, 26, 89, 246—247, 295 и др.). Особенно ясно значение этого фактора выявил взлет Робеспьера на заключительной фазе пока еще шедшей по «восходящей линии» революции 1789—1794 гг. «Впрочем, — пишет Шлоссер, — около того времени уже поднималось неудовольствие на Дюмурье и на всех подкупных и презренных людей, окружавших Дантона и герцога Орлеанского; с той поры неподкупный, скромный по образу жизни, чистый по своим правам Робеспьер стал получать в Якобинском клубе, в народе и в Конвенте больше значения, нежели сколько могли бы доставить ему одни его таланты» (*Ш.*, V, 326).

И однако же победа режима суровой республиканской

добродетели оказалась недогловечной: быстро обнаружилось существенное влияние на ход событий аморализма того слоя людей (мы их называем «буржуазные и мелкобуржуазные политиканы»), которых Шлоссер называл: «люди, хотевшие составить себе карьеру через революцию» (*Ш.*, V, 198). К слову, отметим, что деятельность этих карьеристов, политиков типа Талейрана, Фуше, Барраса, Тальена или такой крупнейшей исторической фигуры, как Бонапарт, начавшего свой путь к императорскому трону тоже с ярого радикализма, прекрасно показана в марксистской историографии Французской буржуазной революции, в таких работах, например, как Е. В. Тарле «Талейран», «Наполеон», А. З. Манфреда «Наполеон Бонапарт», А. Собоуля «Первая республика 1792/1804».

Оборотной стороной того единства действий, которое создавали революционная диктатура в Париже и провинции в 1789 или 1792 гг. или террор якобинских комитетов в стране в 1793—1794 гг., был страх. Страх подвергнуться преследованиям возбужденных масс сделал «радикальными» многих умереннейших членов Учредительного собрания в 1789 г. Тот же страх царил в стенах и достаточно умеренного Законодательного собрания в 1791—1792 гг. (как он царил впоследствии, в 1793—1794 гг., в стенах хотя и значительно более радикального, но все же в большинстве своем достаточно умеренного Конвента). «Энтузиазм к возрождению нации, — пишет Шлоссер, — или, вернее, страх подвергнуться обвинению в недостатке патриотизма, был так велик, что даже самые рассудительные люди находили нужным принимать тон самой горячей оппозиции» (*Ш.*, V, 197).

Но подобная обстановка не только создавала условия для железного единства нации, победы якобинской диктатуры на внешних и внутренних фронтах, она же готовила гибель этой диктатуры изнутри, подтачивала фундамент грандиозного политического здания якобинской диктатуры. Историк выявляет на заключительной фазе революции, когда центр борьбы стал все больше перемещаться с улиц и площадей Парижа в стены комитетов и Конвента, совершенно ясный факт: дельцы от революции, смеявшиеся «над мыслью о морали и над демократизмом Руссо», оказались сильнее революционеров-энтузиастов Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона — «гигантов» 1793—

1794 г. (выражение Шлоссера), сильнее, потому что освоили науку низменного человековедения: «знали людей и средства ими пользоваться» (Ш., V, 19, 62, 346, 334, 412).

Шлоссер: реформа или революция!

Изложив в самом сжатом виде содержание пятого тома, попытаемся теперь подвести некоторые итоги. Вождь «партии» «Современника», неукоснительно следовавший в своей деятельности известному рахметовскому принципу: «не тратить времени над второстепенными делами», заниматься «только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди» (Ч., XI, 203), как видим, не зря ушел в конце 50-х годов с головой в, казалось бы, второстепенные переводческие занятия. Он торопился, как он сам писал в сообщении об издании «Истории восемнадцатого столетия...» Шлоссера, дать читателю «первый подробный рассказ об исторических событиях, остававшихся до той поры почти совершенно чуждыми русскому изложению» (Ч., VII, 456).

Иными словами, перед нами первый изданный на русском языке в самодержавной России в начале первой революционной ситуации подробный рассказ о событиях Великой Французской революции.

Но кажется, мы торопимся делать выводы... Ведь Чернышевский издал в 1858—1860 гг. восемь томов «Истории восемнадцатого столетия...». И рассказывалось в этих томах не об одной только Франции и не об одном только конце XVIII — начале XIX в. Труд Шлоссера давал на примере истории Западной Европы XVIII — начала XIX столетий прекрасный повод для постановки общей проблемы: реформа или революция? А эта проблема была самой жгучей для России конца 50-х годов XIX в.

Итак, взглянем теперь на «Историю восемнадцатого столетия...» в целом. Ее сюжет — разложение феодально-абсолютистского строя в Западной Европе, распад державшейся веками системы общественных отношений, привычек, взглядов. Идея необходимости изменения старого строя доходила иногда, показывает Шлоссер, и до разума правящего класса. XVIII век дал несколько при-

меров преобразовательной деятельности государей или их министров, которые «силою монархической власти хотели сделать то, чему в других монархических государствах стараются силою препятствовать» (*Ш., IV, 301*).

Эти реформы шли в одном направлении с «духом времени», вели объективно к некоторому поощрению промышленности и деятельности «третьего сословия» и соответственно к некоторому ущемлению прав и привилегий дворянства, уменьшению влияния духовенства на политические дела в государстве, упорядочению судопроизводства. Но тот же Шлоссер, подробно описавший реформаторскую деятельность таких «государственных мужей», как Фридрих II в Германии, Иосиф II в Австрии, Помбал в Португалии, Струэнсе в Дании, Тюрго во Франции, выявил довольно печальный для «друзей человечества» факт. Социально-политические реформы и попытки таких реформ, произведенные государями и министрами во второй половине XVIII в. даже тогда, когда они подкреплялись всей мощью самодержавного деспотизма, не были ни особо разумными, ни прочными, не приносили они и сколько-нибудь заметного облегчения народу.

Как правило, даже «просвещенный государь» заболтался об «общем благе» лишь постольку, поскольку эта забота отвечала его собственному узкому интересу, укрепляла либо его личную власть, либо подвластный ему государственный механизм. К тому же короли или их министры отдавали распоряжения «патриархально (то есть не советуясь ни с кем, кроме своих любимцев)», а поэтому либо не знали толком, что делать, либо попросту оказывались орудием все тех же «недостойных людей» (*Ш., III, 89, 230, 233* и др.).

Когда же в редчайших случаях «просвещенная» (или, точнее, перепуганная) императорская власть действительно выступала в какой-то мере против дворян и иезуитов, то и таким прогрессивным действиям ставила преграду непреодолимая консервативная сила кастового, группового интереса. Всегда и везде, писал Шлоссер, обскуранты «будут сходиться в тесный союз, как только будут замечать опасность или гибель того предрассудка и машинального суеверия, на котором исключительно основываются их мудрость, богатство и все расчеты» (*Ш., III, 202*).

Печальный опыт истории приводил «друзей челове-

ства» к мысли, что «каждое радикальное улучшение может быть введено только силою», подавляющей «ослепленное сопротивление отсталых людей духу времени» (Ш., II, 193, 453). Особенно четко вывод — революция, а не реформа — звучит у Шлоссера в оценке деятельности министра Людовика XVI Тюрго: «Эти проекты заключают в себе все существенные выгоды, которые приобрела Франция впоследствии, посредством революции. Только революцией они могли быть достигнуты, потому что министерство Тюрго в своих ожиданиях обнаруживало слишком сангвинико-философский дух: оно надеялось, вопреки опыту и истории, единственно своими предписаниями, разом переменить социальное устройство, образовавшееся в течение времени и скрепленное прочными связями. Радикальные преобразования как в природе, так и в человеческом обществе возможны не прежде, как по уничтожению всего существующего огнем, мечом и разрушением» (Ш., III, 364).

Кажется, такие заявления сомнений не оставляют: в разгоравшейся в России конца 50-х — начала 60-х годов полемике либералов и демократов Шлоссер был вроде бы на стороне последних. Но безусловным сторонником революции Шлоссер все-таки не был. Сама Французская революция 1789—1794 гг. представлялась в его пособиях отнюдь не в привлекательном виде. «Кратковременное неистовство демократов французского терроризма», как выражался Шлоссер о якобинцах (Ш., II, 326), произвело быструю и радикальнейшую расчистку почвы государства от всех обломков старого порядка, но не создало ни «свободных» общественных отношений, ни «народных» политических форм. Революция представляла в изображении Шлоссера процессом неуправляемым, неподконтрольным ее творцам. Просуществовав около года, якобинская диктатура уступила место в Конвенте и в стране диктатуре термидорианцев, затем термидорнанской Директории, затем Консульству и, наконец, Империи.

Шлоссер, безусловно, оправдывал «издержки» первого, либерально-конституционного этапа Французской революции: «... Несмотря на все несовершенства новой конституции и на десятилетние страдания и бедствия, которыми она была приобретена, существенные выгоды, которые должны были остаться от нее в наследие позд-

нейшим поколениям, не были куплены слишком дорогою ценою» (Ш., V, 96—97).

Но эти «издержки» стали катастрофически расти на якобинском этапе революции. Жертвы исчислялись уже не десятками и не сотнями, как во время взятия Бастилии или октябрьского возмущения 1789 г., а тысячами и десятками тысяч, террор был обращен не только против короля и своекорыстной аристократии, не только против спекулянтов и богачей, он был обрушен на «крайних» энтузиастов республиканского порядка. Шлоссер понимал, что именно «терроризм» робеспьеристов довершил слом феодализма, начатый в 1789 г., и доставил «новой Франции владычество над остальной обветшавшею Европою» (Ш., V, 385). И вместе с тем он замечал: «...не слишком ли дорого были куплены эти результаты, мы не хотим решать» (Ш., V, 356).

Иными словами, если реформа «сверху» была, по Шлоссеру, средством малоприспособленным для переделки изживших себя феодально-абсолютистских отношений, то и революция «снизу» была средством крайне несовершенным в силу утопичности представлений революционеров, в силу «зараженности» самих творцов буржуазной революции своекорыстием, а также в силу отсталости широких масс, которые оказались «неспособны» пользоваться «свободой».

Негодная, ничего не дающая реформа «сверху» или разрушающая абсолютизм, но дорогостоящая и пока еще мало что дающая самому простому народу революция «снизу» — этот выбор вставал перед читателем пособия Шлоссера. Дилемма отражала реальные противоречия эпохи буржуазных революций, но пособие Шлоссера вряд ли могло служить непосредственным руководством для революционеров в стране, пробуждавшейся к своей антифеодальной революции. К «Истории восемнадцатого столетия...» необходим был комментарий, уточняющий, дополняющий, исправляющий там, где надо, выводы Шлоссера, переводящий на язык практики его теоретические наблюдения. И хотя Чернышевский так и не выполнил своего обещания — дать дополнительные примечания к переводу отдельно от текста²¹, мы все же можем

²¹ «Из них, — писал Чернышевский, — составитя три или четыре тома, которые будут изданы по окончании перевода» (Ч., V, 178).

утверждать: комментарий Чернышевского к Шлоссеру появился в 1859—1862 гг., он действительно печатался «отдельно от текста» и составил тома три-четыре, а возможно бы и больше томов, не будь работа прервана по не зависевшим от автора обстоятельствам.

Говоря так, мы, собственно, не делаем особых открытий. Для понимания позиции Чернышевского нужны не новые таинственные рукописи, не новые нелегальные издания, а внимательное прочтение журнала «Современник», и особенно начавшихся печататься здесь с 1859 г. обзоров «Политика».

«Современник» открывает школу политики

Исторический путь — не тротуар Невского проспекта...

Н. Г. Чернышевский

«Прогресс совершается чрезвычайно медленно»

«Последнее десятилетие было очень тяжело для друзей света и прогресса в Западной Европе, — начинает Чернышевский январский обзор «Политика» за 1859 г. — Но что же тут удивительного, что редкого? В каком же веке не бывало в двадцать раз больше мрачных лет, нежели светлых?» Припомнить хотя бы судьбы двух народов, «жизнь которых до сих пор была удачнее, чем всех других», — и здесь было мало отрадного и светлого (Ч., VI, 5).

Обратим внимание: свой рассказ о Франции и Англии Чернышевский ведет почему-то с 1700 г. — того рубежа, когда в Европе ничего существенного не происходило. Но это малопонятное обстоятельство становится понятным (и довольно существенным для нашей темы), когда мы припомним, что с 1700 г. начиналось и изложение «Истории восемнадцатого столетия...» Шлоссера. Выразимся еще яснее: перед нами сжатый конспект восьми томов шлоссеровского пособия (разумеется, с собственными добавлениями Чернышевского, ибо Шлоссер окончил 1814 годом).

Франция в последние полтора столетия лет, отмечает Чернышевский, вела бесконечные разорительные войны, была ареной религиозных междоусобиц, ее грабили откупщики, интенданты, министры. Правда, во второй половине XVIII в. на престол сел Людовик XVI, «человек добрый, желающий блага народу». Но министры-рефор-

маторы Тюрго и Мальзерб держались у власти всего лишь по несколько месяцев и были удалены, «не успев сделать почти ровно ничего» (Ч., VI, 6).

К концу XVIII в. дело дошло до «ужасного взрыва»: «о следующих четырех или пяти годах мы не будем говорить; но, вероятно, и они были не очень счастливы, если кончились возникновением позорной Директории с ее бесстыдным Баррасом, променять которого на Наполеона Бонапарта казалось уже огромным выигрышем» (Ч., VI, 7).

Пока при Наполеоне гром побед тешил хвастунов, страна превращалась в гигантскую казарму: «... все права были отняты у граждан; над всею странюю тяготел деспотизм», поколение за поколением избивались на полях сражений. Вернувшиеся Бурбоны в свой черед заставили страну жалеть о Наполеоне. За крайней реакцией последовал либеральный переворот, но, «по общему мнению людей, содействовавших перевороту 1830 года, Франция едва ли много выиграла через него» (Ч., VI, 7). Не изменили картины и потрясения 1848 г. — они «были так тяжелы, что президентство Луи-Наполеона показалось отдыхом, успокоением для утомленной нации» (Ч., VI, 17).

Но если мало радости являла история Франции, где наблюдались, как говорят, «вечные смены угнетения и анархии, приводящей к другому угнетению», то, может быть, отраднее были полтора века для Англии, где, по некоторым отзывам, шел «непрерывный прогресс, столь же быстрый, как и мирный» (Ч., VI, 8)? Ничуть не бывало. Как и прежде, «гораздо более нежели девять десятых частей нации совершенно лишены всякой недвижимой собственности» (Ч., VI, 8). Значение конституционных свобод растолковали английской нации еще в XVII в. Мильтон и Локк, но только во второй четверти XIX столетия жителям Англии удалось увидеть «признание политических прав за людьми, не согласными с оксфордским изуверством» (Ч., VI, 8). Весь XVIII век нация была почти полностью отстранена от назначения членов палаты общин; и при Анне, и при Георге I, и при Георге II министры либо просто подкупали парламент, либо третировали его.

Парламентская комедия не перешла в серьезное дело и в правление Георга III. Много лет волнуется Лондон и

все государство по поводу нарушения коренных законов Англии в деле радикала Вилькса, «а преступные министры, ненавидимые нацією, улыбаются и преспокойно себе управляют Англией» (Ч., VI, 9). Мало того, им удастся вскоре превратить нацию в смертельного врага революции. «Министры таки сделали свое дело, довели американцев до восстания: братья режут братьев, и европейские братья вдобавок нанимают краснокожих, чтобы они скальпировали американских братьев... История, бывшая с американцами, повторяется относительно французов: начинается слишком двадцатилетняя война с Францией за то, что французы, наслушавшись английских речей о свободе, произвели у себя революцию, к которой ободряли их сами же англичане...» (Ч., VI, 9—10).

Внешние войны способствуют воцарению реакции внутри страны. В 20-х годах XIX в. «избыток угнетения» наконец-то пробуждает англичан от политической дремоты. Возникает стремление к реформам, но насколько узки и мизерны достигнутые в тяжких муках преобразования! «Великим делом в жизни поколения 1820—1850 годов была парламентская реформа, необходимость которой чувствовалась по крайней мере уже лет сорок, да и то была произведена в таком жалком размере, что осталось почти неприкосновенным зло, против которого она была направлена. Палата общин по-прежнему осталась представительницею почти одного только аристократического интереса... Другим важным делом было отменение хлебных законов... Но наш англичанин 1820—1850 годов только под конец своей жизни дождался этой реформы, которая требовалась еще его отцом». К тому же славу улучшения похитил у Кобдена Роберт Пиль, человек, всеми силами противившийся ему до последней минуты. «Хорош порядок дел, когда лучший министр вынуждается к согласию на отмену вопиющих злоупотреблений только страхом революции!» (Ч., VI, 10—11).

«К чему же ведет этот очерк?» — заключает Чернышевский. Неужели к отрицанию прогресса, к доказательству того, что в истории «не было ничего хорошего?». Никоним образом.

«Исторический прогресс совершается медленно и тяжело — вот все, что мы хотим сказать; так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном

ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообразить ход событий за довольно продолжительное время...» (Ч., VI, 11—12).

Снова обратим внимание читателей на переключку мыслей Чернышевского и Шлоссера: тот же вывод о медленности прогресса Чернышевский сделал и в знакомом нам предисловии к русскому переводу «Истории восемнадцатого столетия...» (1858 г.): «Да, этот плохой рассказчик в самом деле мудрец, если можно кого-нибудь назвать мудрецом... Сроднившись с ним, вы, может быть, перестанете видеть в истории тот непрерывный, ровный прогресс в каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам прежде¹; быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа...» (Ч., V, 176).

Мысль о медленности, сложности, издержках прогресса — центральная в социологической концепции Чернышевского — развивается им в разных аспектах. В первом обзоре есть такое важнейшее место: «Прогресс совершается чрезвычайно медленно, в том нет спора; но все-таки девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы» (Ч., VI, 13). На этом месте стоит остановиться специально. Чернышевский выходит здесь к теме: роль великих буржуазных революций в историческом процессе.

«Краткие периоды усиленной работы»

Страница странице рознь. Эта истина, справедливая для творения любого мыслителя, особенно относится к Чернышевскому. Работая невероятно много, всегда с оглядкой на цензуру, публицист порой специально наводнял свои статьи десятками страниц, отвлекающих внимание рассуждений. Но читатель внимательно следил за высказываниями публициста, выставлявшего себя «говору-

¹ Чернышевский, вероятно, имеет в виду концепцию Гизо (Ч., VII, 476, 478—479).

ном о пустяках», он знал, что среди «пустяков» разбросаны жемчужины — страницы, написанные кровью сердца, выводы, синтезирующие напряженную работу ума. Таковы, например, заключительные странички «Антропологического принципа в философии», некоторые страницы статей «Апология сумасшедшего», «О причинах падения Рима», «Не начало ли перемены?», «Письма без адреса», разговор о которых еще впереди. Таковы, на наш взгляд, и некоторые странички в разбираемом обзоре.

То самое поступательное движение, которое становится заметным при взгляде на широкие полосы исторического развития: чрезвычайная разница в положении Англии XVII и XIX вв., Франции середины XVIII и середины XIX в., коренное отличие их истории от истории Германии, Италии, Португалии, — связано, намекает Чернышевский, с великими революциями. Впрочем, в обзоре эта мысль завуалирована, яснее выражена она в статье «О причинах падения Рима».

Когда же кончился, спрашивает Чернышевский, феодальный порядок, возобновлено развитие человеческой цивилизации, прерванное нашествием варваров на Рим? «Во Франции — в конце прошлого (XVIII. — *Авт.*) века, значит, еще не очень давно». В Англии скорее всего «в конце или в половине XVII века, при втором или при первом низвержении Стюартов». Нетрудно увидеть, что исходным пунктом прогресса ведущих стран Европы Чернышевский считает революции 1640—1649 гг. и 1789—1794 гг. Последняя революция дала толчок сдвигам в Центральной Европе. «В Германии, — пишет Чернышевский, — покончилось господство феодализма наполеоновскими завоеваниями и реформами Штейна в начале нынешнего (XIX. — *Авт.*) века; но это лишь в Западной и Северной Германии, а в Южной, в австрийских землях — в 1848 году» (*Ч., VII, 666*).

Признавая обновляющую роль буржуазных революций, Чернышевский не скрывал того, как сложна и порой мучительна была эта форма общественного движения для народных масс. Революция, пишет он в «Обзоре», готовилась тем, что «лучшие люди каждого поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-помалу, хотя немногие из их желаний становились понятны обществу, и потом когда-нибудь чрез много лет, при счастливом случае, общества полгода, год, много —

три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей» (Ч., VI, 12).

Но мало того, что этот случай представляется редко, а «работа» была кратковременной. Главное в том, что желания «лучших людей» полностью так и не осуществлялись. «Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества, и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застой...» (Ч., VI, 12) — таков вывод Чернышевского, синтезирующий историю буржуазных революций.

Значит ли это, что прошедшие революции были бесплодны и бессильны? Ответ — в краткой фразе Чернышевского, несущей громадный смысл: «...но в короткий период благородного порыва многое было переделано».

Что же происходило во время этих «коротких периодов»? Перестройка всего общественного здания, причем столь основательная, что никакая реставрация не могла восстановить его в прежнем виде. Защитники старины, даже вернувшись к власти, не могли не принять часть наследия революции, вынуждались рано или поздно двигаться дальше. В «период благородного порыва», пишет Чернышевский, «переработка шла наскоро, не было времени думать об изяществе новых пристроек, которые оставались не отделаны начисто, некогда было заботиться о subtilных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками, и период застоя принимал перестроенное здание со множеством мелких несообразностей и некрасивостей. Но этому ленивому времени был досуг внимательно всматриваться в каждую мелочь, и так как исправление не нравившихся ему мелочей не требовало особых усилий, то понемногу они исправлялись...» (Ч., VI, 12—13).

Мы видим вывод важный и существенный. Периоды реакции, сменявшие периоды буржуазных революций, не были, по мысли Чернышевского, простым откатом назад. И в это время шла мелочная достройка отдельных частей здания, а главное, закладывались предпосылки для нового скачка, поскольку мизерное и медленное «дотягивание» не могло удовлетворить пробужденную общественную потребность. «...Пока изнеможенное общество занималось мелочами, лучшие люди говорили, что перестрой-

ка не докончена, доказывали, что старые части здания все больше и больше ветшают, доказывали необходимость вновь приняться за дело в широких размерах. Сначала их голос отвергался уставшим обществом как беспкойный крик, мешающий отдыху; потом, по восстановлении своих сил, общество начинало все больше и больше прислушиваться к мнению, на которое негодовало прежде, понемногу убеждалось, что в нем есть доля правды, с каждым годом признавало эту долю все в большем размере, наконец, готово было согласиться с передовыми людьми в необходимости новой перестройки, и при первом благоприятном обстоятельстве с новым жаром принималось за работу, и опять бросало ее не кончив, и опять дремало, и потом опять работало» (Ч., VI, 13).

Открыв определенную пульсацию того движения, которое было связано в Европе с великими буржуазными революциями, Чернышевский возводит это чередование фаз, скачков вперед и откатов назад в степень закона. «Таков общий вид истории: ускоренное движение и вследствие его застои и во время застоя возрождение неудобств, к отвращению которых была направлена деятельность, но с тем вместе и укрепление сил для нового движения, и за новым движением новый застой, и потом опять движение, и такая очередь до бесконечности. Кто в состоянии держаться на этой точке зрения, тот не обольщается излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной исторической работы: он знает, что минуты творчества непродолжительны и влекут за собою временный упадок сил. Но зато не унывает он и в тяжелые периоды реакции: он знает, что из реакции по необходимости возникает движение вперед, что самая реакция готовится и потребность, и средства для движения» (Ч., VI, 13—14).

Перед нами — одно из важнейших в политической науке XIX в. открытий, пускай еще абстрактная, лишенная классовых характеристик формулировка закономерности движения буржуазных революций. Мысли Чернышевского о «характере исторического прогресса» идут в русле поисков, начатых еще в XVIII в. автором оды «Вольность» и «Песни исторической», осмысливавшим «пример великий» Кромвеля, затем Робеспьера. У Радищева закон своеобразной «цикличности» буржуазных революций выступает еще в натуралистической оболочке,

как «закон природы». Чернышевский говорит об «общем виде истории». У Радищева закон — «из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» — приобрел к концу жизни фаталистическую окраску². Чернышевский преодолевает фатализм: взгляд на громадные отрезки западноевропейской истории позволяет ему увидеть хотя и медленный, но поступательный ход исторического развития, выделить в этом развитии переломные этапы.

Очень важно отметить параллельность хода мыслей Чернышевского (хотя он двигался на иной теоретической основе) ходу марксистской мысли. Маркс приступил к выявлению закономерности восходящего движения буржуазных революций (с их чередованием подъемов и спадов) в своих классических работах эпохи революции 1848 г., обратив основное внимание на классовые пружины механизма этого движения. Впоследствии, в 1892 г., возвращаясь к своим и Маркса прежним работам, Энгельс выведет ту же закономерность в наиболее четком виде³. В XX в., обращаясь к «замечательно глубокой и богатой мыслями статье» Энгельса 1892 г., Ленин будет писать о цикле буржуазных революций, каждая из которых бьет старый режим, «но не добивает его, не устраняет почвы для следующих буржуазных революций»⁴.

Самое главное, В. И. Ленин укажет на коренные изменения в расстановке классовых сил в буржуазно-демократических революциях XX в. (гегемония пролетариата вместо гегемонии буржуазии, союз рабочего класса и крестьянства), которые и позволят революционным угнетенным классам переломить ход событий в свою пользу, обеспечить перерастание буржуазно-демократических революций в революции социалистические. Но это уже особая тема, выводящая нас к сюжетам XX в. Мы же вернемся к Чернышевскому и его обзорам, публиковавшимся в разделе «Политика».

² А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, стр. 13—14, 361; см. об этом: Ю. Ф. Карякин, Е. Г. Плимак. Запретная мысль обретает свободу. М., 1966.

³ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр. 308—309, 533—534.

⁴ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 46; т. 19, стр. 247.

**«... Главная масса
еще и не принималась за дело...»**

В нашу литературу уже довольно давно вошли и сохраняются в отдельных работах положения, свидетельствующие о некоторой недооценке тех гигантских трудностей, которые представляло для теоретической освободительной мысли в России XIX в. решение вопроса о роли масс в истории. Так, в одном из пособий мы читаем: «Чернышевский понимал, что двигателем исторического развития общества являются народные массы», он осуждал утверждения, «будто масса слепо идет за тем, кто ее поведет, и не имеет решающего значения в общественных делах»⁵.

Мыслитель действительно считал массовые движения «двигателем исторического развития», но двигателем, «работавшим» в редкие моменты, к тому же крайне несовершенным, быстро выходящим из строя. Иными словами, обобщая опыт буржуазных революций XVII—XIX вв., Чернышевский различал громадные потенции народных движений и пока еще незначительную степень их реализации.

Простолюдина, писал Чернышевский, интересуют прежде всего и почти исключительно перемены, связанные с его материальным положением. При этом простолюдин не понимает главного — связи своего положения с общественным строем страны. Ненависть его касается ближайшего непосредственного угнетателя, чувство нелюбви «не доходит до отдаленнейшей и коренной виновницы бедствий — до правительственной системы» (Ч., V, 367, см. также 337).

На этом «равнодушии масс» «к политической перемене», пишет Чернышевский (Ч., VIII, 82), десятилетиями держатся реакционнейшие, насквозь прогнившие режимы. Свергают, скажем, союзные монархи Наполеона, призывают Бурбонов, народ говорит: пусть дипломаты делают, как знают, это не наше дело. «Точно то же было при замене Бурбонов орлеанской династией. Из тысячи человек один пожалел о Бурбонах. . . остальные 998 подумали: нам все равно. . . Точно так же провозглашена

⁵ «История философии в 4-х томах», т. II. М., 1957, стр. 364.

была республика, точно так же была потом провозглашена вместо республики империя...» (Ч., VIII, 83).

Чернышевский был далек от надежд мечтателей-революционеров на то, что в той или иной стране вот-вот, не сегодня-завтра начнутся вызванные «тяжестью гнета» возмущения: «[вообще нет ничего забавнее, как читать рассуждения легковверных людей о силе общего неудовольствия, о ненадежности войск и так далее. Это — вечная басня о мышах, собиравшихся хоронить кота]. Но бывали же, скажут нам, примеры удачных восстаний? Бывали, но так редко, что нужно рассудительному человеку слишком и слишком много фактов, и, кроме того, нужно возникновение совершенно особенных обстоятельств для пробуждения в нем ожиданий подобного события...» (Ч., VI, 475).

Но и в тех «особенных обстоятельствах», когда дело доходило до революционных потрясений, как было, скажем, в эпоху буржуазной революции 1848—1849 гг. во Франции или Австрии, говорить об участии в политической жизни всего народа не приходится. «...После Луи-Филиппа продолжалась года полтора так называемая анархия, и французским правителям трудно было ладить с расхордившеюся нацией, или собственно даже не с нацией, а с несколькими десятками тысяч энергических работников Парижа; остальные сотни тысяч работников Парижа и других городов были уже и тогда расположены держать себя смиренно и послушно, а прочим девяти миллионам взрослых мужчин Франции никогда и не приходило в голову буйствовать и непокорствовать. Так или иначе, дурно или хорошо, прошли эти недолгие полтора года, тяжелые для французских правителей, — и дела пошли прежним порядком: правители приказывают, а вся Франция слушается, — то же самое, что было при Луи-Филиппе, только формы приказаний несколько изменились... В Австрии даже и в заголовке перемены не произошло...» (Ч., VIII, 83—84).

Но мало того, отмечает Чернышевский, что масса с громадной трудностью втягивалась в движение. Даже пробудившись, она была непостоянна в своих симпатиях и антипатиях, жила «минутными впечатлениями», была склонна к быстрым разочарованиям. Французская революция конца XVIII в., всколыхнувшая в отличие от революции 1848 г. весь народ, поднимавшая его к политиче-

ской деятельности, тоже не успела «совершенно искоренить во Франции старого порядка вещей: он воскрес при Наполеоне и оказался очень сильным при реставрации; с другой стороны, и реакция, начавшаяся еще до Наполеона и почти непрерывно господствовавшая во Франции до сих пор, не сумела искоренить ни революционной тенденции, ни даже законов, ею произведенных в краткий период шести лет от 1789 до 1795: каждый раз, как только начинала она действовать успешно, большинство легкомысленно переходило на сторону революции, которую так же легкомысленно покидало, едва революция появлялась на горизонте... Неумение большинства понять неразлучность некоторых тяжелых испытаний или оскорбительных для чувств явлений с исполнением предпочитаемого вами дела... было причиною того, что дело это оставалось недоконченным...» (Ч., VI, 416).

Аполитичность масс, их отрешенность от коренных проблем общественной борьбы или отсутствие у проснувшихся масс ясных и твердых убеждений и были, по мнению Чернышевского, главной причиной непрочности успехов в развитии Европы за те полтора-два столетия, которые мы теперь называем эпохой буржуазных революций нового времени.

В целом глубокий историзм отличает подход Чернышевского к важнейшей проблеме роли масс в историческом процессе. Он ясно видит разные масштабы участия масс в разные — спокойные и бурные — периоды истории, в разных буржуазных революциях, он видит общую ограниченность, узость всех буржуазных революций, связанную с недостаточной сознательностью участвующего в них народа (это — главная причина медленности прогресса), он предвидит коренное изменение положения вещей в предстоящей и Европе и России борьбе народа за социализм.

На долю будущих времен Чернышевский отводил действительно решающую, а главное, созидательную роль народных масс в истории. До сих пор в сознательном движении участвовала «лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны, — писал он, — а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь

только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности» (Ч., VII, 666).

«Естественное отношение партий»

Другой существенной причиной медленности прогресса Чернышевский считал отсутствие «союза между модеранистами и революционерами» (Ч., VI, 340) в ходе буржуазных революций.

Для читателя, который справедливо видит в Чернышевском непреклонного борца с либерализмом, последнее его утверждение может показаться странным. Странность, вернее, сложность в позиции Чернышевского действительно имеется, и она требует некоторых пояснений.

Чернышевский социалист-утопист дал с точки зрения принципов грядущего социалистического строя глубокую критику системы учреждений, политики и идеологии буржуазного либерализма, который «понимает свободу очень узким, чисто формальным образом», не предоставляя человеку «материальных средств» пользоваться ею, желая к тому же и эту ограниченную свободу «вводить постепенно, расширять понемногу, без всяких по возможности сотрясений» (Ч., V, 217).

Но социалист-утопист Чернышевский жил и действовал в отсталой России, где на очереди дня еще стояла борьба с феодализмом; в этой борьбе тот же самый буржуазный (или дворянско-буржуазный) либерализм мог еще быть, хотя и непоследовательным, противником царизма. Это реальное положение революционера в стране, вступавшей на путь борьбы с феодализмом, не могло не сказаться на его непосредственных тактических установках, которые и нашли отражение в обзорах «Политика».

«. . . Реформаторы, — разъяснял там Чернышевский, — смотря по различию темперамента, привязанности к своим идеям и проницательности, разделяются на две партии. Одни, видя, что горсть людей, пользующихся нынешним положением вещей, задерживает все их усилия и сама имеет силу управлять общественными делами, как ей угодно, думают, что надобно убедить этих людей действовать иначе и содействовать тем целям, какие имеют в виду они, реформаторы. . . Другие находят, что красно-

речие и правда бессильны над человеком, когда противны его выгодам, и потому объявляют, что никакими доводами нельзя людей, находящихся свою выгоду в реакции и обскурантизме, обратить в друзей прогресса и что прогрессисты должны стоять к таким людям в одном неизменном отношении — в отношении непримиримой вражды; это — революционеры» (*Ч., VI, 337—338*). Чернышевский исправляет здесь выводы своих статей середины 1858 г.: исчезает различие роялистов и династии, в антифеодальном лагере помимо умеренных либералов появляются революционеры-демократы.

Итак, в самом общем виде сфера политики оказывается, согласно Чернышевскому, ареной борьбы трех политических сил: реакционеров, модерантистов, революционеров. «Партии, мы сказали, три, — заключает Чернышевский. — Но борьба требует только двух лагерей: собственно борьбу ведут между собою только две из трех партий, более сильные, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уже потом разделаться между собой» (*Ч., VI, 339*).

Из всех комбинаций, которые образуются в ходе борьбы, Чернышевский считает «естественным», «существенно удовлетворительным для обеих соединяющихся партий» один только союз модерантистов с революционерами: «модерантисты и революционеры одинаково хотят прогрессивных реформ и разнятся между собой только в понятии о средствах к успешнейшему их осуществлению. Из такого отношения понятий необходимо следует, что если модерантисты или революционеры становятся союзниками реакционеров, они помогают делу, существенно противоположному их собственным устремлениям, и в результате увидят себя обманувшимися» (*Ч., VI, 340*).

Иное дело — союз сторонников прогрессивных реформ. Его результатом «бывает произведение изменений, одинаково нужных обоим союзникам, и спор о способе осуществления сам собою исчезает, когда дело исполнено тем или другим способом» (*Ч., VI, 340*). Мысль о возможности ускорения прогресса путем единства антифеодальных сил имеет важное значение, тем более что история подтверждала ее правоту. Там, где такой союз становился, пускай на краткий срок, реальностью, как было, скажем, во Франции в июле 1789 г. или в феврале 1848 г., реакцию удавалось подавить быстро, решительно. Но

история показала и другое. Такой союз является крайней редкостью для народов, освобождавшихся от феодализма. Собственно говоря, об этой трудности перехода от идеи к практике и говорил Чернышевский, когда подчеркивал абстрактно-теоретическую выгодность союза модерантистов и революционеров. «Пока остаешься в сфере отвлеченных идей, — пишет он, — вопрос очень ясен» (Ч., VI, 340). Именно потому тот союз, о котором говорил Чернышевский, так редко осуществлялся в истории (хотя все выгоды его были вполне доказаны теми немногими случаями, где и когда он осуществлялся) или же был крайне непродолжительным: «В 1789 году ученики Монтескье подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским простолюдинам, штурмовавшим Бастилию. Через несколько лет они уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов» (Ч., VII, 38).

Что же касается последующих фаз борьбы, когда на сцену истории выходит коммунизм, то «среднее сословие и работники» держат себя «как две разные партии, требования которых различны» (Ч., VII, 39).

К сказанному выше добавим, что Чернышевский не просто говорит о выгодности союза «модерантистов и революционеров» для борьбы с феодализмом. Он определяет и условия успешности такого союза.

Образованные слои, которые поставляют «реформаторов», подчеркивал Чернышевский, обычно глухи к народным стремлениям. Правда, пишет он, появляются и в этой среде благородные люди, столь развитые в умственном и нравственном отношении, что они могут стать на сторону народа, пытаются опереться на массы, пытаются поднять их до более широкого взгляда на общественную жизнь: «...они желают преобразований, но потребность эта, ощущаемая и массой народа, — только в материальном применении к вопросу о распределении продуктов труда и средств к производительному труду (земля, капитал), сознается ими в размере более обширном. Они находят, что для поддержки справедливых отношений по имуществу нужны разные гарантии в гражданских правах» (Ч., VI, 337).

Но Чернышевский не случайно подчеркивает малочисленность этого слоя благородных людей. Что же касается громадного большинства «реформаторов», то как раз неумение опереться на простолюдинов составляет их отли-

чительную черту, и масса, «не находя в их программах соответствия с своими мыслями, остается обыкновенно равнодушной к реформаторам»; мало того, масса даже склонна проникаться нелюбовью к ним за нарушение «общественной тишины, доставляющей ежедневное скудное пропитание массе. . .» (Ч., VI, 369).

Отсюда — трагический финал прошлых революций в Европе, отсюда же — и пессимистический прогноз Чернышевского насчет результатов итальянского освободительного движения, который он делал в конце 50-х годов XIX в.: «[Итак, оставалась горсть образованных людей, не позаботившихся поставить за собой массу народа против сотен тысяч штыков — чего тут ждать для этих образованных людей и их стремлений? Они должны погибнуть, они сами себя обрекли на темницы, на изгнание, на ссылку, плаху и виселицу, став против страшной физической силы армий без опоры на еще более страшную силу массы. . .]» (Ч., VI, 370).

Таков безрадостный ход событий даже в бурные, трудные для реакции времена. В остальное время ее владычество поддерживается совсем просто. Пользуясь апатией, а то и поддержкой косной массы, реакция сохраняет и прежних людей, и прежнюю систему, прежде всего стремясь к «отнятию у реформаторов возможностей действовать на массу», либо прямыми стеснительными мерами, либо «поддерживанием в массе разных теоретических мнений, брошенных реформаторами» (Ч., VI, 337).

Изменить этот ход вещей реформаторы могут, «[. . . только усвоив себе стремление массы ваших бедных темных соотечественников поселян и городских простолюдинов. Или примите в ваши программы аграрные перевороты, или вперед знайте, что вы обречены на гибель от реакции]» (Ч., VI, 370). Подчеркнем: предупреждение адресовано всем реформаторам, не только революционерам. А в ситуации середины 1859 г. это означало и попытку обращения с последним призывом к либеральной части русского общества. «[. . . Итак, раз навсегда либералы должны рассудить: в состоянии ли они сочувствовать потребностям массы, принять эти потребности в свою программу без всяких оговорок и ограничений, в той самой форме, в какой может удовлетвориться переменами масса. Если нет, если потребности массы (в Италии — коренное отношение труда к капиталу и в особенности по-

земельных отношений) кажутся либералам несправедливыми или неудободовлетворяемыми, то пусть либералы сидят тихо и молча, потому что без возбуждения энтузиазма к движению в массе движение не может кончиться ничем иным, кроме гибели либералов от торжествующей и мстительной реакции (в Италии, само собою разумеется)]» (Ч., VI, 374—375). Само собой разумеется, следовало читать: и «в России».

Цель и средства революционной борьбы

Мы уже отмечали выше: издавая «Историю восемнадцатого столетия. . .» Шлоссера, Чернышевский был не всегда скрупулезен в переводе, он правил, смягчал оригинальный текст там, где был не согласен с ним. Положения, далеко выходявшие за рамки концепции Шлоссера, Чернышевский постоянно формулирует в обзорах «Политика» при переводе формул науки исторической в науку политическую. Это относится в первую очередь к сомнениям и колебаниям Шлоссера по поводу «цены свободы». Отнюдь не одобряя «жестокости» некоторых якобинцев во Франции 1793—1794 гг., повредившие «общему делу», Чернышевский не отвергал самой необходимости «решительных мер» (Ч., V, 8—9).

«Кто борется за дело, — писал Чернышевский, — тот должен знать, к чему поведет оно; и если не хочет он неизбежных его принадлежностей, он не должен хотеть и самого дела. Политические перевороты никогда не совершались без фактов самоуправства, нарушавшего формы той юридической справедливости, какая соблюдается в спокойные времена. . . Человек, который принимает участие в политическом перевороте, воображая, что не будут при нем много раз нарушаться юридические принципы спокойных времен, должен быть назван идеалистом» (Ч., VI, 414).

Эта «идеалистическая» точка зрения характерна и для массы, принимающей в таком перевороте участие: «Едва начинает оно приносить свои плоды, как расположение к нему в массе исчезает; оно лишается поддержки общественного мнения, переходящего на противоположную сторону, потому что в числе плодов какого бы то ни было дела всегда бывает довольно много горьких на вкус

для того самого большинства, которому нравились цветки» (Ч., VI, 416).

Тем же, если не худшим «идеализмом» (ибо у массы он оправдан незнанием, невежеством) страдают обычно и вожаки масс. «Но если большинство бывает виновно в том, что исторические дела бросаются обыкновенно, не будучи доделаны как следует, то предводители большинства еще чаще бывают виновны в том, что дело подавляется в самом своем зародыше гораздо прежде, чем большинство успело бы охладеть к нему. Великие люди едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо. . . Но известно, что не может ковать железо тот, кто боится потревожить сонных людей стуком. Только энергия может вести к успеху, хотя бы к половинному, если полного успеха почти никогда не дает история; а энергия состоит в том, чтобы не колеблясь принимать такие меры, какие нужны для успеха. . . Кто не хочет средств, тот должен отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств. Кто не хочет волновать народ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей, тот не должен и брать на себя ведение дела, поддержкою которого может служить только одушевление массы» (Ч., VI, 417—418).

Но не забудем об оборотной стороне медали. Чернышевский знал, и не только из пособий Шлоссера, что «возбуждение народных страстей» можно не только употреблять на благие дела и цели, им можно и злоупотреблять; финал «жалкого 1848 года» (Ч., XIII, 218) стоял всегда перед его умственным взором. И недаром первый же из его обзоров «Политика» содержал подробную историю «переворота 18 брюмера» Луи Наполеона — проходимца, который в продолжение целых трех с половиною кризисных лет (1848—1851) «умел поддерживать мнение о себе как о друге народа, призванном осуществить социальные теории, призванном незыблемо утвердить во Франции владычество демократии и преобразовать к лучшему материальное положение массы» (Ч., VI, 19). Напомним и другое высказывание, относящееся к 1860 г., насчет того, чем же кончилась в Риме борьба за экономические права низших классов: «Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре» (Ч., VII, 31).

Но хотя общий вид «исторических дел» был в новое

время — эпоху буржуазных революций — замедлен, череват рецидивами, откатами назад, вел только к «половинным» успехам, все же факт общего движения человечества вперед, восходящий характер истории были для Чернышевского несомненны. Чтобы убедиться в последнем, требовалось одно — не ограничиваться, как он советовал в обзорах, «слишком короткими периодами», «сообразить ход событий за довольно продолжительное время» (Ч., VI, 12).

«Все вздор перед общим характером национального устройства»

Узловые моменты прогресса Чернышевский связывал, мы это уже подчеркивали, с «краткими периодами усиленной работы», т. е. революциями, во время которых совершалось «девять десятых того, в чем состоит прогресс». Но при характеристике «хода событий» за продолжительные отрезки времени Чернышевский, безусловно, принимал во внимание и послереволюционные периоды, доделывавшие «одну десятую» прогрессивной исторической работы. «Важные приобретения» этих периодов были связаны с утверждением в странах, переживших революцию, тех или иных форм политической демократии, разумеется буржуазной, ибо автор обзоров «Политика» писал об эпохе буржуазных революций и другой демократии не знал. Изменение происходило не сразу: от революции до упрочения «форм» лежала целая полоса реставраций и катаклизмов, но в сущности именно в замене абсолютистского политического режима устройством представительным, парламентским, в лучшем случае республиканским состоял — после крутой ломки прежних социально-экономических отношений — политический прогресс. В свою очередь такая замена влияла заметно на характер циклов, ускоряла общий прогрессивный восходящий характер движения.

Воспоминания С. Г. Стахевича донесли до нас содержание любопытнейшего спора, который развернулся между Чернышевским и ишутинцами уже в Сибири, на каторге.

«Для меня и для некоторых других со товарищей по тюрьме, — пишет Стахевич, — было на первое время совершенно неожиданностью, что теоретические мнения

Николая Гавриловича были решительно в пользу политической свободы. . . Мы исповедовали символ веры, приблизительно такой: в жизненном строе народа наибольшую важность представляет материальное благосостояние массы населения; к этому благосостоянию следует стремиться неуклонно; все прочее приложится, — зажиточный народ приобретет просвещение, проявит чувство личного достоинства, завоюет политические права, в случае надобности, переделает политические учреждения; политические формы — сами по себе ничто: конституция и республика могут совмещаться не только с благосостоянием масс, но также и с их нищетой; абсолютизм может совмещаться не только с нищетой масс, но также и с их благосостоянием. . . И вот при одном из первых же наших собеседований с Николаем Гавриловичем в «полиции» он заявил себя горячим сторонником политической свободы. В конце нашего бурного спора он выразился так:

— Вы, господа, говорите, что политическая свобода не может накормить голодного человека. Совершенная правда. Но разве, например, воздух, может накормить человека? Конечно, нет. И однако же, без еды человек проживет несколько дней, без воздуха не проживет и десяти минут. Как воздух необходим для жизни отдельного человека, так политическая свобода необходима для правильной жизни человеческого общества»⁶.

Обратимся далее к роману «Пролог». Взгляды Волгина, героя эпохи конца 50-х годов, во многом проясняют суть дела, которую Чернышевский пытался растолковать «сотоварищам по тюрьме» в 60-е годы.

Волгин, как мы знаем, проповедует воздержание от содействия проводимой обществом «крестьянской реформе». А вот как звучит в передаче Левицкого обоснование этой позиции: «Все мелочь и вздор. . . Наше общество не занимается ничем, кроме пустяков. Теперь, например, горячится исключительно из-за отмены крепостного права. Что такое крепостное право? — Мелочь. . . Многим ли лучше крепостных живут вольные мужики? Многим ли

⁶ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II. Саратов, 1959, стр. 72—73. Название «полиции» носила тюрьма Александровского завода, в которой содержались арестанты в первое время пребывания на каторге.

выше их общественное значение? — Так мало лучше, что не стоит и говорить о такой микроскопической разнице...» К столь же пустячным занятиям относится и отмена административной власти помещика над крестьянами (Ч., XIII, 241—242).

В ответ на реплику Левицкого: «Страшно, если так», — Волгин объясняет суть дела: «Ничего особенного страшного, мелочь. Характер администрации зависит главным образом от общего характера национального устройства. Другие влияния ничтожны перед этим. Кому выгодно быть хорошим, тот немного, очень немного лучше, кому нет выгоды быть хорошим, немного похуже, очень немного. Дурные администраторы очень немного хуже хороших своих товарищей по времени и по месту. В сущности, все это мелочь и вздор. Все вздор перед общим характером национального устройства».

Но предположим, крестьяне освобождены. «Что дальше на очереди? — Суд присяжных... Великая важность он сам по себе. — Был ли он в Англии при Тюдорах и Стюартах? Чему он мешал? — Был ли он во Франции при Наполеоне I? — Чему мешал? — Существует ли во Франции теперь? — Чему мешает? Какие судебные формы могут иметь какую-нибудь серьезную важность, пока общий характер национального устройства не охраняет правду и защитников ее? — Все вздор» (Ч., XIII, 242—243).

Чернышевский писал свой роман на каторге и не все договаривал до конца. Но основная нить рассуждений улавливается без труда. Пока в стране господствует абсолютизм феодальный (типа Тудоров — Стюартов) или бонапартистского типа, пока те или иные формы «политической свободы» не утвердились в стране, «хлопоты» вокруг вопросов социальных или юридических не принесут существенных сдвигов, а литература, которая их ставит, «обречена оставаться пустою, мелочною, презренною, как теперь» (Ч., XIII, 243).

Но может быть, то, что говорил об «общем характере национального устройства» автор «Пролога», не разделял автор статей, определявших линию «Современника», в годы самой реформы? Нет, сходство основных линий налицо. Точно так же, как Волгин подчеркивал превосходство демократических политических форм над формами абсолютистскими, так делал это в те же годы и Чернышевский, не забывая, естественно, подчеркивать огра-

ниченность и этих буржуазных форм. «Как у нас не найдется не только журнала или газеты, но не найдется ни одного отдельного писателя, ни даже какого бы то ни было человека, который бы стал отвергать законность и пользу нынешнего правила не держать женщин взаперти, а допускать их в общество мужчин, — писал он, — так в Англии никто не говорит против печатного обсуждения всех внутренних и внешних вопросов, против представительной формы, против митингов по общественным делам. . . Эти дела, в которых Англия опередила континентальную Европу, очень важны, в том нет спора» (Ч., VI, 83).

Возможно, эта линия не была в «Современнике» доминирующей до конца 1858 г., когда Чернышевский занимался проповедью общинного социализма и утверждал, что «принцип ассоциации» может «уживаться со всякою формою государственного устройства» (Ч., IV, 741), что и дало повод некоторым ученикам истолковать его воззрения в духе своеобразного «аполитизма». Но внимательный просмотр номеров журнала и раздела «Политика» за 1859—1862 гг. дает нам возможность установить, как резко Чернышевский переставил акценты в своих статьях.

В февральском обзоре за 1859 г., рассказывая об агитации демократов и чартистов в пользу парламентской реформы, Чернышевский замечает: «До сих пор читатели слышали нас говорящими только о недостатках и злоупотреблениях английской общественной жизни. Мы не спешили хвалить ее, потому что от похвал ей никак не уйти, сколько ни брани ее» (Ч., VI, 90).

Действительно, Чернышевский (это видно по его обзорам) весьма и весьма далек от того, чтобы считать состав парламента Англии или сам парламентский механизм верхом совершенства (недаром в Англии развертывалась борьба за избирательную реформу). Но он подчеркивал главное: благодаря общему характеру «гражданского устройства» Англии мнение демократов так или иначе окажет воздействие на общественную жизнь. «Партия чартистов, — писал он, — заключает в себе большинство тех английских простолюдинов, которые доросли до политических убеждений. Почти не имея представителей в парламенте, она «за дверями парламента», как говорят англичане, считает своих членов миллионами и состав-

ляет главную поддержку для реформеров, имеющих более умеренный оттенок. Только сочувствие массы выносит на плечах через парламент каждый важный вопрос, хотя люди, ведущие дело в правительственной сфере, то есть, если мы говорим об Англии, в журналистике и в парламенте, имеют образ мыслей, далеко отстающий от желаний массы. Те миллионы, поддержкою от которых держатся и двигают вперед свое дело реформеры палаты общин, требуют в составе парламента перемен гораздо бóльших, нежели какие предлагает своим биллем Брайт. . . Вот именно это предъявление желаний, идущих гораздо дальше, служит для старых партий сильнейшим побуждением понемногу претворять на милость свой гнев против Брайта» (Ч., VI, 91).

Таким образом, в парламентском устройстве английского типа Чернышевский видел один из созданных историей механизмов, способных обеспечить свободное выражение и хотя бы частичное, неполное претворение в жизнь требований масс. Правда, механизм этот был крайне несовершенным, им по-прежнему владела привилегированная каста, но все же общие условия парламентского строя в стране заставляли власть имущих идти на те или иные уступки, отвечающие хотя бы отчасти желаниям масс, после того, правда, как массы были доведены почти до точки кипения. Что именно этим определялась способность английского антидемократического парламентского механизма идти на реформы, прекрасно видно из речи Брайта, помещенной Чернышевским в февральском обзоре. «Вообще вас принуждают вести спор до того, — говорил Брайт, — что шаг остается до междоусобной войны. Это уже обратилось в такую привычку, что управляющее сословие не верит серьезности ваших желаний, пока вы не дойдете до этого предела. . . Ничего важного не приобретала у нас нация иначе, как доходя до самых границ насильственного действия. Мы — все равно что покоренный народ, который борется против завоевателей; все равно что ирландские католики, которые боролись против пришельцев-поработителей, протестантов; все равно что ломбардцы, которые хотят бороться против австрийцев. Когда вы получили реформу 1832 года, вы были на 24 часа от революции. Когда вы получили отмену хлебных законов в 1846 году, вам помогал ужаснейший голод, какого уже несколько сот лет не бывало в

цивилизованных странах» (Ч., VI, 98). Итак, и при парламентской системе XIX в. реформа оставалась побочным продуктом открытой внепарламентской борьбы.

В целом позиция Чернышевского глубоко реалистична и диалектична. Буржуазный парламентский порядок — это еще вовсе не та политическая система, которая обеспечивает полное и быстрое удовлетворение требований масс; рычагом прогресса остаются массовые действия вне стен парламента, — понимание этого факта отмежевывает демократа Чернышевского от разного рода либеральных поклонников английского парламентаризма. Но при всех ее несовершенствах парламентская форма — ощутимый шаг вперед в сравнении с формами абсолютистскими, лишь по видимости всеильными, а в сущности бессильными удовлетворить общественный интерес, даже в тех случаях, когда за преобразование берется сама самодержавная власть.

К этому стоит, пожалуй, добавить, что Чернышевский отнюдь не ставил абсолютизм дореволюционный и бонапартистский на одну доску. Эпохи буржуазных революций не проходят бесследно для существа политических форм, сказываются и на «реставрационных» режимах. И господство бюрократической централизации не бывает здесь столь же безграничным, и подавление оппозиционных сил столь же беспощадным, и безразличие к правам личности столь же полным, как в странах, не видевших своего «1793 года».

Выявляя — по обзорам «Политика» — суть социологической концепции Чернышевского, отметим ее незавершенность. Признание относительной прогрессивности «гражданского устройства» западных стран сравнительно с самодержавной, полуфеодальной Россией никогда не заслоняло от мыслителя факта антинародности буржуазного строя, узости, ограниченности и его политических форм. Великий социалист прекрасно видел и постоянно подчеркивал в своих статьях, что «Западная Европа — вовсе не рай», что гарантия «юридических прав отдельной личности» еще не означает гарантии ее материальных прав, реального равноправия, что на Западе «безграничное соперничество отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу», что и на Западе, как и в России, «масса хочет коренных изменений в своем материальном быте» (Ч., IV, 727, 729; VI, 374).

В будущем Чернышевский предвидел и для Запада, и для России безусловное торжество «нового начала» — социализма. Но если путь грядущего экономического переустройства — необходимость замены принципа «соперничества» принципом «ассоциации» — был для Чернышевского совершенно ясен, то не вполне ясным оставался для него важнейший вопрос о грядущей эволюции государственности.

Будучи утопическим социалистом, не поднявшись до научной теории классовой борьбы, Чернышевский не смог открыть и принципиально новой формы государственной власти. Оставалось при оценке «характера исторического прогресса» подчеркивать взаимозависимость разных сфер общественной жизни («политическая власть, материальное благосостояние и образованность — все эти три вещи соединены неразрывно». — *Ч., VII, 97*); оставалось делать выбор между наличными государственными формами, и этот выбор он, естественно, делал в пользу представительного, особенно республиканского правления, как дающего возможность совершить в данных условиях максимум исторической работы, делал при ясном понимании того, что и здесь «значительные реформы могут быть проводимы только настоятельным требованием публики», что «только серьезный гнев ее может побеждать сопротивление враждебных общественному благу интересов» (*Ч., VIII, 72*).

«Сицилийские и неаполитанские дела»

Социологические выводы Чернышевского, тактические его установки, изложенные в обзорах «Политика», были результатом обобщения исторического опыта развития буржуазной Европы за громадный промежуток времени — десятилетия и даже столетия. Но не будем забывать того, что посвящались обзоры в основном рассмотрению текущих событий европейской истории. Прекрасное знание прошлого помогало Чернышевскому-политику разбираться в настоящем, делать глубокие прогнозы. Тщательные наблюдения над настоящим позволяли Чернышевскому еще раз подтверждать, дополнять, уточнять, там где надо, уроки прошлого. Особо поучительным событием стало в 1859—1860 гг. объединение Италии, давшее обильный материал для выяснения значения револю-

ционной борьбы, роли народных масс и их вождей в национально-освободительных движениях, предупредившее об определенных опасностях союза «между модерантстами и революционерами».

Еще в середине 1859 г., почти за год до похода знаменитой «тысячи» по югу Италии, Чернышевский стал внимательно приглядываться к действиям отряда Гарибальди в войне Франции и Пьемонта⁷ с Австрией. «Мы считаем действия волонтеров Гарибальди, — писал он, — заслуживающими самого точного изучения не по одному только уважению к этим истинно благородным людям, жертвующим собою не из видов честолюбия, не по личным расчетам, действительно по искреннему желанию освобождения отечества, а не чего-нибудь другого, — нет, их судьба приковывает к себе наше заботливое внимание и потому, что только их сила могла бы служить неизменною опорой для независимости Италии... История отряда Гарибальди составляет не только самую чистую, но и самую важную для сущности дела часть похода... Дивная энергия, высказанная волонтерами Гарибальди, была выражением народных сил Италии» (*Ч., VI, 261—262, 326*).

Предвидения Чернышевского о существенном значении действий Гарибальди для дела национального объединения Италии подтвердились в самом скором времени. После того как окончилась мизерными результатами война Франции и Пьемонта с Австрией, маневры премьер-министра Пьемонта Кавура, который думал «достигнуть упрочения итальянской национальности не силами самого итальянского народа, а помощью союзов и дипломатических тонкостей» (*Ч., VI, 456*), дело объединения страны взял в свои руки Гарибальди. «Сказочные успехи» его волонтеров в Сицилии, затем на Итальянском континенте (*Ч., VIII, 281*), развал стотысячной армии неаполитанского короля Франциска II в корне изменили всю ситуацию в Италии, создали предпосылки не просто для очередного расширения владений царствующей в Пьемонте Савойской династии (далее чего не шли устремления Кавура), но и для действительного объеди-

⁷ Пьемонт составлял в 1815—1859 гг. основу так называемого Сардинского королевства. Войска и правительство Пьемонта Чернышевский часто называл сардинскими.

нения почти всей страны. Чернышевский умело доводит до читателя «Современника» мысль о том, что именно действия гарибальдийцев лежали в основе всех успехов итальянского объединительного движения: «Действительно, успехи Гарибальди заставили умеренных решиться на то, что провозглашали они невозможным не дальше, как полгода тому назад, — решиться на отважное соединение Южной Италии с Северной, на провозглашение намерения иметь Рим столицей Итальянского королевства» (Ч., VIII, 318). Давал Чернышевский в своих обзорах и совершенно точное определение сущности действий гарибальдийцев: «Софисты могут маскировать факты, но в настоящем случае факты так резки, что нельзя замаскировать их. В Сицилии, в Неаполе, в большей части папских областей произошла перемена коренных учреждений. Как произошла она? Насильственным образом, — вторжением вооруженных людей, восстанием. Как называется перемена коренных учреждений, производимая путем насилия? Она называется революцией. Как называются люди, идущие к целям, требующим революции для своего достижения? Они называются революционерами» (Ч., VIII, 308).

Самым внимательным образом изучал автор обзоров «Политика» успехи, способы действий итальянских революционеров: ведь они могли в недалеком будущем послужить образцом для революционеров его собственной страны. Он воспроизводит подробнейшие письма корреспондента «Times», находившегося при штабе Гарибальди, делает сам важные наблюдения и обобщения. Так, в обзорах «Политика» было отмечено искусство Гарибальди «хранить свои планы и движения в непроницаемой для врагов тайне»; его умение наносить удары в самых неожиданных для противника местах, его стремление к непрерывному наступлению, наращиванию успехов, его забота о развитии самостоятельности и инициативы у подчиненных. Действия волонтеров Гарибальди на Итальянском материке дали, в частности, Чернышевскому материал для решения «общего вопроса о боевой годности милиций против регулярных войск», они показали, что «волонтеры могут выигрывать правильные сражения против регулярных войск», «Гарибальди показал себя полководцем, умеющим командовать в больших правильных сражениях» (Ч., VIII, 295—296).

И все же, хотя именно революционные действия гарибальдийцев привели к объединению страны, сам Гарибальди и его сподвижники не смогли закрепить свои же собственные успехи. Основной причиной их слабости Чернышевский считал неспособность Гарибальди поднять на борьбу действительно широкие массы: «Он со всею радикальною партией горько ошибся в мысли найти или возбудить между неаполитанцами сознание их сил»; не последнюю роль, добавим мы, сыграло при этом нежелание Гарибальди принять в свою программу «аграрные перевороты», о чем, как о необходимом условии победы реформаторов, Чернышевский писал еще в 1859 г. «Первый акт этой истории мы уже открывали читателю, — пишет Чернышевский, — когда говорили о малочисленности волонтеров, данных Гарибальди Сицилии. . . Три или четыре тысячи человек — вот все силы, выставленные Сицилиею для продолжения борьбы за Сицилию. Точно в таком же роде продолжалось дело на неаполитанском материке: население встречало Гарибальди с радостью, целовало его ноги, целовало руки его спутников, плакало и кричало. Но не бралось за оружие или только играло оружием. На игру оружием находились десятки тысяч людей, играли и расходились по домам, а сражаться вместе с Гарибальди шли только сотни. . . Велик ли оказался осадок действительной военной силы из этого безмерного брожения? У Гарибальди под Капуею было от 15 до 18 тысяч человек волонтеров; из них от 8 до 10 тысяч были волонтерами Северной Италии; 7 или 8 тысяч человек — вот все силы, выставленные в течение нескольких недель всею Южною Италиею на поддержку ее собственного дела. . . Это — факт, способный охладить самые горячие головы. 7 или 8 тысяч воинов из населения в 10 миллионов! Объясняйте, как хотите; никакими объяснениями не сгладите этого факта» (Ч., VIII, 311—312).

Результатом было «падение дальнейших планов радикальной партии» (Ч., VIII, 313), было то, что плодами ее успехов воспользовалась либеральная партия во главе с Кавуром. Детальнейшим образом рассматривает Чернышевский в своих обзорах противоборство линий Кавура и Гарибальди в итальянском освободительном движении. Союз «между модерантистами и революционерами» на какое-то время действительно осуществился в Ита-

лни, но его плодами не довелось воспользоваться революционерам. На самом начальном этапе борьбы отряд Гарибальди принял участие в войне Франции и Пьемонта с Австрией в составе пьемонтской (сардинской) армии. Почувствовав неспособность Кавура по-настоящему решить вопрос объединения страны, Гарибальди подает в отставку, делает расчет на самостоятельные действия волонтеров. Кавур в это время чинит всяческие препятствия экспедиции Гарибальди: «...все сборы производились не только без содействия сардинского правительства, а против его воли, наперекор всевозможным препятствиям, какие только мог поставить этому делу Кавур» (Ч., VIII, 130). Но как только Гарибальди достиг первых блистательных успехов, Кавур резко изменил образ действий. «Он понял наконец, что единственное средство бороться с Гарибальди и радикалами, представителем которых служит Гарибальди, состоит в том, чтобы самому приняться за дело, дающее им власть над нацией. . . . Чтобы удержать власть, Кавуру надобно было самому стать во главе движения, и он сделал это» (Ч., VIII, 292). Отсюда и его попытки прибрать к своим рукам Неаполь еще до вступления в город волонтеров Гарибальди, отсюда и его прямое вмешательство в войну: «Когда Гарибальди вступил в Неаполь, сардинские войска уже переходили границу папских владений. Кавур очень расчетливо и искусно устроил этот поход. . . . Эффект был подготовлен великолепно. . . .» (Ч., VIII, 317). Присоединение Неаполя и Сицилии к североитальянскому государству пьемонтского короля Виктора-Эммануила II было осуществлено уже одним Кавуром, Гарибальди был попросту отстранен от дел. «Зато победители его и радикалов, умеренные, — добавляет Чернышевский, — принуждены были принять программу побежденных» (Ч., VIII, 318).

Такой ход дела представлялся Чернышевскому в какой-то мере закономерным для этапа буржуазных революционных движений, привлекавших на свою сторону пока еще ненадолго и пока еще незначительные силы масс. «Люди крайних мнений, — писал он в 1861 г. в статье «Кавур», — должны знать, что они работают не в свою пользу. Их деятельность не остается без результата, — напротив, только именно от нее и происходит результат: общество несколько подвигается назад усилиями реакционеров, когда обстоятельства благоприят-

ствуют им; а вообще оно подвигается вперед усилиями решительных прогрессистов. Но работают и те и другие одинаково в пользу умеренной партии. Фердинанд неаполитанский и Антонелли, а на противоположном конце Гарибальди и Маццини одинаково трудились в пользу Кавура, потому что масса общества не расположена идти далеко ни по какому направлению: она рада остановиться подле тех, которые в дурном ли, в хорошем ли одинаково говорят: «остановимся: мы уже далеко ушли; отдохнем, успокоимся»» (Ч., VII, 671).

Таким образом, опыт современных Чернышевскому национально-освободительных движений, с одной стороны, подтверждал его выводы о революциях как подлинной движущей силе прогресса, с другой стороны, тот же опыт показывал неспособность революционеров закрепить в свою пользу результаты революционной борьбы, показывал пока все еще слабую связь их с массами.

«От Москвы до Лейпцига»

Рассказывая о «школе политики», открытой «Современником» в 1859 г., мы пока еще не упоминали имени Н. А. Добролюбова. Умолчание в какой-то мере было оправдано: в силу разделения труда в редакции журнала почти вся работа в критико-библиографическом отделе легла с конца 1857 г. на Добролюбова, сюжетами социально-экономическими и собственно политическими занимался Чернышевский. Но сказанное не означает, что Добролюбов замыкался областью эстетики. Именно в 1859—1860 гг. Добролюбов сформулировал основной принцип «реальной критики», состоявший в том, чтобы переходить в ходе эстетического анализа от разбора образов художественного произведения к разбору явлений самой жизни, к разъяснению «тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение» (Д., VI, 99). Применение этого принципа в анализе произведений Гончарова, Островского, Тургенева дало блистательный результат. Критик поднялся до ярчайших социально-политических обобщений, снятые с художественных произведений определения, такие, как «темное царство», «обломовщина», «внутренние враги», стали символом самодержавной России с ее мертвящим произволом и беззаконием, забитостью громадных масс

населения и бессилем «образованного общества», с ее устрашающим механизмом репрессий, подавлявшим всякий живой общественный протест.

Совершал Добролюбов и прямые выходы в политику, когда для этого представлялся повод. В статьях «Непостижимая странность», «Из Турина», «Два графа», «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» и других (написаны уже после отъезда Добролюбова на лечение за границу в мае 1860 г.) исследовались причины первоначальных успехов и последующих поражений движения гарибальдийцев, выявлялась «непостижимая» способность, казалось бы, совершенно забитого народа подниматься на революционную борьбу, раскрывался антинародный характер политики либералов, больше всего боявшихся «беспорядков», потрясения «основ».

Но особой масштабностью, безусловно, отличалась написанная Добролюбовым еще в России статья «От Москвы до Лейпцига» (опубликована в «Современнике» № 11 за 1859 г.).

Разговор о том, идти ли России по пути Запада, начатый в рецензируемых Добролюбовым одноименных путевых очерках И. К. Бабста, Добролюбов переводит в план самых широких социологических обобщений. Мысль Чернышевского о сложности, противоречивости, зигзагообразности прогресса принимается и следующим образом разъясняется Добролюбовым: «Нам кажется, что совершенно логического, правильного, прямолинейного движения не может совершать ни один народ при том направлении истории человечества, с которым она является перед нами с тех пор, как мы ее только знаем... Ошибки, уклонения, перерывы необходимы. Уклонения эти обуславливаются тем, что история делается и всегда делалась не мыслителями и всеми людьми сообща, а некоторою лишь частью общества, далеко не удовлетворявшею требованиям высшей справедливости и разумности. Оттого всегда и у всех народов прогресс имел характер частный, а не всеобщий». Определенная идеалистическая ограниченность этих обобщений неоспорима, основой прогресса считаются «требования высшей справедливости и разумности». Но далее Добролюбов делает решительный шаг к выявлению классовых пружин событий. Описывая, как «круг, захваченный благодеяниями прогресса», все же постепенно расширялся и задел «окраину

парода», «мещан», Добролюбов раскрывает буржуазный характер этого этапа истории, фиксирует он и назревание антагонизма работника и буржуа, ввиду чего борьба буржуазии против феодализма приобретает характер половинчатости. «Самая борьба городов с феодализмом, — пишет критик, — была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться пред тою и другою стороною разница между буржуазией и работником». Отсюда — незавершенность самих буржуазных преобразований: «остатки феодализма и принципы его — произвол, насилие и грабеж — до сих пор еще не совсем искоренены в Западной Европе»; отсюда — сохранение двойного гнета над рабочим народом: «И вышло, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей Западной Европе, и мещанского сословия, захватившего в свои руки всю промышленную область» (Д., V, 458, 459, 466, 467).

Добролюбов предвидит наступление в Европе новой фазы борьбы, в которой едва ли помогут либеральные полумеры: «И теперь в рабочих классах накапливается новое недовольство, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней... Спасут ли Европу от этой борьбы гласность, образованность и прочие блага, восхваляемые г. Бабстом, за это едва ли кто может поручиться... Призовите на помощь историка: где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вынужденные практическими требованиями народа?» (Д., V, 459, 462).

Что касается России, то ей предстоит безусловное повторение пройденных Европой этапов развития и одновременно более быстрое их прохождение: «Да, счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни... Что и мы должны пройти тем же путем, — это несомненно и даже несколько не прискорбно для нас... Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и отклонений, — в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен, все-таки наше гражданское развитие может несколько скорее перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное — мы можем и должны идти решительнее и тверже,

потому что мы уже вооружены опытом и знанием...» (Д., V, 470).

Как и Чернышевский, Добролюбов не сводил будущую революцию, борьбу за претворение идеала социализма к простому одноактному действию. «Надо испробовать несколько раз свои силы, — писал он в статье «Когда же придет настоящий день?», — испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия, — для того чтобы приобрести отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу» (Д., VI, 107—108).

Буржуазные авторы о «реформизме» Н. Г. Чернышевского

Выше мы подробно разобрали тот период деятельности Чернышевского (1858—1859 гг.), который буржуазные исследователи относят ко времени его «надежд на верхи», его «либеральных колебаний». Мы видели, что накануне «либерального» поворота в правительственной политике (царские рескрипты ноября—декабря 1857 г.) Чернышевский внушал читателям мысль о том, что абсолютизм — система, неспособная без крупных общественных потрясений к коренному реформированию феодального строя. Мы установили основной факт: участие Чернышевского в обсуждении условий реформ «сверху», тактика прощупывания и подталкивания «верхов» отнюдь не снимала для него главной задачи революционного просвещения демократического читателя, углубления и расширения общественного недовольства, перевода этого недовольства в русло прямой борьбы с самодержавием, и как раз бессилие правительственного реформаторства было лучшим аргументом в пользу этой революционной позиции.

Следует отметить, что понимание «либеральной тактики» Чернышевского как временной и вынужденной обстоятельствами тактики революционера, тактики, отнюдь не снимающей задачи подготовки революции, а подчиненной этой задаче, встречается порой и на страницах новейших буржуазных исследований, соседствуя с давним утверждением о либеральных надеждах Чернышевского на «верхи».

Тот же упомянутый нами во введении Фр. Б. Рэнделл, который описывал «энтузиазм» Чернышевского по поводу царских рескриптов и упрекал советских историков в замалчивании «прегрешений против революционной чистоты» Чернышевского, сообщает о его «либеральной тактике» и нечто прямо противоположное. Отметив, что подлинным желанием Чернышевского была передача крестьянам всей пахотной земли без какой-либо компенсации, что тем самым он желал смести все дворянство и всю самодержавную систему, Рэнделл добавляет: «Но осуществления этого он не мог ожидать от царя; таким образом, он был склонен публично настаивать на целой серии чуть менее радикальных принципов аграрной реформы под видом рекомендаций для правительства не в надежде переубедить режим, но для того чтобы воспитать революционное общественное мнение, которое могло бы позднее склонить режим перед своей волей»⁸.

В книге У. Ф. Вёрлина мы не встретим столь ясных заявлений. Упомянув о «давно существующих расхождении в взглядах насчет степени той серьезности, с которой Чернышевский надеялся на улучшение положения крестьянства путем реформы сверху» (согласно одному взгляду, «Чернышевский работал с надеждой и конструктивно ради этой цели и занял революционную позицию только после того, как реформа в ее окончательном варианте оказалась полностью неприемлемой», согласно другому, «крайнему» взгляду, он сохранял «революционную чистоту» и полностью отвергал то, что советские авторы именуют «либеральными иллюзиями»), сам Вёрлин пытается защищать какой-то новый промежуточный вариант: «В годы, предшествовавшие аресту, Чернышевский проповедовал социалистические теории, которые никогда не могли быть приняты существующим обществом. В то же самое время по другим злободневным вопросам он предпочитал делать выбор между реалистическими альтернативами в пользу тех, которые он рассматривал как наиболее благоприятные при существующих обстоятельствах. Тем самым он вовсе не склонялся к одобрению той системы в России, которая эти обстоятельства создала, его действия не обязательно указывают на высокую

⁸ *Fr. B. Randell. N. G. Chernyshevskii. New York, 1967, p. 91.*

степень веры в то, что улучшение наступит. Скорее он просто демонстрировал во многих случаях свое сильное чувство ответственности перед простым народом, которому он желал служить поисками частичных улучшений наряду с выдвижением всеобъемлющих решений. Его грандиозная попытка повлиять на условия решения земельного вопроса для освобождаемых крепостных является лучшим тому доказательством»⁹.

Но приписанная Чернышевскому установка — «поиски частичных улучшений наряду с выдвижением всеобъемлющих решений» — не раскрывает всей сложности проблемы соотношения реформы и революции как в общетеоретическом, так и узкотактическом плане, не отражает всей глубины и диалектичности ее решения Чернышевским. Для буржуазных историков понятия «революция», «революционность» абсолютно противостоят понятиям «реформа», «постепенность»; при этом «революционность» сводится только и единственно к непосредственной пропаганде насильственного переворота «снизу» вне зависимости от того, созрели ли для этого условия, и вообще исключает какое-либо участие в реформах «сверху», участие хотя бы временное, хотя бы направленное на выявление и разоблачение антинародной сути реформ, на постепенное просвещение и радикализацию общественного мнения. Но в условиях неразвитости демократических сил (и ради их развития) революционер, отнюдь не переставая быть революционером, мог принимать участие в обсуждении условий реформы, ставя целью уяснение себе и другим меры правительственного «либерализма», ставя целью использовать более чем вероятную неудачу правительственного реформаторства для углубления общественного недовольства, для постепенной подготовки других, более действенных форм борьбы.

Именно такую позицию занимал в 1858—1859 гг. Чернышевский. Зная по прошлому опыту Европы, что серьезные преобразования «сверху» невозможны без коренного потрясения самодержавной системы, знакомя с этой истиной русского читателя, Чернышевский тем не менее идет на повторную проверку этой истины в условиях начавшегося кризиса «верхов» в России. Его позиция ли-

⁹ W. F. Woehrlin. Chernyshevskii. The Man and the Journalist. Cambridge (Mass.), 1971, p. 189—190.

шена тени априоризма. Насколько поколеблен Крымской войной самодержавный строй, насколько глубоким и устойчивым окажется расхождение правительства с «партией плантаторов», сколь быстро разовьется в стране не только либеральная, но и демократическая оппозиция — все эти вопросы нельзя было решить заранее, ответ на них могла дать только сама жизнь. В 1858—1859 гг. Чернышевский борется — и в этом нет никакого нарушения им «революционной чистоты» — за то, чтобы в максимальной степени обеспечить интересы крестьян в рамках проводимой «сверху» либеральной реформы. Он выступает за освобождение крестьян с надельной землей при минимальном размере выкупа, за участие «всей нации» (Ч., V, 521) в выкупных платежах, за сохранение общины вовсе не потому, что считает реформу «сверху» лучшим или единственным путем реформирования страны (это и есть либеральная позиция в отличие от революционной), а потому, что иной путь был пока закрыт для России. И, сознавая при этом, что попытки оградить интересы крестьян на путях правительственного реформаторства практически почти исключены, он использует банкротство правительственного «либерализма» для расшатывания основ самодержавного строя в России, для пробуждения общественного возмущения в стране, для подготовки революционного пути решения крестьянского вопроса.

Что самое важное — такая позиция лучше всего помогала разрушению либеральных иллюзий у прогрессивного молодого поколения конца 50-х годов XIX в., у людей, выведенных в «Прологе» в образах Соколовского и Нивельзина. К концу 1859 г. это поколение уже не удовлетворяет ни кавелинский, ни катковский либерализм, ни даже лишенная четкости двойственная позиция «Колокола». ««Современнику» отдаю полное предпочтение перед «Русск[им] вестником», говоря, собственно, о политике; Чернышевского ставлю положительно во главе наших публицистов. То же решение, какое принял я, от души рекомендую и Вам» — эти слова из письма Н. А. Серно-Соловьевича Н. С. Кашкину (ноябрь 1859 г.) отражают настроение этой части русской молодежи¹⁰.

¹⁰ Н. А. Серно-Соловьевич. Публицистика. Письма. М., 1963, стр. 250

«Не начало ли перемены!»

Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, по-видимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов.

В. И. Ленин

Царская реформа или крестьянская революция!

Поляризацию политических сил в России конца 50-х — самого начала 60-х годов XIX в., намечавшееся уже тогда расхождение и борьбу между либералами и демократами можно выявлять по самым разнообразным источникам: по переписке деятелей тех лет¹, по той полемике, которую вели между собой русские журналы, по воспоминаниям современников. Мы попытаемся сделать это по публикациям «Колокола», на его неподвластных царской цензуре страницах идеологи различных направлений открыто провозглашали то, что в форме иносказаний, намеков высказывалось ими на страницах русских подцензурных журналов.

Систематическое — из номера в номер — разоблачение непоследовательности правительственного либерализма, протесты корреспондентов «Колокола» против «измены» Александра II делу освобождения крестьян (а они доходили порой, как это было с «Письмом к редактору», опубликованным Герценом 1 октября 1858 г., до прямых призывов к революционному действию: «заострите топоры, да за дело — отменяйте крепостное право, по словам

¹ См., например, «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева А. Ив. Герцену». Женева, 1892.

царя, снизу!»²) — все это вызывало резко негативную реакцию либеральных читателей в России.

С другой стороны, либеральные колебания Герцена, его обращения к царю, определенная узость выставленной им программы, не выходящей за рамки трех основных пунктов: освобождение крестьян, уничтожение удушательной опеки чиновничества, гласность безотносительно к тому, кто эти лозунги проведет («будет ли это освобождение «сверху или снизу», мы будем за него!»), отдельные выступления Герцена против проповеди насильственных действий («мы перестали любить террор, в чем бы он ни был и какая бы цель его ни была») (*Г.*, *XIII*, 363; *XIII*, 294), — все это вызывало и критику слева, со стороны публицистов демократического лагеря.

К 1858—1859 гг. относятся и прямые попытки подействовать на Герцена путем личных переговоров; поездка Чичерина в Лондон в октябре 1858 г. и поездка Чернышевского в Лондон в июне 1859 г. были эпизодами все той же борьбы за «Колокол», который каждое из расходящихся направлений — либеральное и демократическое — пыталось перетянуть полностью на свою сторону. Оселком, на котором выявлялись разногласия, была уже в эти годы идея крестьянской революции; ее с негодованием отвергали либералы, ее все решительнее выдвигали демократы, ее пока не принимали Герцен и Огарев, все еще верившие в возможность радикальной царской реформы в России.

В статье «Нас упрекают», опубликованной в «Колоколе» 1 ноября 1858 г., Герцен, между прочим, писал:

«Нас упрекают либеральные консерваторы в том, что мы слишком нападаем на правительство, выражаемся резко, бранимся крупно.

Нас упрекают свирепо красные демократы в том, что мы мирволим Александру II, хвалим его, когда он делает что-нибудь хорошее, и верим, что он хочет освобождения крестьян».

Любопытна в этой статье и характеристика «промежуточной» позиции «Колокола», вызывавшей критику с разных сторон: «Шаткость в правительстве отразилась в наших статьях. Мы, следуя за ним, терялись и, откровенно досадуя на себя, не скрывали этого. . . Ринутые в

² «Колокол», л. 25, 1 октября 1858 г., стр. 205.

современное движение России, мы носимся с ним по переменному ветру, дующему с Невы» (Г., XIII, 361, 362).

Далеко не все протесты, поступавшие к нему, Герцен публиковал на страницах «Колокола». Но в номере «Колокола» от 1 декабря 1858 г. он сделал исключение для «Обвинительного акта» Б. Н. Чичерина; этот акт как бы подвел итог результатам той встречи между ними, которая имела место в октябре.

Обвиняя Герцена в том, что им владеет необузданная страсть, а не «познающий и созидающий разум», Чичерин обращался к нему с призывом к «обдуманности», к «политическому смыслу, политическому такту, который знает меру и угадывает пору», к исполнению лежащей на каждом общественном деятеле обязанности «успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку». «Вспомните еще раз, в какую эпоху мы живем! — восклицал Чичерин. — У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. . . Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой! . . . В такую пору нужно не раздувать пламя, не растрavлять язвы, а успокаивать раздражение умов, чтобы вернее достигнуть цели».

Либерала Чичерина пугало безразличие Герцена к средствам освобождения народа («Вам во что бы ни стало нужна цель, а каким путем она достигнется — безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для вас вопрос второстепенный»), безразличие, допуславшее публикацию в «Колоколе» призывов к «топору»: «Вы открываете страницы своего журнала безумным воззваниям к дикой силе. . . Представьте себе, что в недрах нашего отечества завелось бы несколько Колоколов, которые бы все в разные голоса стали звонить по вашему примеру, которые бы наперерыв стали раздувать пламя, разжигать страсти, взывать к палке и топору для осуществления своих желаний? Что будет правительство делать с таким обществом? К чему может повести разгар общественных страстей, как не к самому жестокому деспотизму?»

По сути дела только одна «обличительная» сторона деятельности Герцена вызвала одобрение Чичерина. «За-

сим — так кончался его «Обвинительный акт» — всякий охотно признает за вами существенную заслугу — раскрытие злоупотреблений. . . С этой стороны, повторяю, вы имеете право на благодарность всех и каждого, каково бы ни было различие политических направлений»³.

Насчет «благодарности всех и каждого» Чичерин явно ошибался. «Раскрытие злоупотреблений», которое казалось громадной заслугой русскому либералу, как раз на переломе 1859 г. окончательно перестало удовлетворять русских демократов. Конфликт по этому поводу вспыхнул между «Колоколом» и «Современником» в середине 1859 г.

Конкретным поводом к появлению известной статьи Герцена «*Very dangerous!!!*» послужил ряд обстоятельств⁴. Герцена возмутили саркастические замечания Чернышевского по адресу итальянских «прогрессистов» Поэрио и его товарищей, призванных королем Неаполя Фердинандом II к власти во время революции 1848 г. и подвергнутых десятилетнему заточению в тюрьме после подавления этой революции (по мнению Чернышевского, не король, а «они сами были виноваты в том, чему подверглись») (Ч., VI, 154). Возмущение Герцена вызвало и отрицание в статьях «Современника» заслуг дворянской интеллигенции, нигилистическая трактовка образов «лишних людей» (это отрицание с особой силой выразилось к моменту появления «*Very dangerous!!!*» в статье Добролюбова «Что такое обломовщина», где критик отнес к обломовцам, бегущим от «настоящего дела», и Онегина, и Печорина, и Рудина). Но особое негодование Герцена вызвали резкие нападки Добролюбова на обличительную литературу в статье «Литературные мелочи прошлого года»: критик хотя и делал явные реверансы в сторону Герцена и Огарева, которые «доселе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людьми будущего», но при этом всячески подрывал уважение «молодого поколения» к «старым авторитетам», «зрелым мудрецам». Он учил не верить «прошедшим заслугам» тех

³ «Колокол», л. 29, 1 декабря 1858 г., стр. 236—239.

⁴ Подробнее о них см.: Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, стр. 606—637; Т. И. Усакина. Статья Герцена «*Very dangerous!!!*» и полемика вокруг «обличительной литературы» в журналистике 1857—1859 гг. — «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1960, стр. 246—270.

лиц, «которые ныне таким комическим образом умеют тратить столько благородного жара на всякие мелочи»; он издевался над «мизерным характером, обнаруженным литературой в последнее время», он насмехался над бессилием «почтенных и умных фразеров», которые никчемными советами собирались лечить болезни русского общества, он утверждал, что литература «не имеет ни малейшего права приписывать себе инициативы ни в одном из современных общественных вопросов» (Д., IV, 54, 55, 57, 59, 64, 65, 72, 87).

Герцен был необыкновенно резок в полемике, а в конце «Very dangerous!!!» обвинил «Современник» чуть ли не в прямом предательстве. «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею!» (Г., XIV, 121).

Это выступление «Колокола» против «Современника» как будто касалось прежде всего вопросов литературных. Но по сути дела за «литературными» и прочими «мелочами» стояла все та же дилемма: радикальная царская реформа или крестьянская революция?

Начав уже с 1857 г. борьбу с бездейственностью, безволием, отрывом теории от практики, приступив к воспитанию «натур деятельных», «самоотверженных деятелей», Добролюбов от статьи к статье («О значении авторитета в воспитании», «Губернские очерки» и др.) усиливал линию разоблачения «пустозвонства» мелочных либеральных обличений, прямо противопоставляя бессилию «восторженных разговоров... наших доморощенных прогрессистов» «самобытную деятельность» самих народных масс, которые хотя и медленно поднимаются до осознания новых идей, но зато умеют претворить их в «дело» (Д., II, 124, 139, 146). По существу призывом к революционному слову, а главное, «к деятельности широкой и самобытной» заканчивались и «Литературные мелочи прошлого года» (Д., IV, 112).

Политическая подоплека лежала и под той или иной трактовкой литературных образов «лишних людей», речь по существу шла о том, исчерпаны (мнение Добролюбова) или не исчерпаны (мнение Герцена) потенции дворянских революционеров, о том, искать или не искать «молодому поколению», поколению разночинцев, подни-

мавшемуся на арену общественной борьбы, союза со «старым поколением», поколением дворянских революционеров.

Даже незначительный эпизод с оценкой Поэрио имел прямое отношение к интересующей нас проблеме. Пока не сломлена абсолютистская система, подсказывал своими насмешками над Поэрио Чернышевский, ждать толку от тех или иных царских назначений и обещаний наивно, от них монарх откажется при первом же удобном случае. «Он вообразил, что становится английским министром, — писал Чернышевский о непростительном образе действий Поэрио, — тогда как он был в Неаполе» (Ч., VI, 187).

Итак, отрицание всей самодержавной системы или действия в ее рамках, «докапывание» до корня зла или «выметание» частных зол, революция крестьянская или радикальная царская реформа — в этом была суть расхождений «Современника» и «Колокола» в середине 1859 г., и эту суть сразу же схватил Добролюбов в момент получения известий о статье «Very dangerous!!!». «Однако хороши наши передовые люди! — записал он в дневнике, узнав от Некрасова о том, что Искандер в «Колоколе» напечатал статью против «Современника» за то, что в нем предается поруганию «священное имя гласности». — Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности!..» (Д., VIII, 569—570).

Поездка Чернышевского в Лондон лишь несколько смягчила остроту конфликта, но не ликвидировала его. Известный отзыв Чернышевского о Герцене (из письма Н. А. Добролюбову из Лондона) свидетельствует о глубине противоречий: «Кавелин в квадрате — вот Вам все» (Ч., XIV, 379)⁵. По воспоминаниям С. Г. Стахевича, отбывавшего вместе с Н. Г. Чернышевским ссылку на Александровском заводе, воспроизводится (правда, односторонне) содержание переговоров Чернышевского с Герце-

⁵ Попытка перевести этот отзыв из плана политического в план чисто личных отношений, приписать его влиянию «барских» черт Герцена, «раздражавших» Чернышевского (А. Е. Кошовецко. К вопросу о лондонской встрече Н. Г. Чернышевского с А. И. Герценом в 1859 г. и формуле «Кавелин в квадрате». — «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». М., 1960, стр. 271—282), не представляется нам убедительной.

ном: «Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола». Если бы, говоря ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно отблагодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в уезде в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем, конституционную, или республиканскую, или социалистическую; и затем всякое обличение явилось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое: *ceterum censeo Carthaginem delendam esse* («кроме того, я думаю, что Карфаген необходимо разрушить» (лат. — Авт.))⁶.

Хотя в «Колоколе» от 1 августа 1859 г. и появилось извинение Искандера насчет неудачной формы статьи «*Very dangerous!!!*» («Нам бы чрезвычайно было больно, если б ирония, употребленная нами, была принята за оскорбительный намек»), кончалось оно по сути дела утверждением правоты той же статьи по существу, пожеланием, «чтоб наш совет обратил на себя внимание» (Г., XIV, 138). Не подверглась никаким существенным изменениям после лондонской встречи Чернышевского и Герцена и общая «обличительная» линия «Колокола». И не удивительно, что уже 1 марта 1860 г. Герцену пришлось напечатать возражение «слева», «Письмо из провинции» — знаменитое *scdco* русской революционной демократии. Автор письма, скрывшийся за псевдонимом «Русский Человек», продолжил и довел до логического конца линию «Современника».

«...Все, что есть живого и честного в России с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия, — писал он Герцену, — и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнажите всю гнусность верноподданнического раболепия; и что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге. . . По всему вид-

⁶ «Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II. Саратов, 1959, стр. 90—91.

но, что о России настоящей вы имеете ложное понятие, помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками. . .»

По мнению автора письма, открытый деспотизм Николая I был лучше показного либерализма Александра II; последний, внушая несбыточные надежды, раскалывал ряды людей, боровшихся за народную свободу: «Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом; а теперь это возможно и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, обширном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. . . В большей части губернских комитетов положили страшные цены за земли, центральный комитет делает черт знает что, сего дня решает отпустить с землю, завтра без земли, даже кажется не совсем брошена мысль о переходном состоянии. . . Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедают в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще». Далее автор письма делал еще одну попытку отделить искренних сторонников прогресса, все еще увлекавшихся либерализмом, от либералов, «проникнутых презрением к народу»: «Но об этих господах толковать нечего, есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и, с пылкими надеждами увлеченные в общий водоворот умеренности, ждут всего от правительства и дождутся, когда их Александр засадит в крепость за пылкие надежды. . . Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте. . .»

Кончалось письмо страстным призывом к Герцену: «Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и она

удивительно верно, другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей, не вам ее поддерживать»⁷.

Герцен в обширном предисловии к «Письму из провинции», признав в авторе одного из своих друзей, с которыми он расходился «не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе действия», представителя «одного из крайних выражений нашего направления», пока еще откажется следовать его призывам к насильственной развязке. «Но к топору, к этому *ultima ratio* (крайнему доводу. — *Авт.*) притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора», «К метлам надобно кричать, а не к топорам!» В России, развивал он свою мысль, вообще некого вырубать топором: императорство находится здесь в осадном положении, которое является вместе с тем «постоянной реформой», у дворянства одна дорога — «идти дальше самого правительства в освобождении крестьян с землей», кроме того, не выяснен основной вопрос об общине, а с «полемикой в основном вопросе нельзя идти на площадь» и т. д. (*Г.*, XIV, 238—244).

Пройдет еще год, и «Колокол» пойдет на решительное сближение с «Современником», примет программу решительных революционных действий. Решит спор — в пользу Чернышевского и Добролюбова — сама жизнь: объявление царского Манифеста 19 февраля 1861 г. и последовавшие за этим события.

⁷ «Колокол», л. 64, 1 марта 1860 г., стр. 533—535.

В нашей исследовательской литературе общепризнан тот факт, что письмо «Русского Человека» вышло из круга «Современника». Вопрос об авторстве Чернышевского или Добролюбова остается открытым (см. обзор литературы в собр. соч. в 30-ти томах А. И. Герцена, т. XIV, стр. 541—542). В пользу авторства Добролюбова говорит, на наш взгляд, то, что в его статьях того времени «Народное дело», «Когда же придет настоящий день» и других идея непосредственно предстоящего революционного действия народных масс выступала безоговорочнее, чем в более осторожных прогнозах Чернышевского. Явный скептицизм Волгина (Чернышевского) противопоставлен более оптимистической позиции Левицкого (Добролюбова) и в «Прологе» Н. Г. Чернышевского.

Мы не случайно перестали следить за последними этапами прохождения крестьянского вопроса по «высшим инстанциям»⁸: антинародный характер предстоящей реформы стал ясен революционным демократам во главе с Чернышевским задолго до подписания высочайшего Манифеста 19 февраля 1861 г. Уже с зимы 1859/60 г. «Современник» полностью устраняется от всякого участия в «опостылом деле», пользуясь тем правом, которое не мог отнять у оппозиционных деятелей, борцов с самодержавным деспотизмом, ни один из русских царей — «правом молчания» (Г., XIV, 26).

Выработка и проведение в жизнь Манифеста 19 февраля и разъясняющих его «Положений», означавшие определенный шаг в буржуазном реформировании страны, выявили вместе с тем бессилие самодержавия «распутать отношения, созданные веками», дать действительный простор развитию новых буржуазных отношений в стране. Смысл громаднейшего канцелярского документа, рожденного в недрах Редакционных комиссий, был с достаточной ясностью проявлен последующим практическим проведением реформы: превращение бывшего крепостного крестьянина в «свободного сельского обывателя» было обставлено так, что затянулось на долгие годы и десятилетия (переход с феодальных повинностей на выкуп занял 20 лет), размер выкупа в полтора-два раза превышал ту стоимость земли, которая отводилась крестьянину в виде надела, от этого нищенского надела отрезалась солидная часть в пользу помещика, над органами крестьянского сельского и волостного «самоуправления» по-прежнему господствовала помещичья и казенно-бюрократическая власть. По справедливому заключению одного из исследователей, реформа 19 февраля 1861 г. должна была, по расчетам правительства, «смягчить остроту социально-политического кризиса в стране и отчасти выполнила эту роль, но отнюдь не сразу. На первых порах объявление реформы ввиду ее антинародного грабительского харак-

⁸ 10 октября 1860 г. Редакционные комиссии были закрыты, а выработанный ими проект передан на рассмотрение в Главный комитет и Государственный совет, где еще раз были сделаны изменения в пользу помещиков.

тера послужило толчком к еще более высокому подъему волны революционно-демократического движения»⁹.

Само обнародование Манифеста 19 февраля (этот акт высочайшего «благоденствия» произошел две с половиной недели спустя после подписания Манифеста и сопровождался фактическим переводом обеих столиц на военное положение¹⁰) Чернышевский предваряет публикацией статьи «Предисловие к нынешним австрийским делам» («Современник», 1861 г., № 2), где прозрачно намекает на полнейшую негодность предстоящего стране преобразования. Вот место, относящееся непосредственно к «нынешним» делам в Австрии (читай: в России): «В Англии, в Бельгии, в нынешней Италии. . . мы действительно видим громадное влияние личной воли известного человека на государственную жизнь.

. . . В Австрии никто, каким бы титулом ни пользовался, не мог иметь подобного личного влияния на дух управления. Тут правитель окружен исключительно людьми известного направления и по самым формам устройства никак не может заменить их людьми другого направления; он имеет полную власть менять своих советников и помощников, как ему угодно; но все новые непременно будут людьми одной партии со старыми. Если б он захотел произвести какую-нибудь реформу, он или был бы остановлен их советами и сопротивлением, или, поручив им исполнение своей мысли, отдал бы реформу в распоряжение людей, не сочувствующих ей, и они повели бы дело так, что реформа ограничилась бы одними словами, а сущность дела осталась бы прежняя» (Ч., VIII, 444, 445).

Статью не случайно завершала картина восстания 1848 г. в Вене, опрокинувшего систему Меттерниха. Хотя затем и последовала беспощадная реакция, писал Чернышевский, один факт остался «невредимым» — «уничтожение феодальных обременений, тяготевших над австрийскими поселянами» (Ч., VIII, 450).

Демонстративно воздерживается от какой-либо оценки реформы мартовский номер «Современника» за 1861 г.

⁹ Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958, стр. 143.

¹⁰ С. П. Мельгунов. 5 марта 1861 г. — «Великая реформа», т. V. М., 1911, стр. 164—171.

«Внутреннее обозрение» его начиналось с иронического пассажа: «Вы, читатель, вероятно, ожидаете, что я поведу с вами речь о том, о чем трезвонят, поют, говорят теперь все журналы, журнальцы и газеты, т. е. о дарованной крестьянам свободе. Напрасно. Вы ошибаетесь в ваших ожиданиях. Мне даже обидно, что вы так обо мне думаете»¹¹.

К утверждению истины, проповедуемой «Современником»: реформа ограничилась «одними словами», «сущность дела» осталась «прежняя», «Колокол» Герцена и Огарева приходит не без некоторых колебаний. 1 апреля 1861 г. Герцен печатает известное обращение к Александру II «Манифест!», провозглашение Манифеста он расценивает как «первый шаг» в освобождении России, как «всемирно возвещенное уничтожение крепостного права», он приветствует царя именем «освободителя». Но весть о расстрелах царскими войсками демонстраций в Варшаве омрачает созданный Герценом на 10 апреля праздник в честь «освобождения крестьян». А уже 15 мая 1861 г. Герцен печатает статью «Русская кровь льется!». Расстрел крестьян царскими карателями в селах Кандеевка, Бездна и других местах России окончательно отрезвляет издателей «Колокола», детальное знакомство с доставленными им «Положениями» также способствует отрезвлению (Г., XV, 52—53, 65—67, 90—94, 107—109).

В июне — сентябре 1861 г. в «Колоколе» была помещена статья Н. П. Огарева «Разбор нового крепостного права, обнародованного 19 февраля 1861 года в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», где прямо сделаны те выводы, которые в иносказательной форме присутствовали в статье Чернышевского «Предисловие к нынешним австрийским делам»:

Старое крепостное право заменено новым.
Вообще крепостное право не отменено.
Народ царем обманут!

В суммарной (и доступной для простого читателя) форме суть этого пространного разбора Огарев передаст в лаконичных положениях своей статьи-прокламации «Что нужно народу?», по существу провозгласившей знаменитый лозунг «земли и воли», ставший позже платформой

¹¹ «Современник», 1861, № 3, отд. «Современное обозрение», стр. 101—102.

для объединения сил революционной организации под тем же названием.

«Четыре года писали да переписывали свои бумаги, — напоминал Огарев. — Наконец решили дело и объявили народу свободу. . . Однако как зачали генералы да чиновники толковать народу Положения, оказывается, что воля дана только на словах, а не на деле. . . И барщину и оброки отбывай помещику по-прежнему, хочешь получить свою избу и землю, выкупай их на свои собственные деньги. Выдумали переходное состояние. Не то на два года, не то на шесть, не то на девять лет определили для народа новое крепостное состояние, где помещик будет сечь через начальство, где суд будет творить начальство, где все перепутано так, что если б в этих царских Положениях и нашлась какая-нибудь льготная крупица для народа, то ею и воспользоваться нельзя. И государственным крестьянам по-прежнему их горькую судьбу оставили. . . Да еще глумятся царь да вельможи, говорят, что через два года будет воля. Откуда же она будет, воля то? Землю урежут, да за урезанную землю заставят платить в три-дорого, да отдадут народ под власть чиновников, чтоб и сверх этих тройных денег еще втрое грабежом выжимали; и чуть кто не даст себя грабить, так опять плети да каторга. Ничего они, не то что через два года, а никогда для народа не сделают, потому что их выгода — рабство народное, а не свобода»¹².

Первые практические последствия состоявшегося «освобождения» проявились в крестьянских волнениях 1861—1862 гг., во время которых было убито и ранено несколько сот и подвергнуто тем или иным мерам наказания несколько тысяч крестьян. Окончательные последствия сказались уже в XX в. Ленинская формула «1861 год породил 1905»¹³ выразила в нескольких словах существеннейшую связь между негодностью половинчатой, крепостнической по характеру реформы 60-х годов XIX в. и вызреванием в начале XX в. общенародной, буржуазно-демократической по своему характеру революции, призванной сокрушить оставшуюся неприкосновенной абсолютистскую власть, ликвидировать помещичье землевладение, разорвать сеть полуфеодальных отношений,

¹² «Колокол», л. 101, 15 июня 1861 г., стр. 848; л. 102, 1 июля 1861 г., стр. 853—854.

¹³ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 177.

опутывавших и «освобожденного» крестьянина, и всю страну.

Но в сущности к осознанию той истины, что из убогой царской реформы неизбежно вырастет широкая крестьянская революция, русская революционная демократия пришла уже в самые первые месяцы после провозглашения «освободительного» Манифеста 19 февраля 1861 г. Эта истина формулируется так или иначе и в подцензурных статьях «Современника», и на страницах вольного «Колокола», и в появившихся в России 1861—1862 гг. нелегальных революционных прокламациях. Неизвестным оставался только срок грядущего народного возмущения. Что между реформой и революцией ляжет целая историческая эпоха в сорок с лишним лет (эпоха, изменившая и движущие силы, и условия развертывания революции), естественно, не могли предвидеть сами участники событий 1861 г., в их представлениях (подкрепляемых первыми пореформенными крестьянскими возмущениями) этот срок переносился если не на ближние месяцы, то на ближайшие годы¹⁴.

И хотя грядущая революция надолго задержалась, обнародование Манифеста 1861 г. и последовавшее затем избиение крестьян царскими карателями явились важнейшей вехой в истории русского освободительного движения, вехой, знаменовавшей переход его радикальной части на принципиально новые рубежи. С этих пор его основной теоретической задачей становится осмысление последствий реформы, историческая оценка свершившихся после нее в стране экономических, социальных, политических преобразований (споры на тему об «особом» историческом пути России, роли в ее судьбах сохраненной реформой крестьянской общины и т. п. протянутся от эпохи революционной демократии 60-х годов до эпохи размежевания марксистов с народниками). Его основной практической задачей становится с этих пор (и тоже на долгие десятилетия) создание революционной организации, призванной возглавить грядущее народное возмущение, выработка программы послереволюционных преобразований.

¹⁴ Первоначально его относили к началу 1863 г. — моменту введения уставных грамот, призванных детально регламентировать на местах размеры наделов и повинностей на весь период временнообязанных отношений.

Непосредственно в 1861 г. самое глубокое теоретическое осмысление характера реформы, вытекавших из нее последствий дал Чернышевский. На первое место среди его работ надо, безусловно, поставить прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», написанную в начале 1861 г., но так и не увидевшую света при жизни писателя-революционера, статью «Апология сумасшедшего», точно так же не напечатанную при его жизни, статью «О причинах падения Рима», напечатанную в 5-й книге «Современника» за 1861 г., и «Письма без адреса», написанные в начале 1862 г., задержанные цензурой и опубликованные впервые в эмигрантском журнале П. Лаврова «Вперед» (1874 г., № 2).

«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»

На немногих страницах в доступной простому крестьянину форме Чернышевский разоблачает в своей прокламации обманной характер вышедшей «от царя воли», показывает несостоятельность царистских иллюзий крестьян, противопоставляет мнимому освобождению в России «волю», уже существующую в передовых странах Запада, выдвигает лозунг тщательной подготовки восстания.

«Много тут рассказывать нечего, — начинает он изложение Манифеста 19 февраля и разъясняющих его «Положений». — На два года остается все по-прежнему: и барщина остается, и помещику власть над вами остается, как была. А где барщины не было и был оброк, там оброк остается либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежут. Как не в два года! Пять лет либо десять лет проволочат это дело. А там что? Да почитай то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». . . Известно дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. . . Не скоро же воли вы дождетесь, малые мальчики до бород аль до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, которые царь заводит» (Ч., VII, 517—518).

Далее Чернышевский переходит к предстоящему по-

земельному размежеванию крестьян с помещиками: «Ну, а покуда она придет, что с вашей землей будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. . . Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет».

«А не знал царь, что ли, — спрашивает далее Чернышевский, — какое дело он делает?» И отвечает утвердительно, разъясняя дальше: «Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали. . . Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну, царь и держит барскую сторону» (Ч., VII, 518, 521).

Иную картину Чернышевский рисует, переходя к положению в тех западных странах, где феодализм был уничтожен: там и «разницы по званию нет никакой», и «надо всеми одно начальство, суд для всех один и наказание всем одно», а «рекрутства у них нет» и «пачпортов нет; каждый ступай, куда хочет, живи, где хочет», «никто над тобою ни в чем не властен, окромя мира», «у них и царь над народом не властен, а народ над царем властен» и т. п. Таково положение у англичан и французов, а народ, который швейцарцами и американцами зовется, зашел в своей воле еще дальше: «И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранным, президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает» (Ч., VII, 521—522).

Описав, «какая в исправду-то воля бывает на свете», Чернышевский ставит вопрос: «а как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать?» (Ч., VII, 523). Путь к воле один — надо тщательно готовиться к «делу» и ждать сигнала; надо барским крестьянам искать

согласия и договоренности с удельными крестьянами, с солдатами, они «опять из мужиков, тоже ваш брат», с «офицерами добрыми». «Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. . . А когда промеж вами единомушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. . . Тогда и легко будет волю добыть» (Ч., VII, 523—524)¹⁵.

Заметим, что в прокламации совершенно обойден, казалось бы, важнейший для планов шестидесятников пункт: сохранение русского общинного землевладения. О том, что это, по всей видимости, не случайная забывчивость, говорят статьи «Апология сумасшедшего» и «О причинах падения Рима».

Эти статьи важны тем, что показывают, как решительно меняет Чернышевский акценты в своих прежних представлениях о том, что народы, поздно приходящие к «столу» цивилизации, быстрее и легче усвоят плоды развития других стран, смогут переходить, скажем, «с первой или второй степени развития прямо на пятую или шестую». Вывод этот, как известно, Чернышевский делал, например, в 1858 г. в известной статье «Критика философских предубеждений против общинного владения» в связи с защитой принципа крестьянского «общинного владения». Он писал тогда: «История, как бабушка, страшно любит младших внучат. *Tarde venientibus* (поздно приходящим. — *Авт.*) дает она не *ossa*, а *medullam ossium* (не кости, а мозг из костей. — *Авт.*), разбивая которые Западная Европа так больно отбила себе пальцы»

¹⁵ М. В. Нечкина на основании сопоставления текстов прокламации Чернышевского и «Положений» 19 февраля выдвинула гипотезу о том, что прокламация писалась до 19 февраля 1861 г. (М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. — «Исторические записки», 1941, № 10, стр. 19—28). По более поздним данным Э. С. Виленской, прокламация «Барским крестьянам. . .» составлялась не ранее 22 февраля, т. е. после подписания Манифеста царем, но до его обнародования 5 марта, а была передана для напечатания и, возможно, исправлялась — перед 28 марта (Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в 2-х томах, т. I. М., 1967, комментарии, стр. 478—481).

(Ч., V, 387). Два-три года спустя тот же Чернышевский явно пересматривает выводы о легкости усвоения опыта Западной Европы.

«Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории, — пишет он в «Апологии сумасшедшего». — Но ведь пользоваться уроком может тот, кто понимает его, кто достаточно подготовлен, довольно просвещен. . . Просвещаться народу — дело долгое и трудное. . . Время это настанет, но не завтра и не послезавтра. Тогда — ну, тогда другое дело: опытность и цивилизация Запада действительно будет получена нами в наследство; тогда мы станем также способны вести историческое дело вперед, но это еще далекое будущее, а пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других».

И далее, прямой выпад против герценовских утверждений о превосходстве русского общинного социализма над «мещанскими» отжившими порядками буржуазного Запада. «Но, — говорят нам, — авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не высказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. . . Но высшее и среднее сословие составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю. Корабль Запада плывет еще, но только по истоку реки, с каждым днем все шире и глубже его плавание, все величественнее вид реки» (Ч., VII, 617—618).

А в статье «О причинах падения Рима» Чернышевский, повторив свои возражения Герцену, уточнит, какую роль может сыграть русская община для будущего социалистического порядка, предстоящего и Западу и России: она уже совершенно неудовлетворительна «для общества сколько-нибудь развитого», но еще может помочь ввести «лучшее устройство» в отсталой стране, став здесь основанием «нового порядка» (Ч., VII, 662—663). Жизнь — как мы увидим — показала утопичность и этой мысли.

«Письма без адреса»

Дать всестороннюю оценку событий 1861 г., выявить их главный результат, представить их в исторической перспективе Чернышевский пытался и публично. Памятником таких стремлений остались его так и не преодолевшие цензурного барьера «Письма без адреса». Внешняя благонамеренность автора «Писем», обращавшегося к царю с объяснением хода и исхода реформы, его заявления о том, что не только царь, но и он «против ожидаемой попытки народа сложить с себя всякую опеку и самому приняться за устройство своих дел», его уверения в том, что «Письма» продиктованы поисками средств, которыми можно предотвратить развязку, «одинаково опасную для вас и для нас», его самобичевания — «делая это, я понимаю, что делаю. Я изменяю народу» (Ч., X, 92) — не обманули бдительность охранителей. Они не ошиблись, перечеркивая красным карандашом корректурные листы «Писем без адреса»...

Предельно ясно проводилась здесь публицистом мысль об узости реформы, не затронувшей основ отжившего свой век общественного строя, коснувшейся только одной из его сторон. «Необходимость заняться крестьянским вопросом, — отмечает Чернышевский, — наложена была на Россию ходом последней нашей войны». Когда война получила совершенно иной ход, чем этого ожидало общество, «этого разочарования нельзя было приписать ничему, кроме непригодности механизма, располагавшего нашими силами. Открылась надобность изменить неудовлетворительное устройство. Самую заметную чертою его считалось тогда крепостное право. Конечно, оно было только одним частным приложением принципов, на которых был устроен весь прежний порядок; но внутренней связи этого частного факта с общими принципами большинство нашего общества тогда еще не понимало. Потому общие принципы прежнего порядка были оставлены в покое, и вся реформационная сила общества обратилась против самого осязательного из его внешних применений» (Ч., X, 94—95).

Но и это частное преобразование не могло быть решено удовлетворительным образом. Возвращаясь к расстановке классовых сил «при начатии крестьянского дела», Чернышевский выделяет «четыре главных элемента

в этом деле»: «власть, просвещенные люди, или либеральная партия, дворянство и крепостные крестьяне»; специально отмечено «первоначальное безучастие других общественных элементов» (Ч., X, 97, 98).

Крепостные крестьяне жили смутными слухами, ожиданием предстоящей «воли», но были совершенно отстранены от самого ведения дела. Помещики желали «отсрочить это дело из опасения за свои денежные интересы», при этом «просвещенные люди», считавшие помещиков «бессильными для гражданской деятельности», забывали «принимать в расчет логическую силу событий, которая дает смелость боязливым, политический ум людям, не думавшим прежде ни о чем, кроме мелких личных расчетов». В сущности на стороне помещиков стояло правительство. Чернышевский в отличие от статей середины 1858 г., подчеркивает единство этих элементов: «всегдашним правилом власти было опираться на дворянство». «Почему же власть, — спрашивает он, — принималась за отмену той из установленных ею самой привилегий, которою наиболее дорожило дворянство?.. Неудачная политика, подвергнувшая страну несчастной войне, доставила силу так называемой либеральной партии, требовавшей уничтожения крепостного права. Таким образом, власть принимала на себя исполнение чужой программы, основанной на принципах, не согласных с характером самой власти» (Ч., X, 94, 96, 98, 99).

Предельно ясно формулируется Чернышевским следующая важная мысль: проведение антикрепостнической реформы силами крепостнического по своей природе правительства не могло не привести к убожеству реформаторства: «Из этого разноречия сущности предпринимаемого дела с качествами элемента, бравшегося за его исполнение, должно было произойти то, что дело будет исполнено неудовлетворительно. Источником неизбежной неудовлетворительности был привычный, произвольный способ ведения дела. Власть не замечала того, что берется за дело, не ею придуманное, и хотела остаться полною хозяйкою его ведения. А при таком способе ведения дела оно должно было совершаться под влиянием двух основных привычек власти. Первая привычка состояла в бюрократическом характере действий, вторая — в пристрастии к дворянству» (Ч., X, 99).

Необычайно искусно обнажает Чернышевский в

«Письмах без адреса» негодную манеру ведения дел самодержавно-бюрократическим государством, причем обнажает, опираясь на источник сугубо официальный — протоколы Редакционных комиссий.

Призывая членов их приступить к многотрудному делу освобождения крестьян, председатель Редакционных комиссий заявил, что это «дело всей России», что «Комиссии обязаны честным отчетом в своих действиях пред всею Россиею» (Ч., X, 108). Но какое же практическое заключение последовало из теоретического стремления призвать «все общество» к делам Редакционных комиссий? Рассылка «экземпляров трудов Редакционных комиссий» начальникам губерний и губернским предводителям дворянства с просьбой изложить свое мнение. «Разве суд их — «общий суд целой России»?» — спрашивает Чернышевский. Как могут они придать «новую силу правительственному делу», если «сами губернаторы имеют только силу, заимствованную от правительства, и губернские предводители находились тогда в таком же положении: они не имели значения, не зависимого от правительства; не могло иметь самобытного веса и их мнение. . . Губернаторы смотрели на дело с правительственной точки зрения подобно самой Комиссии, следовательно, не могли указать Комиссиям важных сторон в деле, которых не замечали бы и сами Комиссии; а губернские предводители могли делать замечания только с помещичьей точки зрения, которая уже и без того была очень знакома Комиссиям. Итак, необходимо нуждаясь в опоре и критике для своих «Трудов», Редакционные комиссии искали их у людей, которые были для них совершенно бесполезны в этих отношениях. . .» (Ч., X, 109—110).

К этому добавлялась полнейшая зависимость самих Редакционных комиссий от правительства. Хотя их председатель и говорил постоянно о свободе обсуждения, заключал свои речи фразами о том, что его предложения не предлагаются «в основу суждений», дело дальше разговоров не шло. «Все это очень либерально, — писал Чернышевский, — но извольте припомнить, м. г., какие выражения встречаются в начале речи, имеющей такое заключение: председатель упоминает о «высочайшей воле»; а потом, излагая свои соображения, он выражается так: «правительство должно, крестьяне должны, оценка должна быть; правительство покрывает своими средствами,

правительство найдет возможность» и т. д. и т. д. — эти обороты речи выставляют каждую мысль председателя как дело, уже решенное правительством. Какое же существенное влияние могли бы иметь заключительные слова, что члены Комиссии могут изменять и отвергать мнение председателя, когда по тону всей предшествующей речи следовало принимать эти мнения за неизменную инструкцию, так как представлены они в связи с высочайшею волею. О чем же тут рассуждать? — Надобно принимать к исполнению» (Ч., X, 105—106).

Получалась замкнутая система. Даже в том случае, если самодержец хотел опереться на мнение бюрократии, бюрократия выдавала ему то, что знала (или думала, что знает) о настроениях самодержца. «Вы хотите только спросить, — писал Чернышевский, — ваш вопрос принимают за решение; вы хотите посоветоваться — ваши слова принимаются за приказание; вы ищите опоры — все, до чего вы касаетесь, гнется перед вами. Так уже заведено в бюрократическом порядке, и ничего иного не добьетесь вы от него» (Ч., X, 111).

Таким образом, свой прежний, «дневниковый» вывод: абсолютный монарх — «все равно что вершина конуса аристократии» (Ч., I, 356) — Чернышевский существенно углубляет в годы реформы: монарх — это одновременно и вершина конуса бюрократии, венец системы, не способной ни к реформированию общества, ни тем более к «самореформированию». Именно характер системы, которая взялась решать дело, делает бессмысленным участие искренних и последовательных сторонников освобождения крестьян в правительственном начинании — такова мысль «Писем без адреса».

Полным соответствием образу действий самодержавно-бюрократической машины характеризовался результат этих действий — грабеж крестьян под видом их освобождения. Это положение «Писем без адреса» Чернышевский подтверждает рассмотрением состояния оброчных крестьян целого ряда уездов великорусских губерний (при значительном уменьшении имевшегося у них надела произошло одновременно повышение выплачиваемых помещику сумм платежей). То же самое, добавляет Чернышевский, можно доказать и говоря о «поместьях, состоящих на барщине» (Ч., X, 114).

Необходимость взяться за дело другим силам и проводить это дело другим образом — к такому выводу подводил Чернышевский всем ходом своих рассуждений, подводил и отдельными, разбросанными по письмам намеками: «Когда люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел»; «Ничьи посторонние заботы не приносят людям такой пользы, как самостоятельное действие по своим делам» (Ч., X, 92).

Подробнейшим образом перечислял Чернышевский в «Письмах...» признаки растущего общественного недовольства, позволявшие надеяться на революционный исход событий: «Крепостные крестьяне не поверили, чтобы обещанная им воля была ограничена теми формальными переменами, какими ограничило ее бюрократическое решение. Из этого повсюду произошли столкновения между крепостными крестьянами и властью, старавшеюся провести свое решение. Произошли сцены, которых нельзя было видеть хладнокровно. Массою других сословий овладело сострадание к крепостным крестьянам. А между тем крепостные крестьяне, несмотря на все внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что им надобно ждать другой, настоящей воли. От этого их расположения должны будут произойти новые столкновения, если надежда их не исполнится» (Ч., X, 100). Отмечены Чернышевским помимо «смут внутри России» и «смуты в Варшаве», «загадочное появление программы, порицаемой одними, хвалимой другими, но принимаемой к сведению всеми» (имеется в виду прокламация «Великорусс». — Авт.), «небывалое движение молодежи в самом Петербурге», «слухи о предполагаемых требованиях дворянства» — «вот сколько в один год новостей, из которых каждая передвигала общество все дальше и дальше по одному направлению» (Ч., X, 102), направлению, обозначившемуся после Крымской войны.

Чем может кончиться это движение, имея в виду неспособность власти прекратить «натянутость отношений»? Ответ на этот вопрос давался в статье совершенно недвусмысленный: «Англо-французы (как мы тогда называли союзников) прорвали небольшую прореху в нашем платье, и мы думали на первый раз, что надобно только починить ее; но, начав штопать, мы постепенно замечали

ветхость материи на всех местах, до которых приходилось нам дотрагиваться; и вот вы видите теперь, милостивый государь, что все общество начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое: штопать оно не хочет. Говоря проще, наше общество, занявшись отменением крепостного права, принялось за дело очень серьезное. Принялось оно за него с легкомысленною и беспечною недалёковидностью, думая, что отделаться от этой задачи можно столь же незначительными переделками прежних внутренних наших трактатов, сколь ничтожны были переделки прежних дипломатических трактатов, оказавшиеся достаточными для заключения Парижского мира. Но внутреннее дело вышло не таково, как внешнее. Над ним поневоле стало учиться наше общество серьезности. Пришлось обществу много думать, и вы видите теперь, м. г., как широко развивается труд пересоздания, которому первоначально поставлялись такие узкие границы» (Ч., X, 96).

«На штопках не выедешь» — так передал главную мысль «Писем без адреса» К. Маркс, который внимательнейшим образом изучал, переводил, конспектировал это произведение Чернышевского сначала в 1871—1873 гг., затем в 1881 г.¹⁶

Как нам представляется, «Письма без адреса» были направлены против тех иллюзий демократов, которые пытались посредством организации кампании адресов царю добиться или существенных уступок от самодержавной власти, или ее саморазоблачения. Именно такой план, как мы увидим далее, предлагала летом — осенью 1861 г. одна из первых нелегальных революционных организаций в России 60-х годов, именовавшая себя Комитетом «Великорусса»¹⁷.

Времена «мирных оппозиций» самодержавию безвозвратно прошли, реформа доказала, что правительство не способно возглавлять движение страны по дороге прогресса, выход один — в самодеятельности народа, его передовых сил. Таков лейтмотив произведений Чернышев-

¹⁶ Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XI, стр. 7.

¹⁷ Две из трех прокламаций «Великорусса» были перепечатаны «Колоколом», что еще более усиливало их воздействие на русскую общественность («Колокол», л. 109, 15 октября 1861 г., стр. 913—914; л. 115, 8 декабря 1861 г., стр. 961—963).

ского 1861—1862 гг., к той же мысли стремился подвести он осторожно читателя, по-нашему мнению, и в своих «Письмах без адреса»¹⁸.

Революционеры 1861 г. Болезнь «левизны» в русской революционной демократии

Проблема практического действия русских революционеров в кульминационный период революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов, роли в этом действии Чернышевского детальнейшим образом разобрана в нашей историографии. Хотя по некоторым важным пунктам (датировка возникновения тайной организации революционеров-шестидесятников, степень централизации действий революционеров, степень единства взглядов «Современника» и «Колокола» и др.) единство мнений так и не было достигнуто, мы все же попытаемся (здесь и далее) выделить более или менее бесспорные данные, попытаемся раскрыть хотя бы кратко тему: русское подполье и Чернышевский.

Мы вполне согласны с точкой зрения тех историков, которые за отправную точку отсчета истории русского революционного подполья 60-х годов берут 19 февраля 1861 г. «Как устойчивый и постоянный элемент русской общественной жизни, — пишет Э. С. Виленская, — революционное подполье стало обнаруживать себя вскоре после крестьянской реформы»¹⁹.

Общие контуры этой истории восстановлены ныне в основном по мемуарам участников тех событий — Л. Ф. Пантелеева, А. А. Слепцова, Н. В. Шелгунова и дру-

¹⁸ Парадоксальная форма «Писем без адреса», которым придан вид обращения к царю, дает некоторым нашим историкам основание принимать их «за демонстрацию того, как обращаться к царю (?) не с адресами, а с требованиями, основанными на разоблачении политической системы самодержавия» (Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965, стр. 159). Но обращаться к самодержцу с «разоблачением политической системы самодержавия» — занятие совершенно бессмысленное, что и показал Чернышевский как содержанием «Писем...» (его суть воспроизведена нами выше), так и самим многозначительным названием «Письма без адреса» (курсив наш. — Авт.).

¹⁹ Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.), стр. 84.

гих, а также по следственным делам «политических преступников» того времени.

Четко выделяя факторы радикализации передовых слоев русского общества (разочарование в крестьянской реформе, возмущение кровавыми расправами в Польше, протесты против притеснений студентов), Л. Ф. Пантелеев отмечает: «И сразу же настроение русских передовых кругов и молодежи изменилось. Из неопределенно свободлюбивого с некоторым увлечением социалистическими идеями оно приняло резко политический характер. Вместо прежних оживленных разговоров о тех или других готовящихся реформах стали раздаваться совсем другие речи: довольно хороших слов, пора перейти к делу. А под делом понималась подготовка общества к революционным выступлениям. Эта перемена была подмечена кружком, группировавшимся около Чернышевского (Михайлов, Шелгунов, братья Серно-Соловьевичи, В. А. Обручев и др.). И вот начинают появляться прокламации, делается попытка к тайной организации. . .»²⁰

Сохранившееся в руках М. К. Лемке свидетельство А. А. Слепцова говорит следующее о первых замыслах революционеров: «Отдать справедливость, план был составлен очень удачно, имелось в виду обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды) — здесь три страдающие группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский как знаток крестьянского вопроса, который он, действительно, знал в совершенной полноте, должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким обстоятельствам, передали тоже Николаю Гавриловичу, молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и о его выполнении мне сказал в начале 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и

²⁰ Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 527.

Н. Н. Обручев, потом из боязни быть расшифрованным уклонившийся от общего участия в деле»²¹.

Анализ данного свидетельства привел М. В. Нечкину еще в 1941 г. к выводу о наличии общего прокламационного плана: «Воззвание Чернышевского было лишь звено задуманной серии воззваний». Та же мысль о «широко задуманном плане прокламаций» повторена М. В. Нечкиной и в 1953 г. Р. А. Таубин также развивал идею о том, что прокламации 1861—1862 гг. (за исключением «Великорусса» и отчасти «Молодой России») «написаны по предварительному сговору и в итоге взаимного обсуждения». Н. Н. Новикова, поддерживая и развивая эту точку зрения, включила в единый «прокламационный план» и издание листовок «Великорусса»: «Не только факт выхода в свет прокламаций в одно время, одна за другой, но и их содержание говорит о том, что «появление прокламаций» не было делом индивидуальной воли или случайностью»²².

Нам представляется, однако, более убедительным вывод Э. Виленской и Р. Ройтберг: на первом этапе «единство замысла о выпуске прокламаций не сопровождалось единством его реализации»²³.

Действительно, внимательное изучение мемуаров непосредственного участника описываемых событий Н. В. Шелгунова показывает, что он явно разделяет события, связанные с написанием прокламаций «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (ее Шелгунов называет прокламацией «К народу») и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» (ее он называет «К солдатам»), с одной стороны, и прокламации «К мо-

²¹ Мих. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. М.—Пг., 1923, стр. 318.

²² М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в годы революционной ситуации. — «Исторические записки», 1941, т. 10, стр. 14—16; М. В. Нечкина. Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение сил русского демократического движения в годы революционной ситуации (1859—1861). — «Вопросы истории», 1953, № 7, стр. 71—72; Р. А. Таубин. Роль Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии». — «Исторические записки», 1952, т. 39, стр. 80; Н. Н. Новикова. Революционеры 1861 года. «Великорусс» и его Комитет в революционной борьбе 1861 г. М., 1968, стр. 28.

²³ Э. Виленская, Л. Ройтберг. Шелгуновы, Михайлов и их воспоминания. — Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, стр. 14.

лодому поколению» — с другой. Вот его собственное свидетельство: «В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский — прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. . . В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне «в русской печати». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня. Содержание прокламаций «К народу», «К солдатам» я забыл, но «К молодому поколению» помню»²⁴. Об отсутствии единства действий в реализации «прокламационного плана» говорят, на наш взгляд, и такие свидетельства Шелгунова о главных прокламациях, которым довелось увидеть свет в 1861—1862 гг.: «Кому принадлежит первая прокламация (имеется в виду «Великорусс». — Авт.) — неизвестно; но прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне»²⁵. Мы цитировали так называемые «Первоначальные наброски» Н. В. Шелгунова от 20 сентября 1883 г. А в опубликованных позже воспоминаниях «Из прошлого и настоящего» разъяснен детально смысл слов «действовавших отдельно»: «Впоследствии (да и в это время, когда они стали появляться) значение прокламаций было преувеличено. Очень может быть, что если бы они свершили свой полный цикл, получился бы иной результат, но ничего этого не случилось. В Петербурге явилось несколько прокламаций: «Великорусс», «К молодому поколению», «Молодая Россия» и еще какие-то мелкие; были, говорят, прокламации на Волге. У прокламаций не было ни общего центра, ни общего руководства, это были, скорее, партизанские действия неизвестных отдельных кружков, не имевших никакой связи»²⁶.

В отсутствии единства в исполнении «прокламационного плана» (как и в том, что этот «план» был далеко не всеохватывающим) убеждает и содержание прокламаций. Общим в них было только одно — решительное неприятие реформы 1861 г., стремление «перерешить» проблему коренного реформирования России. Но в вопросе,

²⁴ Там же, стр. 243.

²⁵ Там же, стр. 242 (курсив наш. — Авт.).

²⁶ Там же, стр. 158.

как это сделать и что предложить взамен негодной реформы, авторы прокламаций решительно расходились между собой.

На «правом» фланге демократической оппозиции стоял Комитет «Великорусса», рассчитывавший на крестьянскую революцию только как на запасной вариант, на тот случай, если давлением на «верхи» не удастся добиться радикальных уступок. «Мы посмотрим, — писали члены Комитета, предлагая проект очередного адреса «Всемилоштивейшему государю», — какое действие произведет наше приглашение на образованные классы. Мы обращаемся к ним, как обещали. Но, если мы увидим, что они не решаются действовать, нам не останется выбора: мы должны будем действовать на простой народ, и с ним будем принуждены говорить уже не таким языком, не о таких вещах. Долго медлить решением нельзя: если не составят образованные классы мирную оппозицию, которая вынудила бы правительство до весны 1863 года устранить причины к восстанию, народ неудержимо поднимется летом 1863 года. Отвратить это восстание патриоты не будут в силах и должны будут позаботиться только о том, чтобы оно направилось благотворным для нации образом»²⁷.

Самый «левый» фланг демократической оппозиции занимала «Молодая Россия», вышедшая из московского студенческого кружка П. Г. Зайчневского. Ее авторы решительно отмежевывались и от программы «Колокола», и от программы «Великорусса»; они запросто делили все население России на две партии: угнетенный «народ» и угнетающую его «партию императорскую», на головы членов последней они призывали обрушить «революцию кровавую и неумолимую», не заботясь о ее подготовке,

²⁷ «Колокол», л. 115, 8 декабря 1861 г., стр. 963. Состав Комитета «Великорусса» до сих пор остается неизвестным. Попытки Н. Н. Новиковой связать с «Великоруссом» Чернышевского не представляются убедительными, явно «завышен» ее вывод: «Позиция Комитета «Великорусса» последовательно революционно-демократическая как в области программы, так и в области тактики» (Н. Н. Новикова. Революционеры 1861 года. «Великорусс» и его Комитет в революционной борьбе 1861 г., стр. 99). Подробно о дискуссии по данной проблеме см.: И. С. Миллер. Вокруг «Великорусса» (Некоторые вопросы стратегии, организации и тактики русской революционной партии начала 60-х годов XIX в.). — «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.». Сб. М., 1965, стр. 84—123.

предварительном сборе сил (на что делали упор Чернышевский и Огарев). Что касается путей и средств радикального изменения «всех без исключения основ современного общества» (начиная с собственности, политических порядков, религии и кончая такой «ячейкой общества», как «семья»), то авторы «Молодой России» проповедовали неумолимый террор; «мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90 годах»²⁸.

Даже в прокламации «К молодому поколению», принадлежавшей перу непосредственного соратника Чернышевского — Н. В. Шелгунова (к ее авторству был, вероятно, причастен и М. Л. Михайлов), заметны расхождения с линией «Современника». Как раз в мае 1861 г. Чернышевский начинает в статье «О причинах падения Рима» критику крайностей концепции «русского социализма» Герцена, он подчеркивает единство исторических путей Запада и России. Напротив, противопоставление Европы и России («в нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам», «мы народ запоздалый, и в этом наше спасение» и т. п.) пронизывает прокламацию «К молодому поколению». Что касается путей переворота, то ее авторы не отказывались совершенно от «пути мирного», дело которого могли взять из рук правительства «все сословия страны», но с куда большей охотой, чем авторы «Великорусса», звали на помощь народу революцию, возглавленную «молодым поколением», «если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом — пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого»²⁹.

Выявляя разногласие в содержании прокламаций³⁰, отметим важный для истории русского освободительного движения факт — появление своеобразной болезни «левизны» в революционной демократии 60-х годов XIX в.

²⁸ Цит. по: «Политические процессы 60-х годов» под ред. Б. П. Козьмина. М.—Пг., 1923, стр. 260, 261, 264.

²⁹ Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в 2-х томах, т. 1, стр. 337, 338, 339.

³⁰ Детальное их сопоставление см.: Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.), стр. 84—131.

(кстати, еще до написания «Молодой России» Зайчневский отстаивал принцип: «Всякая революция, боящаяся увлечься слишком далеко, — не революция»). Вот некоторые образчики безудержного левого фразерства, столь типичного для «Молодой России». *О политике царизма:* «Больше же ссылок, больше казней! — раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения, заставляйте революционную партию опасаться каждую минуту за свою жизнь, но только помните, что всем этим ускорите революцию и что, чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть». *О грядущей революции:* «Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная»; «мы издадим один крик «в топоры», и тогда... тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выдти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!» *О союзниках и врагах революции:* «Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против; кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами»³¹.

Более зрелому революционно-демократическому ядру пришлось в связи с появлением «Молодой России» выступать уже не только против либеральных иллюзий тех или иных демократов, но и против проявлений у других крайнего (пока еще словесного) «терроризма».

15 сентября 1861 г. «Колокол» опубликовал «Ответ «Великоруссу»». Его автор (предполагают, что им был Н. А. Серно-Соловьевич), приветствуя «с горячим сочувствием» появление «Великорусса» и выдвигая идею «составления тайных центров, обществ, братств», предлагал вместе с тем действовать «несколько иначе», чем «Вели-

³¹ «Политические процессы 60-х гг.», стр. 155, 261, 262, 269. Отметим появление крайних тенденций и в тогдашней демократической критике. В статье «Схоластика XIX века» Д. И. Писарев запальчиво восклицал: «Словом, вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» Д. И. Писарев, Соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1955, стр. 135. Далее ссылки в тексте.

корусс»: «Надо обращаться не к «обществу», а к народу и не предлагать вопросов, а прямо отправиться от положительного начала: что жить долее при настоящем порядке невозможно, а лучшего быть не может, пока власть в царских руках». Не вызывали никакого восторга у автора «Ответа «Великоруссу»» и конституционные планы Комитета³². Как уже отмечалось выше, против идеи обращения с адресами к царю, отнюдь не второстепенной в замыслах «Великорусса», были нацелены и «Письма без адреса» Н. Г. Чернышевского.

С другой стороны, тот же Чернышевский, по свидетельствам Н. И. Утина, И. И. Гольц-Миллера, намеревался выступить по поводу появления «Молодой России» с полемической прокламацией «К нашим лучшим друзьям» (арест помешал ему выполнить намерение); он же направил к московским революционерам А. А. Слепцова с целью уговорить их сгладить как-нибудь крайне неблагоприятное впечатление, произведенное «Молодой Россией»³³.

Отмежевываясь от «Молодой России» и Герцен, расценив прокламацию как плод незрелого ума, необдуманной поспешности, ненужного фразерства: «...молодые люди. . . в своей заносчивости наговорили пустяков»; в их речи «нет той внутренней сдержанности, которую дает или свой опыт, или строй организованной партии»; «звать к оружию можно только накануне битвы. Всякий преждевременный призыв — намек, весть, данная врагу, и обличение перед ним своей слабости. А потому оставьте революционную риторику и займитесь делом» (Г., XVI, 202, 203, 225).

Против «Молодой России» была направлена прокламация «Предостережение», изъятая полицией в Петербурге 15 июня 1862 г. при обыске у студента П. Д. Баллода (по предположению Б. П. Козьмина, она вышла из кружка Н. И. Утина). Авторы «Предостережения» называли авторов «Молодой России» «людьми экзальтирован-

³² «Колокол», л. 107, 15 сентября 1861 г., стр. 895—897.

³³ Подробнее см.: Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, стр. 271—274. Приводя массу ценных сведений о кружке П. Г. Зайчневского, автор, на наш взгляд, несколько преувеличивает степень зрелости его программы и несколько недооценивает тот вред, который принесло появление «Молодой России».

ными» и осуждали их ультраякобинизм: «Но не отстать от народа, когда он поднимется, вовсе не то, что возбуждать его к резне... Мы революционеры, т. е. люди, не производящие переворота, а только любящие народ настолько, чтобы не покинуть его, когда он сам без нашего возбуждения ринется в борьбу, мы умоляем публику, чтобы она помогла нам в наших заботах смягчить готовящееся в самом народе восстание»³⁴.

Не всегда революционеры, выступавшие против «Молодой России», удерживались на позициях последовательного революционного демократизма. Была далеко не во всем продуманной позиция авторов «Предостережения», вообще снимавших задачу революционной пропаганды, сводивших основные заботы революционеров к «смягчению» предстоящего народного восстания. В той же статье Герцена «Журналисты и террористы», на которую мы ссылались, наряду с призывами к организации революционных сил: «соединяйтесь плотнее между собой», «соединяйтесь с народом» — еще сохраняются остатки веры в то, что царская власть, может быть, и станет «в главу народного дела» (Г., XVI, 225). Но эти колебания не заслоняют сути дела: в связи с появлением «Молодой России» в лагере русской революционной демократии произошло достаточно различимое размежевание подлинной революционности и революционности мнимой.

Появление последней было бы неверно объяснять главным образом воздействием «необузданного темперамента» некоторых молодых революционеров вроде П. Г. Зайчневского. Главное в другом — сама революционность носит у недостаточно зрелой в политическом отношении молодежи характер пока еще внешний, поверхностный, она лишена прочного теоретического фундамента, той «основательности», которая приобретает лишь усвоением (как своего, так и чужого) исторического опыта и которая помогает обуздывать бездумные эмоциональные порывы, нетерпеливые стремления получить сию минуту результат, даваемый годами долгой, упорной, выдержанной борьбы.

Укажем и на тот вред, который принесло распростра-

³⁴ Цит. по: *Мих. Лемке*. Политические процессы в России 1860-х гг., стр. 528—529.

нение в обеих столицах «Молодой России», по времени почти совпавшее с громадными пожарами в Петербурге (вторая половина мая 1862 г.). Левое фразерство авторов прокламации, старавшихся «нагромоздить» в ней побольше «пороха», «чтобы всем либеральным и реакционным чертям стало тошно»³⁵, дорого обошлось демократической молодежи. Поползли поощряемые III отделением слухи о «поджигателях-студентах», не только консервативная, но и либеральная печать начала травлю революционеров (в словаре журналистов появился для характеристики революционной демократии термин «нигилизм»³⁶). Правительство, воспользовавшись благоприятным моментом, развязало кампанию террора.

Репрессивные меры по отношению к революционерам приобрели массовый характер, затронули новые сферы (журналистику, воскресные школы и т. п.), а главное, получили поддержку прежде либерально настроенной публики. Министр внутренних дел П. А. Валуев (сменивший С. С. Ланского в 1861 г.) с удовлетворением докладывал государю в конце 1862 г.: «В эту эпоху совершился первый благоприятный поворот в общественном мнении; затихли похвалы, которые, несмотря на возмутительное зрелище университетских беспорядков, упорно приносились недоучившейся и вовлеченной в преступные заблуждения молодежи; в некоторых литературных кругах стала заметною перемена направления; наконец, в них появились прямые протесты против изменнических действий наших заграничных агитаторов, до тех пор пользовавшихся в России непостижимым кредитом. Все почувствовали, что

³⁵ Из письма П. Г. Зайчневского от 1889 г. Цит. по: *Мих. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг.*, стр. 521.

³⁶ Впервые он был введен в русскую журналистику М. Н. Катковым в 1861 г., затем тем же термином воспользовался и И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» для характеристики Базарова (см. подробнее: *Б. Козьмин. Литература и история*, М., 1969, стр. 225—242). Выход романа Тургенева послужил для Каткова как раз в середине 1862 г. поводом для еще одного похода против нигилистов, исповедующих-де «религию отрицания», практикующих незунтское правило: «цель освящает всякие средства» и т. п. (см. «Роман Тургенева и его критики», «О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева». — «Русский вестник», 1862, № 5, 7). Тому же Каткову принадлежит высказывание об издателях «Колокола»: «Разве то, что они делают, не те же поджоги?» («Современная лепись», 6 июня 1862 г.).

для спасения общества и государства нужны были энергические правительственные распоряжения. . .»³⁷

Резкое изменение общей обстановки (она еще более ухудшилась в связи с польским восстанием 1863 г.) пагубно отразилось на деятельности русского революционного подполья, только-только начавшего формироваться в эти годы.

Как показывает анализ первоисточников, проведенный М. В. Нечкиной, Ш. М. Левиным, Я. И. Линковым, Е. Л. Рудницкой и другими историками, где-то в середине 1861 г. в результате договоренности лиц, имевших непосредственные контакты и с «Колоколом» и с «Современником» (Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов), возник зародыш будущего тайного общества «Земля и воля»; эта организация приступила к вербовке членов (разбиваемых на «пятерки»), установлению связей с существующими нелегальными и полулегальными организациями на местах, сделав главной целью своей подпольной работы руководство предполагавшимся в 1863 г. народным восстанием³⁸.

Подчеркивая важность такого шага, как попытка создания общероссийской подпольной организации, значение выдвинутого Чернышевским лозунга создания такой организации, нельзя вместе с тем не видеть тех громадных трудностей, которые встали на пути инициаторов этого дела и которые так и не были преодолены ими. Оспариваемое М. В. Нечкиной мнение тех (не названных ею) историков, которые полагают, что «организация возникла начиная с конца 1861 г. и, так сказать, продолжала возникать в течение всей первой половины следующего 1862 г.», что «даже к началу 1863 г.» организация тайного общества «еще не была закончена», а к концу 1863 г. его деятельность «совершенно замерла»³⁹, имеет, на наш взгляд, под собой реальное основание. На протяжении всех трех лет (1861—1863 гг.) в России идет мучи-

³⁷ Цит. по: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV. Пг., 1920, стр. 224—225.

³⁸ Общий очерк деятельности «Земли и воли» см. в кн.: Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века, стр. 196—235.

³⁹ М. В. Нечкина. Возникновение первой «Земли и воли». — «Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг.», М., 1960, стр. 283.

тельный процесс борьбы за сохранение русского революционного подполья. Единоборство революционеров с царизмом, который с 1861 и особенно с мая 1862 г. стал прибегать к массовым репрессиям, принялся систематически выкорчевывать «крамолу», не могло не окончиться в ту пору поражением революционеров. Тайное общество «Земля и воля» организовывалось, как писал впоследствии Н. И. Утин, «среди разгара правительственной и общественной реакции»⁴⁰ — в этом причина хронического, так и не преодоленного кризиса в его саморазвитии, причина его самоликвидации в начале 1864 г. «Миф «З(емли) и в(оли)» должно продолжать, — советовал Герцен Огареву в письме от 1 мая 1863 г., — потому уж, что они сами поверят в себя. Но что теперь «З(емли) и в(оли)» нет еще, это ясно» (Г., XXVII, кн. 1, стр. 319—320).

Крушение помыслов и дел осознается и самими вожаками русского подполья. В письме А. И. Герцену и Н. П. Огареву, написанном в первой половине 1864 г. в стенах Петропавловской крепости, Н. А. Серно-Соловьевич признавал: «Почва болотистее, чем думалось. Она сдержала первый слой фундамента, а на втором все ушло в трясину. Что же делать? Слабому прийти в уныние, сильному сказать: счастье, что трясина выказала себя в фундаменте, а не на последнем этаже, — и приняться вбивать сваи»⁴¹. Правда, самому автору этих строк уже не пришлось заняться всерьез «вбиванием свай»: он погиб в ссылке в Иркутске в 1866 г. Но арестованному вместе с ним в июле 1862 г. Н. Г. Чернышевскому удалось, казалось бы, невероятное — продолжить в стенах Петропавловской крепости борьбу за воссоздание рушившегося (так и недостроенным) здания русского революционного подполья. Но прежде чем обратиться к этой, пожалуй, самой захватывающей странице деятельности Чернышевского, скажем несколько слов о буржуазных трактовках его жизни и борьбы в 1861—1863 гг., вернемся к книгам Рэнделла и Вёрлина.

⁴⁰ «Народное дело», 1868, № 2-3, стр. 33.

⁴¹ Н. А. Серно-Соловьевич. Публицистика. Письма. М., 1963, стр. 265.

**Буржуазная версия
об «отставании» Чернышевского
от революционного движения
начала 60-х годов**

Если верить Рэнделлу, Чернышевский, перейдя после 1859 г. на революционные позиции, так и не утвердился на этих позициях до конца, во всяком случае отстал от порожденного его же собственными идеями революционного движения. Сообщая о «чрезвычайных революционных актах» как со стороны «режима», так и со стороны «интеллигенции» после свершения «величайшего акта об освобождении в истории человечества», Рэнделл добавляет: «Однако Чернышевского постигла теперь судьба большинства революционеров, переступающих порог тридцати лет. Он уже перестал быть самой радикальной личностью в окружающем мире. Он желал революционных изменений с возможно меньшим количеством насилия. Он желал топора как угрозы, но не как орудия»⁴².

Вёрлин выражается более уклончиво: «На настоящей ступени знания о событиях начала 1860-х годов нельзя полностью ответить на вопрос о прямом участии Чернышевского в революционном движении. Недостаток твердых доказательств и противоречивый характер наличных свидетельств открывают дорогу для субъективных спекуляций и домыслов, не представляющих особой научной ценности. Факты допускают скорее разумно веские негативные, чем позитивные, выводы... Было бы трудно переоценить общее значение вклада Чернышевского в эту раннюю фазу революционного движения в России, но существенное значение этого вклада состояло не в его работе организатора, но скорее в том факте, что другие люди, читавшие его и знавшие его лично, нашли в его послании вдохновение к действию»⁴³.

Но вот скупой перечень фактов, которые можно с полным основанием отнести к области «твердых доказательств» того, что Чернышевский отнюдь не сошел с революционных позиций, что он принимал непосредственное

⁴² *Fr. B. Randell. N. G. Chernyshevskii. New York, 1967, p. 100.*

⁴³ *W. F. Woehr'lin. Chernyshevskii. The Man and the Journalist. Cambridge (Mass.), 1971, p. 311.*

участие и в подпольной работе: факт непосредственного участия в составлении первых в России революционных прокламаций; факт непосредственного воздействия на деятелей будущей «Земли и воли» (подтверждено свидетельством А. А. Слепцова); факт установления личных связей с прогрессивным офицерством; факт непосредственного контакта с участниками студенческих волнений; факт инициативного участия в открытии в январе 1862 г. Шахматного клуба, ставшего не только местом встреч демократической общественности, но и прикрытием нелегальной деятельности вождей будущей «Земли и воли» (свидетельство Л. Ф. Пантелеева); факт непрекращавшегося единоборства с царской цензурой — и все это под наблюдением агентов III отделения, установившего с осени 1861 г. неусыпную слежку за писателем-революционером. О том, каких невероятных усилий стоила Чернышевскому борьба, мы можем догадываться по дошедшим до нас обрывкам воспоминаний тех лет. Ф. В. Духовников записал впоследствии со слов Ольги Сократовны: «Жизнь Чернышевского в Петербурге была лихорадочная: руки тряслись, мозги усиленно работали. Он никогда не мог спать после обеда, да и ночью иногда спал по два, по три часа. Бывало, и ночью проснется, вскочит и начнет писать»⁴⁴.

Правда, не все замыслы Чернышевского тех лет осуществились: осталась ненапечатанной (из-за предательства Вс. Костомарова) прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», не увидели света (из-за цензурного запрета) «Письма без адреса», Чернышевский не успел сам выступить против прокламации «Молодая Россия» (до нас дошли лишь слухи о таком намерении) — арест 7 июля 1862 г. прервал его деятельность, борьбу убежденного революционера за последовательно революционную линию, против искажавших ее «справа» и «слева» крайностей. Но все же главное было сделано: на страницах «Современника» еще в ноябре 1861 г. был сформулирован лозунг создания революционной подпольной организации, призванной возглавить назревавшее крестьянское возмущение. «Это все равно что смиренная лошадь (если позволите такое сравнение), — писал Чер-

⁴⁴ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. I. Саратов, 1958, стр. 184.

нышевский в статье «Не начало ли перемены?». — Ездит, ездит лошадь смирно и благоразумно — и вдруг встанет на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами. Разумеется, эта экстренная деятельность смирной лошади протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки без нескольких таких выходов не обойдется смиренная деятельность самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою рукой, лошадь в пять минут своей горячности продвинет вас (и себя, разумеется) так далеко вперед, что в целый час не продвинуться бы на такое пространство мерным, тихим шагом. Но если не будет сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся только переломленные оглобли и усталость самой лошади» (Ч., VII, 881—882).

Борьбу за создание революционной организации, призванной возглавить грядущую народную революцию, Чернышевский продолжит и в стенах Петропавловской крепости. Призыв уходить в подполье, создавать подполье донес до оставшихся на воле друзей-читателей написанный здесь роман «Что делать?».

Впрочем, названные нами буржуазные авторы отрицают его политическое предназначение. И тот и другой считают роман по преимуществу «бытовым», а не социально-политическим произведением и соответственно воспроизводят его сюжетную канву. Отметив мимоходом, что все личные и моральные проблемы, поставленные в романе, решаются в конце концов революцией, «приканчивающей отсталое общество», что «ригорист», «революционный аскет» Рахметов «готовился к полной отдаче делу», что он «стал для грядущих поколений моделью профессионального революционера»⁴⁵, и Рэнделл и Вёрлин все внимание концентрируют на деталях внешних сюжетных линий, углубляясь в перипетии личных отношений Веры

⁴⁵ Fr. B. Randell. N. G. Chernyshevskii, p. 121; W. F. Woehrlin. Chernyshevskii. The Man and the Journalist, p. 319.

Павловны с Лопуховым и Кирсановым (в том же контексте традиционного «любовного треугольника» рассматривается и роль Рахметова). Предваряя результат анализа, Рэнделл заявляет: «В романе нет прямых ссылок на жгучие политические проблемы дня. Умный читатель может найти ряд эзоповских комментариев на политические темы. В одном месте герой восстает против рабства негров в США и Бразилии, можно предполагать, что автор точно так же не одобряет крепостничество в России. Но в общем и целом «Что делать?» не является даже прикрито политическим романом. Он рассказывает о частных лицах, занятых проблемами частной и семейной жизни. Политический центр жизни Чернышевского представлен неким вакуумом. И снова царская цензура служит совершенно достаточным объяснением»⁴⁶.

Царская цензура действительно многое объясняет в содержании и композиции романа. Но утверждать, что «политический центр жизни Чернышевского» представлен в «Что делать?» «неким вакуумом», можно только по недостаточному знакомству и с манерой «эзоповского языка» Чернышевского, и с советской исследовательской литературой о романе.

⁴⁶ *Fr. B. Randell. N. G. Chernyshevskii, p. 104.*

«Что делать!»

Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью. . .

Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь.

Из письма Н. Г. Чернышевского О. С. Чернышевской из Петропавловской крепости от 5 октября 1862 г.

Главные приемы «саратовского юродивого»

Заточение в Алексеевский рavelин не сломило духа Чернышевского, не прервало его литературной деятельности. Он не только отвечал на вопросы, предложенные высочайше учрежденной в Санкт-Петербурге Следственной комиссией, не только направлял протесты и запросы властям, но и перечитал в застенках гору книг, написал и передал на волю знаменитый роман «Что делать?», усиленно занимался переводами, набрасывал (так и не увидевшие света) автобиографические записки. В последних привлекает внимание образ саратовского юродивого — Антонушки, «быть может, человека большого ума» и с «восторженными понятиями о нравственных обязанностях» (Ч., I, 586, 588), совершившего разного рода проделки над зажиточными гражданами города и монахами: «Антонушка приходит к зажиточному хозяину или хозяйке и ведет свои речи, половину которых не могут хорошенько разобрать слушающие, потому что *аллегоризм очень преобладал у него* и сам по себе уже часто бывал туманен, а кроме того, он любил *иронические юмористические обороты*, и они, усложняя аллегоризм, еще более затрудняли ум слушающих, вообще, конечно, людей не бойких в мышлении. Очень часто они даже не знали, как

решить: шутит он или говорит серьезно, хвалит или порицает. Такова, разумеется, и должна быть речь юридивого» (курсив наш. — Авт.) (Ч., I, 588).

Читатель «Что делать?» знает, что автор романа пользовался приемами, весьма похожими на приемы «саратовского юридивого». Так, мы находим здесь ярко выраженный аллегоризм, взять хотя бы давно расшифрованные рассуждения «новых людей» о грядущей революции или знаменитый «Четвертый сон Веры Павловны» — картину светлого коммунистического будущего. Но есть ли в романе что-либо похожее на «иронические юмористические обороты»?

«От романтики к иронии»!

Лет 15—20 тому назад автор ряда статей и книги «О героях Чернышевского» А. А. Лебедев обратил внимание читателей на несхожесть романов Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и «Пролог». В самом деле, оба романа описывают одну и ту же пору — «либеральную весну» 50-х годов. Главные герои того и другого романа — профессиональные революционеры. Но какое поразительное различие в трактовке этих образов! Рахметов — человек «необыкновенный», «особенный», Волгин — нарочито приземленный, «герой без пьедестала, без нимба, без куртурнов». «Что делать?» проникнуто ожиданием крестьянской революции, близкой смены «общественных декораций». Напротив, герои «Пролога», особенно Волгин, не верят в близость революции, находятся в раздумье, их одолевает скептицизм¹.

Причины такой перестановки акцентов пытался объяснить еще Г. В. Плеханов: Чернышевский «незаметно для себя приурочил свои позднейшие взгляды на условия крестьянского освобождения к более раннему периоду»². Аналогичные доводы выдвигал и А. П. Скафтымов: «Волгин — это Чернышевский, но не весь Чернышевский, и не столько Чернышевский 1857 года, к которому приурочены события романа, сколько Чернышевский — ав-

¹ А. Лебедев. Герои Чернышевского. М., 1962, стр. 67—73, 188—237.

² Г. В. Плеханов. Соч., т. V. М., 1924, стр. 81.

тор, т. е. Чернышевский, уже переживший этап борьбы, связанный с реформой 1861 года»³.

А. А. Лебедев развил эту точку зрения. Скепсис, раздумья, осмотрительность «позднего» Чернышевского он определил как форму движения мыслителя вперед, форму изживания (в ходе определенного идейного кризиса и через него) того самозабвенного оптимизма шестидесятников, «тех романтических иллюзий», которые были столь характерны и для мирозерцания Чернышевского периода написания «Что делать?» (так сказать, «рахметовского периода»). Сменой представлений Чернышевского А. А. Лебедев объяснил и изменение художественной манеры его письма, и, в частности, появление «той трагической интонации, которая явственно звучит в его поздних произведениях», и той тонкой иронии в изображении героев, которая является, по выражению Энгельса, свидетельством «власти писателя над своим творением»⁴. Соответственно один из разделов книги А. А. Лебедева озаглавлен: «От романтики к иронии», а основные выводы ее гласят: «... в момент наивысшего революционного напряжения в стране передовые деятели той эпохи были, несомненно, страшно далеки от всякой мысли о трагической обреченности движения, о неспособности русского крестьянства к самостоятельному широкому выступлению. Понимание всего этого пришло к некоторым из них, в том числе и к Чернышевскому, значительно позднее... С подобной точки зрения следует признать, что романтический пафос в обрисовке образа Рахметова оказался столь же органичен, столь же необходим Чернышевскому в период революционного подъема и расцвета революционно-демократической идеологии, сколь в отношении к Волгину оказалась необходима «тонкая ирония»»⁵.

Отметим, что движение художественного метода Чернышевского «от романтики к иронии» (или «от романтики к реализму», как выражались иные литературоведы⁶) признавали не все исследователи. Так, еще в конце

³ А. Скафтымов. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1947, стр. 76.

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 334.

⁵ А. Лебедев. Герои Чернышевского, стр. 19, 223.

⁶ «... Различие между «Что делать?» и «Прологом» — это различие между романтизмом и реализмом» («История русской литературы в 3-х томах», т. III. М., 1964, стр. 241).

50-х годов В. Щербина выступал против статей А. Лебедева, утверждавших «наличие некоего перелома в сознании Чернышевского». Особое его недовольство вызвало то обстоятельство, что «доминанта» в работах А. Лебедева направлена, так сказать, не в ту сторону, из-за чего «главное качество, определяющее сущность образа Волгина, своеобразие его позиции, вопреки героической сущности и глубокому внутреннему драматизму этого образа усматривается... в иронии: частная черта в многогранном облике героя произвольно объявляется всеохватывающей, определяющей, дающей ключ ко всему содержанию образа»⁷.

Вообще говоря, выделение и изучение какой-либо одной стороны сложного объекта (образа), абстрагирование от остальных его сторон является элементарным приемом научного анализа (художественного в том числе), если, разумеется, на данной ступени анализ не завершается. И нам думается, слабость А. А. Лебедева состояла не в том, что «доминанта», нацеленная на иронию, определила его отношение к главному герою «Пролога», а в том, что та же «доминанта» не определила его подхода к главному герою «Что делать?». Оказывается, «иронические юмористические обороты» присутствуют в «Что делать?» и, главное, очень важны для понимания образа мысли и действия изображаемых здесь лиц.

«Смех вовсе дело не шуточное...»

Изречение, взятое в название параграфа, принадлежит основателю Вольной русской типографии в Лондоне. Продолжая мысль, Герцен писал: «В древнем мире хохотали на Олимпе и хохотали на земле, слушая Аристофана и его комедии, хохотали до самого Лукиана. С IV столетия человечество перестало смеяться — оно все плакало, и тяжелые цепи пали на ум середь стенаний и угрызений совести. Как только лихорадка изуверства начала проходить, люди стали опять смеяться. Написать историю смеха было бы чрезвычайно интересно» (Г., XIII, 190).

Всеобщая история смеха пока не написана. Но тому, кто взялся бы за ее написание, пришлось бы особое место

⁷ В. Щербина. Еще раз о Рахметове и Волгине. — «Вопросы литературы», 1959, № 7, стр. 109—110.

отвести той разновидности русского смеха, которая отвечала затяжному и особенно изнурительному характеру «лихорадки изуверства» на Руси. Мы имеем в виду смех сквозь слезы. В XIX веке смеялся подобным образом Салтыков-Щедрин. Явственные отзвуки такого же смеха мы находим и в романе «Что делать?», прежде всего в разделе «Особенный человек»...

В тот год, когда Рахметов решил уйти от возлюбленной, рассказывает автор, «он, через несколько времени после первого нашего разговора, полюбил меня за то, что я смеялся (наедине с ним) над ним, и в ответ на мои насмешки вырывались у него такого рода слова: «да, жалеете меня, вы правы, жалеете: ведь и я тоже не отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить. Ну, да это ничего, пройдет», — прибавлял он. И точно, прошло. Только однажды, когда уже я слишком много расшевелил его насмешками, даже поздней осенью, все еще вызвал я из него эти слова» (Ч., XI, 208).

Еще одно авторское отступление, где мелькают слова: «смешно», «забавно». «Да, смешные это люди, как Рахметов, очень забавны. Это я для них самих говорю, что они смешны, говорю потому, что мне жалко их; это я для тех благородных людей говорю, которые очаровываются ими: не следуйте за ними, благородные люди, говорю я, потому что скуден личными радостями путь, на который они зовут вас; но благородные люди не слушают меня и говорят: нет, не скуден, очень богат, а хоть бы и был скуден в ином месте, так не длинно же оно, у нас достанет силы пройти это место, выйти на богатые радостью, бесконечные места. Так видишь ли, проницательный читатель, это я не для тебя, а для другой части публики говорю, что такие люди, как Рахметов, смешны» (Ч., XI, 210).

В чем смысл той приглушенной полемики, которую ведет Чернышевский с «благородными людьми», смысл его «насмешек» над Рахметовым? Все его довольно туманные намеки (может быть, это и есть искомые «иронические юмористические обороты»?) не привлекали пока внимание специалистов. Между тем обосновать важность их исследования можно, опираясь на непререкаемый авторитет Чернышевского. Заметив как-то, что лично он знал только «восемь образцов» той же породы, что и Рахметов, Чернышевский продолжал: «Над теми из них,

с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине; они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собою. И действительно, в них было много забавного, *все главное в них и было забавно*, все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми» (курсив наш. — Авт.) (Ч., XI, 197). Поставим вопрос: разве не стоит поразмыслить над «главной» чертой «особенных людей»?

Кстати, не поможет ли нам разобраться в сути дела следующее весьма «забавное» пророчество автора «Что делать?» насчет судьбы «особенного человека» и его друзей: «Недавно родился этот тип и быстро расплывается. Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? — он исчезнет вместе с своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали; теперь... но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: «спасите нас!», и, что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинять, и *они будут согнаны со сцены*, ошканные, страшимые. Так что же, шикайте и страмите, гоните и проклиняйте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий, *они сойдут со сцены*, гордые и скромные, суровые и добрые, как были. *И не останется их на сцене?* — Нет. Как же будет без них? — Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: «после них стало лучше; но все-таки осталось плохо». И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде» (курсив наш. — Авт.) (Ч., XI, 145).

Выражения вроде «они сойдут со сцены» подчеркивали мы. А вот как подчеркивает важность их и сам автор в диалоге Рахметова и Верочки, когда Рахметов приносит ей записку Лопухова: «Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены... Прощайте» (Ч., XI, 8). Рахметов говорит:

«Его поручение состоит в следующем: он уходя, чтобы *сойти со сцены*»...

— Боже мой, что он сделал! Как же вы могли не удержать его?

— *Вникните в это выражение: «сойти со сцены» и не осуждайте меня преждевременно. Он употребил это выражение в записке, полученной вами, не так ли? И мы будем употреблять именно его, потому что оно очень верно и удачно выбрано.*

В глазах Веры Павловны стало выражаться недоумение, ей все яснее думалось: «я не знаю, что это? что же мне думать?» О, Рахметов, при всей видимой нелепости своей обстоятельной манеры изложения, был мастер, великий мастер вести дело! Он был великий психолог, он знал и умел выполнять законы постепенного приготовления.

— Итак, уходя, чтобы, *по очень верному его выражению*, «сойти со сцены», он оставил мне записку к вам...» (курсив наш. — Авт.) (Ч., XI, 212, 213).

Чернышевский советует «вникнуть» (думаем, с нами согласится внимательный читатель) в смысл не одной только простенькой записочки Лопухова. Кстати, к пониманию того, что выражение «сойти со сцены» «очень верно и удачно выбрано», вплотную приблизились авторы того самого научного труда, где говорилось об эволюции художественного метода Чернышевского «от романтизма к реализму»: «Он знал, что его герои скоро сойдут со сцены, но возродятся в следующем поколении, чтобы снова сойти, «и так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «ну, теперь нам хорошо», тогда уже не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа». Эти слова, которыми автор «Что делать?» перекликается с далеким будущим, дают нам ключ к пониманию его романа как художественного произведения»⁸.

Но, сделав вывод о «ключевом» значении интересующего нас места романа «Что делать?», авторы названного труда дальнейших вопросов не поставили, так и оставив читателя на стадии Верочкиного недоумения: «я не знаю, что это? что же мне думать?» А вопросы напрашиваются неизбежно. Кто и за что станет «сгонять» революционеров с политической «сцены» после их победы, после предстоящей вскоре «перемены декораций»?

⁸ «История русской литературы в 3-х томах», т. III, стр. 238.

Почему «та же история» будет повторяться неоднократно, пока «особенный тип» не станет «общею натурою всех людей»? (Ч., XI, 145).

«Таков общий вид истории»

Напомним, что еще в январском обзоре «Политика» за 1859 г., осмысливая (прежде всего на материалах Шлосера) ход событий в Европе нового времени, Чернышевский сделал вывод о своеобразной «цикличности» буржуазных революций. Но считал ли Чернышевский свой вывод существенно важным для понимания хода исторических дел, выделял ли он его сам как закон, т. е. обобщение, фиксирующее определенную повторяемость в ходе развития разных стран?

Перелистаем замечания Чернышевского к «Основаниям политической экономии» Милля и «Очерки из политической экономии (по Миллю)», которые печатались в «Современнике» в 1861—1862 гг.:

«Мы заметим, что прогресс улучшений в политической и даже в экономической жизни не так безостановочен, как принято говорить об этом. Бывают иногда периоды довольно долгого регресса и в самых передовых странах» (имеются в виду Англия и Франция. — Авт.) (Ч., IX, 616).

«В делах важных успех достигается после длинного ряда неудач, и за каждым движением вперед следует реакция, теснящая дело назад с таким упорством, что преодолевается только чрезвычайным напряжением сил, за которым, конечно, следует утомление с новым преобладанием реакции» (Ч., IX, 351).

А в самом пространным из своих высказываний на эту тему, доказывая, что «умственная история общества» (и соответствующих ей порядков) состоит в постоянной смене «трех расположений», мыслитель опять-таки возводит это чередование в степень всеобщего закона истории: «Такова вечная смена господствующих настроений общественного мнения: реакция ведет к умеренной, потом к радикальной критике; радикализм ведет к умеренному, потом к реакционному консерватизму, и опять от этой крайности общественная мысль переходит в противоположную крайность через умеренный либерализм» (Ч., IX, 252—254). Чернышевский прямо указывает здесь

На узловые события, послужившие основой для обобщений, названы и лица, действовавшие тогда на сцене истории: «за Монтескье явился Руссо; за Мирабо — Робеспьер», Робеспьера сменяют Сиес, Талейран и другие, «замолкавшие во время конвента»; «Наполеон с насмешкою отталкивает Сиеса и перестает слушать Талейрана» и т. д. вплоть до Кавеньяка и «абсолютизма новой империи» при Луи Наполеоне.

Правда, здесь Чернышевский не вскрывает причин смены восходящего движения нисходящим, не показывает в деталях самого механизма спада революционной волны, ограничиваясь кратким указанием на отрыв радикалов от массы (Ч., IX, 253). Но в деталях этот механизм описывал, как мы уже знаем, Шлоссер, разбирая события 1789—1794 гг.

Рассказ Шлоссера, дополненный рассказом самого Чернышевского о событиях 1848 г. (см. его статьи «Кавеньяк» и др.), подсказывал: в новой истории не было еще ни одной «удавшейся» — в смысле удовлетворения народного интереса — революции. Это был суровый, непреложный факт, с которым должен был считаться трезвый мыслитель, живший ожиданием крестьянской революции в самодержавной России. Опыт более передовых стран подсказывал ему: эта революция не сможет сразу, с одного тура привести к победе. В непосредственной близости — так можно «расшифровать» смысл «забавного» пророчества из романа «Что делать?» — Чернышевский сулил революционерам вовсе не привольную жизнь в великолепных хрустальных дворцах из «Четвертого сна Веры Павловны», где будут царить «вечная весна и лето, вечная радость» (Ч., XI, 279). Он сулил им изгнание «со сцены» — участь Робеспьера и Сен-Жюста (Барбеса или Бланки, если брать пример 1848 г.). Не отменяла этого вывода и важнейшая мысль об ускорении хода «исторического прогресса» в новое время. Хотя «моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом», говорит Верочке «невеста-революция», ты еще «не войдешь» в светлое царство будущего (Ч., XI, 283).

Таким образом, протягивается единая нить: от издания «Истории восемнадцатого столетия...» Шлоссера к обзорам из журнала «Современник» за 1859 г., затем к публикациям Чернышевского 1861—1862 гг. и далее к роману «Что делать?». Важно отметить и то, что свою бел-

летристическую деятельность Чернышевский продолжал сочетать с деятельностью переводческой и в 1862—1863 гг. Сохранилось любопытное заявление узника Петропавловской крепости в следственную комиссию: «Чернышевский кончил перевод XV и XVI томов «Всеобщей истории» Шлоссера, переводить которые было ему разрешено, и теперь просит разрешения купить и перевести XVII-й том того же сочинения («Schlosser's Weltgeschichte»). — В ожидании этого он начал писать беллетристический рассказ, содержание которого, конечно, совершенно невинно, — оно взято из семейной жизни и не имеет никакого отношения ни к каким политическим вопросам... 15 декабря 1862 г. Н. Чернышевский» (Ч., XVI, 363—364).

О том, что узник Алексеевского рavelина занимался и переводами, комментаторы «Что делать?» порой сообщают: «Сначала он переводил сочинения немецкого историка Шлоссера... Потом у него явилась мысль о социально-философском романе»⁹. Но установить, какая же связь была между содержанием сочинений Шлоссера и содержанием «невинного» «беллетристического рассказа», не пытались. Между тем в XV, XVI, XVII томах «Schlosser's Weltgeschichte» речь опять-таки шла об Английской и Французской революциях. Таким образом, рассказ Шлоссера из «Истории восемнадцатого столетия...» должен был иметь продолжение¹⁰.

«Тайна всемирной истории»

Выделим теперь еще один аспект социологической концепции Чернышевского, важный для нашей темы. Перед нами «ключевое» место написанного уже в ссылке романа «Пролог». Оно явно перекликается с «ключевым» местом романа «Что делать?», а также с рассказом пятого тома «Истории восемнадцатого столетия...» Шлоссера о гибели якобинцев. Соратник Волгина Левицкий под

⁹ Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». М., 1971, стр. 10 (предисловие Н. Богословского).

¹⁰ Издание «Всемирной истории» Шлоссера Чернышевский начал еще в 1860 г., до ареста вышли в его переводе два тома. В Петропавловской крепости он, как мы видим, приступил к переводу наиболее интересовавших его томов. Закончил это издание уже в 1869 г. В. Зайцев.

впечатлением разговоров с ним рассуждает о трагической развязке революционных движений прошлого:

«Вечная история: выходит работник, набирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать, — разинули рты, слушают — и пошла толпа за ним. Он ведет их в болото, — они тонут в грязи, восклицая: «Сердца наши чисты!» — Сердца их чисты; жаль только, что они со своими чистыми сердцами потонут в болоте.

А у работника осталось мало товарищей, — труд не под силу немногим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук чрезмерными усилиями, — надорвутся, и пропадут...

И не того жаль, что пропадут они, а того, что дело останется не сделано...

И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того: стало компрометировано... От Гракхов до Бабефа, одна и та же история... И после, все она же... Этот жалкий 1848 год...» (Ч., XIII, 218).

Подобного рода рассуждений у Чернышевского сколько угодно. Замедленный зигзагообразный ход прогресса Чернышевский часто пытался объяснить доминирующей ролью «зла» в истории. Той же ролью «зла», интригами «плутов» он объяснял иногда и непосредственные причины поражения буржуазных революций. Но важная «деталь»! Если тому же Фейербаху, как отмечал Энгельс, и в голову не приходило «исследовать историческую роль морального зла», изучать действительных, живых людей в «их исторических действиях»¹¹, то этого никак не скажешь о Чернышевском. Как раз в обзорах «Политика» 1859—1862 гг., выходя к проблеме взаимодействия морали и политики в историческом процессе, Чернышевский блестяще рисует исторические действия «государственных мужей» XIX в.: Луи Наполеона и Кавура, Пальмерстона и Дизраэли, Меттерниха и Гизо, «людей чрезвычайно замечательных» со стороны одного качества — «уменья пользоваться обстоятельствами для своих видов, [для устройства своих дел...]» (Ч., VI, 19). Какую бы систему ни брать, на арене политической борьбы мы «почти только и видим или людей честных, но дающих

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 296, 299.

себя в обман, или людей, умеющих очень хорошо обдѣлывать свои дела при помощи обманываемого благородства, людей, которые умеют хорошо делать, но делают только дурное» (Ч., VI, 231).

Но хотя в любой из известных Чернышевскому политических систем правят «дурные люди», «плуты», царство «зла» все же не остается незыблемым и неподвижным. Дело в том, что хотя крайне ограничен в своем кругозоре простолюдин в феодально-абсолютистской системе, где масса вообще отрешена от политики, и даже принимающий «участие» в политике гражданин буржуазного общества, то ведь не обладают широтой кругозора и представители правящих каст. Они также остаются людьми узкой, частной сферы интересов, отказываются содействовать тому «делу», которым занято общество, а потому рано или поздно терпят крах. «А кому дело приносит личный вред, те никогда и никак не сумеют вовремя понять его неизбежность и непременно затянут его до того, что подвергнутся из-за него неприятностям, еще гораздо худшим для них, чем само это дело» (Ч., VIII, 143).

В романе «Что делать?», растолковывая «тайну всемирной истории» (вспомним, к слову, «Всемирную историю» Шлоссера), Чернышевский многозначительно добавляет, что в характере «плутов», тех самых, которые умели подвергать «повальному обольщению» массу честных людей, оказывалась и всеобщая пагубная черта — умение «на чем-нибудь водить себя за нос». «Уж на что, кажется, искусники были Луи-Филипп и Меттерних, а ведь как отлично вывели себя за нос из Парижа и Вены в места злачные и спокойные буколически наслаждаться картиною того, как там, в этих местах, Макар телят гоняет. А Наполеон I как был хитр, — гораздо хитрее их обоих, да еще при этакой-то хитрости имел, говорят, гениальный ум, — а как мастерски провел себя за нос на Эльбу, да еще мало показалось, захотел подальше, и удалось, удалось так, что дотащил себя за нос до Св. Елены!» (Ч., XI, 61).

Неспособность политиков эксплуататорских классов подняться выше узкоэгоистического интереса рано или поздно приводила к общенациональной катастрофе, хотя ее масштабы были различны в зависимости от того, о какой политической системе шла речь. В системе буржуаз-

ного парламентаризма, «где контроль газет и митингов хотя не так действителен, как воображают англومانь, но все-таки не совсем бессилён и очень полезен», нельзя политикам «упражняться над государством свои способности слишком свободно, и, чуть-чуть подальше свернут они с дороги, их или вовсе сталкивают, или ворочают на дорогу под уздцы» (Ч., VI, 141). В системе феодально-абсолютистской и «виртуозность негодяйства», как выразился Чернышевский в «Что делать?», развивалась до такой степени, как ни в одной из «европейских земель» (Ч., XI, 61), и ниспровержение «зла» сопровождалось крахом всей системы.

Свой главный вывод, синтезирующий громадную работу мысли, Чернышевский выразил в романе «Что делать?», и опять по своему обыкновению аллегорически: «Неглупые честные люди в одиночку не обольщаются. Но у них есть другой, такой же вредный вид этой слабости: они подвержены повальному обольщению. Плут не может взять ни одного из них за нос; но носы всех их, как одной компании, постоянно готовы к услугам. А плуты, в одиночку слабые насчет независимости своих носов, компанионоально не проводятся за нос. В этом вся тайна всемирной истории» (Ч., XI, 61).

Комментаторы «Что делать?» обычно проходят мимо этой забавной аллегории, хотя, казалось бы, над «тайной всемирной истории» стоило поразмышлять. Мы нарушим обычай. «Тайна всемирной истории» — тот факт, что «на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные» (Ч., V, 221), — была заключена в эксплуататорском обществе в тайне отчужденной от народа государственной власти. Используя ее рычаги, «плуты» вроде Меттерниха или Наполеона и получали возможность до поры до времени распоряжаться жизнью и судьбами миллионов людей.

Проникновение в эту «тайну» помогло Чернышевскому подойти к разгадке причин поражения народных масс в финале буржуазных революций. «...Эффектные проявления зла были бы невозможны, если бы дорога для них не была устилаема удобными для их шествия коврами из этих — по-видимому, не особенно ужасных — пороков недурных людей, — писал он сыновьям из Виллюйска. — Например, были бы невозможны Марий и Сулла, если бы

Римский Сенат не поддался «благородному честолюбию» и «похвальному патриотизму» Катона Старшего, требовавшего разрушения Карфагена, и если бы Тиберий и Кай Гракхи не научили — отчасти своими собственными излишними горячностью, отчасти своим падением, — не научили римских сенаторов действовать на форуме дубинами и оружием. На Тиберии и Каие Гракхах Марий и Сулла выучились понимать: лишь бы как-нибудь довести вооруженную организованную силу до форума, а подавить форум уж не трудная вещь» (Ч., XV, 26).

Стоит вспомнить слова Левицкого из «Пролога»: «От Гракхов до Бабефа одна и та же история» (сравни выражение из «Что делать?»: «...и опять та же история в новом виде») — и заменить в этом рассуждении из письма имени Тиберия и Кайя Гракхов на имена Робеспьера и Сен-Жюста, Мария и Суллы — на Дюмурье и Бонапарта, и мы получим «модель» политического движения Великой французской революции XVIII в., той самой, о которой Чернышевский больше всего раздумывал и меньше всего мог писать...

**«Второй сон Веры Павловны»
и «Основания политической экономии»
Милля**

Выделяя мысли Чернышевского о влиянии на ход истории «зла» и «плутов», мы оставались в сфере политики. Но в романе «Что делать?» есть и такое аллегорическое рассуждение, которое выводит нас за рамки одной только этой сферы. «Видишь, как злые бывают разные? — растолковывает Верочке «невеста-революция» во втором ее «сне». — Одни мешают мне: ведь я хочу, чтобы люди стали людьми, а они хотят, чтобы люди были куклами. А другие злые помогают мне, — они не хотят помогать мне, но дают простор людям становиться людьми, они собирают средства людям становиться людьми. А мне только этого и нужно. Да, Верочка, теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых. Мои злые — злы, но под их злою рукою растет добро» (Ч., IX, 124).

За расшифровку этой аллегии комментаторы романа берутся, но, не выходя за канву романа, толкуют ее, на наш взгляд, не очень-то убедительно («...Чернышев-

ский во втором сне Веры Павловны прославляет (?) тех «злых людей», которые борются (?) за доброе дело») или слишком узко — как рассуждение о превосходстве матери Верочки, Марьи Алексеевны, над никчемными аристократами Сторешниковыми («Однако даже в тех случаях, когда простые люди, люди труда, приспособляясь к общественным условиям, делаются «практическими», «злыми», «дурными» людьми, они все же лучше «дрянных» людей — рядовых представителей высших сословий...») ¹².

Вообще говоря, кое-что понять в аллегории можно и вчитываясь в роман, вспомнив, к примеру, что основной заботой Марьи Алексеевны было накопление «капиталу», чтобы «прибыль у нее шла быстрее» (*Ч., XI, 12, 13*), в то время как основным занятием Сторешниковых, которые «тоже вечно хлопотали и толковали о деньгах», было их проматывание (*Ч., XI, 121, 122*). Помогает пониманию и прямое соотнесение разговоров о двух разрядах «злых людей» с разговорами из того же «сна» о двух типах «грязи»: «фантастической грязи» (на тех полянах, где вода не имеет стока, движения, жизни и где требуется «дренаж») и «грязи свежей», «грязи чистой», «реальной грязи» (на тех полянах, где вода «имеет сток», где есть движение, есть жизнь, имеющая «главным своим элементом труд» (*Ч., XI, 119—120*)). Но все же окончательно смысл аллегории разъяснит, думается нам, сопоставление «Второго сна Веры Павловны» с еще одним переводом Чернышевского, на этот раз «Оснований политической экономии» Милля и «Очерков политической экономии (по Миллю)» и с комментариями переводчика к этим сочинениям. Изучив по этим трудам «Трехчленное распределение продукта» (рабочая плата, прибыль, рента), мы сможем высказать предположение, что «злые люди», мешающие тому, «чтобы люди стали людьми», — это паразитический класс феодалов-землевладельцев, «[...класс, которому выделяется рента, всегда был классом консервативным, боровшимся против всяких усовершенствований]» (*Ч., IX, 515*). Мы сможем догадаться далее, что «злые люди», дающие «простор людям стано-

¹² М. Т. Пинаев. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». М., 1963, стр. 65; «Идеи социализма в русской классической литературе». Л., 1969, стр. 205.

виться людьми», — это относительно прогрессивный класс буржуазии, который в погоне за прибылью постоянно расширяет арену «наемного труда», гонит вперед «производство страны» (Ч., IX, 158, 222). Найдется достаточно точный эквивалент и простоватой, «невинной» фразы: «теперь мне нельзя без таких злых, которые были бы против других злых» — «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками. Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживает в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом» (Ч., IX, 516).

Да, далеко не всё узник Петропавловской крепости мог открыто сказать в своем «невинном» «беллетристическом рассказе». Но ведь и предназначался роман прежде всего читателю, знавшему круг философских, политических, экономических идей, пропагандируемых в «Современнике». А этот читатель помнил, вероятно, и выводы нашумевшей статьи «Антропологический принцип в философии», где говорилось, в каком направлении идет развитие «нравственных наук», и было точно обозначено их содержание. Отмечая вредное воздействие богатства на развитие людей, Чернышевский писал: «...это с математической достоверностью обнаруживается той частью нравственных знаний, которая раньше других стала разрабатываться по точной научной системе и в некоторых отделах своих разработана уже довольно хорошо наукою о законах общественного материального благосостояния или обыкновенно так называемую политическую экономией» (Ч., VII, 292). К тем же «нравственным знаниям» Чернышевский относил и политическую науку, подчеркивая пагубное воздействие бесконтрольной абсолютистской власти на людей: «[То, что мы находим относительно большого превосходства одних людей над другими посредством материального благосостояния, надобно еще в бóльшей степени сказать о большом сосредоточении в руках отдельных людей другого постороннего самому человеческому организму средства к влиянию на судьбу других людей, — о силе или власти]» (Ч., VII, 292).

Эти главные выводы знаменитой статьи Чернышевского, в которой зафиксировано своеобразие его «антропологизма», в тенденции стремившегося обратиться из чисто натуралистической теории в свою противоположность — в метод изучения реального человека в системе реальных общественных экономических и политических отношений, нам как-то не доводилось встречать на страницах работ, посвященных «Что делать?», а ведь его герои — кто будет спорить? — прямо-таки бредили «антропологической философией», навеяла она и «Второй сон Веры Павловны» (Ч., XI, 119).

**«Смешение безумия с умом...
вопрос всемирно-исторический»**

Циклический характер прогресса, особая роль революционных периодов в истории, историческая роль «зла» в политической и экономической сферах — это не единственные социологические темы, волновавшие автора «Что делать?». Вполне сродни «злу» по отрицательным последствиям на ход человеческих дел была еще одна зловещая сила. Над ее ролью ломал голову «особенный человек», готовясь физически и духовно к своим титаническим подвигам.

«...Он преспокойно ушел в кабинет, — рассказывает полушутливо-полусерьезно Чернышевский о визите Рахметова к Вере Павловне, — вынул из кармана большой кусок ветчины, ломоть черного хлеба, — в сумме это составляло фунта четыре, уселся, съел все, стараясь хорошо пережевывать, выпил пол-графина воды, потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать, что выбрать для чтения: «известно...», «несамобытно...», «несамобытно...», «несамобытно...», это «несамобытно...» относилось к таким книгам, как Маколей, Гизо, Тьер, Ранке, Гервинус. «А, вот это хорошо, что попалось, — это сказал он, прочитав на корешке несколько дюжих томов «Полное собрание сочинений Ньютона», топорливо стал он перебирать томы, наконец нашел и то, чего искал, и с любовною улыбкой произнес: — Вот оно, вот оно», «Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John», то есть «Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсиса св. Иоанна». «Да, эта сторона знания до сих пор оставалась у меня без

капитального основания. Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смешении безумия с умом. Ведь вопрос всемирно-исторический: это смешение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах. . . Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров ее: читать ее для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое, что есть песок и опилки. Но ему было вкусно» (Ч., XI, 196—197).

Комментаторы романа Н. А. Алексеев и А. П. Скафтымов, обратив внимание на это «забавное» место, занялись вслед за Рахметовым чтением «Observations...» Ньютона и сообщили о его результатах: «В книге, с одной стороны, критически анализируются вселенские соборы как дело интриг византийских императоров, трезво, критически освещается почитание святых как идолопоклонство, а с другой стороны, библейские апокалиптические «пророчества» трактуются в мистическом смысле как подлинное предсказание отдаленнейших исторических событий и как свидетельство того, что «вселенная управляется провидением»» (Ч., XI, 717).

Не отрицая важности подобных изысканий, заметим, что важно заняться не одним только поводом, который дал пищу для размышлений Рахметова, но и самой сутью этих размышлений.

Наблюдения Рахметова над смешением «безумия с умом. . . во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах» — а они очень схожи с наблюдениями Маркса, сделанными как раз в «рахметовском» возрасте¹³, — передавали в суммарном, сжатом виде результат многолетних раздумий-поисков Чернышевского, начавшихся еще на студенческой скамье и не прекращавшихся до ареста. Константацию того факта, что незнание всякого рода: «рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти» — оказывало куда более сильное воздействие на «ход исторических событий», нежели «здоровые понятия о вещах,

¹³ Сравни: «Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 112).

знание и стремление к истинным благам», что это пагубное влияние незнания (как и «зла») определило страшную замедленность, извилистость, громадные издержки человеческого прогресса (*Ч.*, V, 221), мы постоянно встречаем в его работах.

При этом, что особенно важно для уяснения характера и уровня теоретических представлений Чернышевского, он не ограничивается одной только общей постановкой вопроса о «смещении безумия с умом» в делах человеческих, до которой уже поднялись некоторые деятели Просвещения XVIII в., дожившие до финала Французской революции¹⁴. Мыслитель пытается и более тщательно разобраться в механизмах воздействия невежества, незнания на ход исторических дел, особенно в сфере политики.

Отметим чрезвычайно интересные его наблюдения над несовпадением человеческой теории и практики — разделенностью «мысли и исполнения... долгим периодом развития»; сложностью сохранения хладнокровного рассуждения «о шансах любимого дела в то самое время, когда стараешься об исполнении его»; превращением цели в свою противоположность «при переходе человека из наблюдательного, теоретического положения к практической деятельности» (*Ч.*, III, 238; IX, 352; IV, 293). Отметим, далее, его напряженные размышления над трудностью, медленностью усвоения новых, особенно научных, идей массой, у которой нет «привычки к серьезному мышлению», которая склонна принимать «слова за дела», которая крайне непостоянна в своих увлечениях; «масса никогда не имеет непоколебимых и ясных политических убеждений, она следует впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и отдельными важными мерами», что, впрочем, не исключает наличия у той же массы и «большого здравого смысла», и способности получить склонность к предмету, «не имея отчетливого сознания о нем» (*Ч.*, II, 273; VI, 31; V, 44; VII, 473; VII, 886).

Выделим специально и мысли Чернышевского о разного типа политиках, склонных к предвзятой точке зрения, а посему неизбежно впадающих в ошибки, теряю-

¹⁴ Сравни радищевскую характеристику «осмнадцатого столетия»: «столетье безумно и мудро» (*А. Н. Радищев. Полн. собр. соч.*, т. I. М.—Л., 1938, стр. 127).

щих из-под ног «твердую опору практической действительности», независимо от того, чем эта предвзятая точка зрения была определена — ослепленностью ли своей идеей, простым незнанием, узостью кругозора или сознательным противоречием истине по корыстным соображениям (Ч., VI, 133; V, 54, 162, 215, 312 и др.). Напомним, наконец, рассуждения Чернышевского о трудностях становления самой науки об обществе, которая на первых порах (как это было с Сен-Симоном или Фурье) не могла не принимать форму утопии: «...первые проявления новых общественных стремлений всегда имеют характер энтузиазма, мечтательности, так что более походят на поэзию, чем на серьезную науку» (Ч., VII, 156).

Подчеркнем еще одно коренное отличие Чернышевского от просветителей XVIII в. Будучи, как и они, глубоко убежденным в том, что просвещение с его мощными орудиями — наукой и искусством даст «начало новому направлению человечества», окажет могучее воздействие «на развитие нашей общественной жизни», послужит «для блага человека» (Ч., I, 128; III, 25; II, 268—269), он уже не преувеличивал в отличие от своих предшественников преобразующей роли разума, новых идей в истории. Что касается глубинных переворотов, то «изменения эти, — подчеркивал он, — производятся влиянием исторических событий, преобразующих отношения классов, условия труда, гражданские учреждения нации». «Факты, — писал Чернышевский, — не уступают никаким увещаниям, а подчиняются только силе других фактов»; «...не книгами, не журналами, не газетами пробуждается дух нации, — предупреждал он, — он пробуждается событиями» (Ч., IV, 875, 272, 765). Но признание определяющего влияния на ход истории других, более существенных факторов, чем просвещение, литература, новые идеи, не отменяло, согласно его представлениям, важности внесения в ход истории разумного начала, ускоряющего ход прогресса, смягчающего его крайние формы, дающего человеку власть над теми же ранее неподвластными ему событиями.

Далеко не все результаты многолетних размышлений Чернышевского над различными аспектами «всемирно-исторического вопроса» попали на страницы романа «Что делать?». Но то, что в романе были синтезированы основные результаты его раздумий, неоспоримо. Об этом го-

ворят и «переключки» многих мест романа со многими положениями предшествовавших ему работ Чернышевского, об этом говорят и черты Рахметова — политика невиданного ранее типа, и черты окружающих его «новых людей» с их страстной, неутолимой жаждой знания, сочетающейся с постоянным просвещением других.

А в одном из мест романа, в случайно брошенной полусерьезно фразе, передана и вера писателя в то, что революционное просвещение народа даст в конце концов свой результат: «...люди толкаются, толкаются в одну сторону только потому, что не слышат слова: «а попробуйте-ка, братцы, толкнуться в другую», — услышат и начнут поворачиваться направо кругом, и пошли толкаться в другую сторону» (Ч., XI, 33).

Впрочем, способность «новых людей», «особенных людей» изменять ход событий, влиять на массы с целью ускорения хода истории заслуживает специального рассмотрения.

И снова «новые люди»

Систематическое изучение политических событий в Европе и Америке, опыта великих буржуазных революций постоянно наталкивали Чернышевского на проблему роли «невежества», «недомыслия», «зла» в революционных процессах. Не менее важно отметить, что и его обзоры, а еще более роман «Что делать?» были в какой-то мере попыткой наметить позитивное решение громадной сложности проблем, встававших в этой связи.

«Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами...» — писал Чернышевский о нарождавшейся в России неведомой ранее породе «новых людей» (Ч., XI, 11). Взгляд обычно скользит по этой фразе, читатель не догадывается, какие серьезные раздумья стоят за каждым из этих на первый взгляд простых слов.

Людам, вступавшим на путь революционной борьбы, нужно было, по мнению Чернышевского, прежде всего умение, умение и еще раз умение, «хладнокровная практичность, ровная и расчетливая деятельность, деятельная рассудительность» (Ч., XI, 144). Это требование понятно, если мы вспомним о гигантской сложности процессов политической жизни. Наука политики — одна из

необходимейших и в то же время труднейших, это лучше всех в России середины XIX в. знал автор знаменитого романа, вложивший в уста студента-медика Лопухова прекрасные слова: «...эта теория холодна, но учит человека добывать тепло... Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут предметом праздного сострадания. Ланцет не должен гнуться — иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия в правде жизни» (Ч., XI, 65—66).

Чернышевский различал два ряда трудностей, вставших на пути грядущего социального переворота.

Прежде всего трудности, связанные с пробуждением и подъемом народных масс на борьбу, для чего недостаточны усилия даже сотен и тысяч пропагандистов, а нужна пропаганда «самими событиями», исключительные потрясения коренных устоев народной жизни, самих судеб нации. «Это не мелочь какая-нибудь; это было важное дело, великая ошибка, страшный урок, и остался бесполезным, натурально, — вспоминает Волгин о неудавшемся бланкистском перевороте во Франции 12 мая 1839 г. — Видишь, в первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний; неудачно; — рассудили: «Подождем, пока будет сила»; ну и держались несколько лет смирно; и набирали силы; но опять недостало рассудка и терпения; подняли восстание; — ну и поплатились так, что долго не могли опраться» (Ч., XIII, 54).

Но с другой стороны, там, где великие события (освященные пропагандой революционеров) поднимали на борьбу широкие массы, возникали новые особые сложности, и самая главная среди них — возможность отката революции назад, возможность узурпации плодов победоносной народной борьбы. Мысли на эту тему прослеживаются и в статьях Чернышевского 1857 г. (рецензия на «Историю Сербии по сербским источникам»), и в статьях 1860 г. («Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре»), и в рассказах романа «Что делать?» о ближайшей судьбе «новых людей», и в романе «Пролог».

За этими статьями, абзацами, иногда отдельными фразами — глубочайшие раздумья. Мысль Чернышевского (как в свое время Радищева) бьется над загадкой

рокового исхода глубинных социальных движений прошлого, современных ему буржуазных революций.

Правда, немногими из современников Чернышевского, наверное, были замечены или поняты все эти глубокие раздумья. Но так или иначе, а семена были посеяны. Делая все возможное и даже невозможное для умножения числа «новых людей», Чернышевский предупреждал своих соратников о трудностях избираемого ими пути. А сколько лет отделяло «посев от жатвы» — дело практики. Надо было, чтобы до уровня Чернышевского, мыслителя, уходившего на целые десятилетия вперед (благодаря теоретическому осмыслению опыта прошлой борьбы), доросла сама эпоха, доросла русская революция, доросли ученики, шедшие практически тем тяжким путем, который заранее в самых общих чертах старалась обрисовать теория.

И наконец, еще одна черта «новых людей» — честность, честность, еще раз честность. «Каждый из них, — писал Чернышевский о «новых людях», — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук: это одна сторона их свойств; с другой стороны, каждый из них — человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в голову вопрос: «можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?» Это ясно, как то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна, — смело кладите на нее свою голову, на ней можно отдохнуть» (Ч., XI, 144).

Только в свете уроков шлоссеровского «пятого тома» можно понять, почему Чернышевский с такой настойчивостью писал об этой черте. Только в свете уроков прежних буржуазных революций можно понять, почему Чернышевский выдвинул совершенно особенные нравственные мерилы по отношению к вождям революции, тем людям, которые берут в свои руки судьбы других людей. «Новые люди» Лопухов и Кирсанов работают на благо общества, но это люди, имеющие и свой собственный интерес, пускай подчиненный общественному. Рахметов, «особенный человек», этот настоящий антипод Кромвелям и Бонапартам, от собственного «я», от собственных интересов совершенно отказывается. Урок, полученный от «душеприказчиков» буржуазных революций, потребо-

вал от Чернышевского выдвижения совершенно особого критерия — абсолютного, полного бескорыстия вождя революции. «Мы требуем для людей, — говорил Рахметов, — полного наслаждения жизнью, мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности» (Ч., XI, 201).

Автор «Что делать?» (до нас дошел этот отзыв В. И. Ленина о романе) не просто звал людей на путь революции, он показал «еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления»¹⁵.

Об этой невиданной ранее в России «породе» людей Чернышевский размышлял по сути дела с самого начала своей публицистической деятельности, черты этих «новых людей» разыскивал, собирал, выявлял, рассказывая русскому читателю о Лессинге, Белинском, Герцене, Огареве, Добролюбове, Грановском, а также о новых политиках типа Брайта в Англии или Гарибальди в Италии, сделавших целью своей жизни народный интерес. Без этих многолетних поисков-раздумий вряд ли удалось бы автору «Что делать?» создать и свой необыкновенный по силе образ первого среди «новых людей» — «особенного человека». «Мало их, — писал Чернышевский, — но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли» (Ч., XI, 210).

А о том, что этот идеальный тип не был только лишь идеалом, что это был жизненный образ, свидетельствовала жизнь самого Чернышевского, жизнь его соратников — Добролюбова, Серно-Соловьевичей, Михайлова, Шелгунова, жизнь и деятельность Герцена и Огарева.

¹⁵ «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., 1960, стр. 651—652.

«Четвертый сон Веры Павловны» и «Перемена декораций»

Утверждение «Чернышевский — крупнейший экономист, философ и политик России 60-х годов — оставался философом и в своем беллетристическом творчестве»¹⁶ довольно точно обозначает направление исследований, ведущихся в советской литературе о «Что делать?». Другое дело — всегда ли они удаются. О некоторых их результатах говорилось в одном из изданий 50-х годов: «Произведение романтично не только в «снах». И главное, художественная романтика «Что делать?» источалась не столько из утопической основы идеала писателя и из его отвлеченно-антропологического взгляда на человека, сколько из реальной романтики борьбы в период революционной ситуации 1859—1861 годов»¹⁷.

О сущности «отвлеченно-антропологического взгляда» Чернышевского на человека мы уже говорили. Поговорим теперь об «утопической основе идеала» писателя-социалиста, а затем о «реальной романтике борьбы».

К примеру, автор выдвигает (мы берем типичный случай) никем не оспариваемый тезис: «Утопический характер «крестьянского социализма» Чернышевского вызвал отрыв его мечты от действительности, определил утопичность и идилличность картин будущего в романе «Что делать?»». О главной из этих картин, «Четвертом сне Веры Павловны», тот же автор пишет: «Царство светлой красавицы настолько идиллично и свободно, что оно «освобождается» даже от законов диалектики: в нем исчезли всякие общественные противоречия, не заметно борьбы нового со старым, совершенно изгнаны недостатки, нет противоречий между отдельным человеком и коллективом... Люди будущего не испытывают ни огорчений, ни страданий, они ангелоподобны (!) и знают только радость и наслаждение жизнью. Да, размечталась Вера Павловна, задремала в своей мягкой постельке — и при-

¹⁶ «Идеи социализма в русской классической литературе», стр. 203.

¹⁷ С. М. Шубаев. К вопросу об особенностях художественного метода Н. Г. Чернышевского в романе «Что делать?». — В. Тупикин, С. Шубаев, В. Щеулин. Некоторые вопросы наследия Н. Г. Чернышевского (К 70-летию со дня смерти писателя). Шахты, 1959, стр. 37.

снилась ей идиллия будущего, нарисованная одной розовой краскою. Но этот «сон» видела не только героиня романа. Сам автор «Что делать?» верил в этот «сон», верил в крестьянскую социалистическую революцию в России. Верили его соратники и ученики»¹⁸. А победу этой «крестьянской социалистической революции» и рисует, по бытующему в нашей литературе представлению, заключительная глава романа «Перемена декораций» и предшествующая ей сцена какого-то восторженного (но, добавим мы, с нотками скорби) зимнего «пикника».

Цитируем другого автора: «Весело провожая последний зимний день, герои романа радостно приветствуют дни весеннего возрождения... Зимний «пикник» уже предвещал приход революции... В романе ее приход он (Чернышевский. — *Авт.*) датирует 1865 г. Произошла перемена общественных порядков в стране. Только при этом условии стало возможным проявление «мужчины лет тридцати», открыто направляющегося в коляске в Пассаж, место публичных общественных выступлений... Дорога в Пассаж Чернышевскому была знакома. Летом 1861 г. он готовился читать в Пассаже публичные лекции по политической экономии. Тогда ему не удалось выполнить свое желание. А сейчас на практике должна осуществиться революционная программа экономической «теории трудящихся!»¹⁹

Мысль о том, что в романе «Что делать?» утопический социалист Чернышевский показал современникам «идеал близкого будущего», возможность его воплощения «на настоящем этапе развития общества», прочно утвердилась в нашем литературоведении. И хотя те же комментаторы «Что делать?» изредка вспоминают о трезвости и реализме Чернышевского-революционера, осознании им «трагического аспекта проблемы положения демократов-революционеров в обществе», оказывается, «коллизии борьбы за социалистическое переустройство общества, сложности этого процесса не делаются предметом изображения и анализа в романе. Соответственно своей утопической природе роман заканчивается, как автор и обе-

¹⁸ Г. П. Верховский. О романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Ярославль, 1959, стр. 124, 125.

¹⁹ М. Т. Пинаев. Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», стр. 214, 222, 223.

щал читателю, «весело, с бокалами, песнью» — победой революции в 1865 г.»²⁰.

Чернышевский действительно был утопическим социалистом, мечтавшим, особенно в 50-х годах, использовать крестьянскую общину как ячейку будущего социализма. Он действительно не исключал, наблюдая за ходом реформы, возможности крестьянской революции. Он говорил, что революционерам необходимо возглавить ее, например, в статье «Не начало ли перемены?» (1861 г.). И в тюрьме он оказался за написание прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Наконец, весь роман «Что делать?» пронизан идеей необходимости воспитания революционеров, создания подпольной организации, способной возглавить грядущую революцию. Все это так, и во всем этом сомневаться не придется. Однако утверждение многих литературоведов о том, будто Чернышевский верил, что «крестьянская социалистическая революция» в самом ближайшем будущем (1865 г.!) приведет к победе, осуществлению «на практике революционной программы экономической «теории трудящихся», вызывает у нас сомнения. Это утверждение основано на анализе заключительной главы романа, которая обычно толкуется как пророчество о близкой победе идеей социализма. Но все дело в том, что по букве ее названия («Перемена декораций») глава эта соотносится вовсе не с «Четвертым сном Веры Павловны». Она соотносится с тем самым пророчеством, где автор предсказывал, что герои романа, после того как их воля будет «исполняться всеми», тем не менее «будут согнаны со сцены». А теперь подчеркнем, что терминология («буква») в подцензурном «Что делать?» выдержана строго и несет громадную смысловую нагрузку.

Декорации на театральной сцене могут меняться не раз, тем более на сцене исторической. Последнюю истину Чернышевский втолковывал своим сподвижникам всю жизнь. Предвидя в свете опыта прошлого долгую борьбу за социалистическое будущее²¹, мыслитель заключал (это место не вошло в журнальный текст его примечаний

²⁰ «Идеи социализма в русской классической литературе», стр. 193, 208, 227—228.

²¹ Об этом подробнее см.: А. И. Володин. Будущее в социологической концепции Н. Г. Чернышевского. — «Социологические исследования», 1975, № 1, стр. 131—144.

к Миллю): «Замена аристократического феодализма господством среднего сословия оказалась в истории делом, требующим нескольких веков, да и это дело после нескольких веков все еще не покончено в самых передовых странах... Сколько же времени понадобится, чтобы приобрел господство в исторической жизни простой народ, которому одному и выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим! По всей вероятности, это будет история очень длинная». Помянув затем демонстрацию чартистов в Лондоне и июньскую битву пролетариата Парижа, он добавлял: «Обе битвы были даны в 1848 г. Обе были проиграны... А впрочем, с каким бы успехом ни были даны они, мы должны вперед знать, что проигрыш только возвращает дело к положению, из которого должны возникать новые битвы, а выигрыш не только первый, который и сам когда-то еще будет, но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не дает окончательного торжества, потому что интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию, страшно сильны. Разве одним ударом или двумя ударами была разрушена Римская империя?» (Ч., IX, 832—833).

Но если Чернышевскому в такой перспективе представлялся ход «начинающейся вековой борьбы за социализм» в «передовых странах Западной Европы» (Ч., IX, 833), то что же говорить о перспективах близкой победы социализма в отсталой крестьянской России! И когда Чернышевский писал в «Письмах без адреса»: народ «нас (т. е. революционеров) не знает даже и по имени» (Ч., X, 90), то писалось это не для красного словца и не для отвода глаз цензуре, это была горькая истина, вскоре подтвержденная и практикой — знаменитым «хождением в народ»; семидесятникам не помогло даже переодевание в мужицкое платье. А что касается «особенных людей» 60-х годов, которые вообще не дошли до народа, то напомним еще раз сказанное о них в «Что делать?» (это как раз то место, где автор «смеется» над главным своим героем): «Таких людей, как Рахметов, мало: я встретил до сих пор только восемь образцов этой породы» (Ч., XI, 197). «Восемь (!) образцов» на семидесятимиллионную забитую Россию — не маловато ли для возможности воплощения социалистического идеала «на настоящем этапе развития общества», если вспомнить к тому же, что «ригорист» Рахметов и его друзья (приведем полугруст-

нос, полунасмешливое свидетельство автора романа), собираясь вместе, только и делали, что «отыскивали друг в друге неконсеквентности, модерантнизм, буржуазность, — это были взаимные опорочивания; но, в частности, у каждого отыскивался и особенный грех» (Ч., XI, 138). Иными словами, проблема «Что делать?» была для них самих еще не очень-то ясна...

Нет, Чернышевский не ожидал, что крестьянская революция в ближайшем будущем утвердит в России социализм, хотя это и не исключало ни предположений о ее возможности в самые ближайшие годы, ни обоснования идеи необходимости руководства революцией, ни пропаганды социалистического идеала. Одним словом, автор «Что делать?» не хуже главного героя своего романа «знал и умел выполнять законы постепенного подготавливания» (Ч., XI, 213).

Что же касается «идиллий» в самом «Четвертом сне Веры Павловны», то надо все же делать различие между идиллиями, вытекающими из мировоззрения писателя, и идиллиями, преднамеренно рисуемыми им с какими-то «особенными» целями (хотя, разумеется, и эти идиллии имеют отношение к мировоззрению автора). Может быть, это различие и покажется чересчур тонким, но на нем настаивает опять же сам автор «Что делать?»: «Идиллия нынче не в моде, и я сам вовсе не люблю ее, то есть лично я не люблю, как не люблю гуляний, не люблю спаржи, — мало ли, до чего я не охотник?.. Но я знаю, что эти вещи, которые не по моему личному вкусу, очень хорошие вещи, что они по вкусу, или были бы по вкусу, гораздо большему числу людей, чем те, которые, подобно мне, предпочитают гуляню — шахматную игру, спарже — кислую капусту с конопляным маслом... Для огромного большинства людей, которые ничуть не хуже меня, счастье должно иметь идиллический характер, и я восклицаю: пусть станет господствовать в жизни над всеми другими характерами жизни идиллия!» (Ч., XI, 162)²².

Правда, любитель «шахматной игры» и «кислой капу-

²² Мысль о том, что поначалу научные идеи «массы, как таковые», еще не поднявшись над уровнем обыденно-житейских представлений, не могут усваивать «иначе, как веру», развивал выдающийся итальянский марксист А. Грамши (А. Грамши. Избранные произведения в 3-х томах, т. 3. М., 1959, стр. 29).

сты с конопляным маслом» называл «чистейшим вздором» уверения насчет того, что «идиллия недоступна. Она не только хорошая вещь почти для всех людей, но и возможная, очень возможная; ничего трудного не было бы устроить ее, — добавлял он, — но только не для одного человека, или не для десяти человек, а для всех» (Ч., XI, 162—163). Это опять-таки весьма и весьма существенное уточнение вопроса о сроках и путях осуществления светлого коммунистического идеала.

О коммунистическом идеале Чернышевского

Сугубо идиллические картины «Четвертого сна Веры Павловны» нельзя непосредственно, во всех деталях отождествлять с собственными представлениями Чернышевского о социализме и коммунизме. Эта мысль была не так давно высказана в нашей литературе. В своем романе, пишет Н. Н. Наумова, Чернышевский вообще не брал на себя задачу «конкретного описания коммунизма». «Она невыполнима не только для той эпохи, но и для нашего времени. Перед нами сон, который может осуществляться только в зримых образах (отсюда конкретность деталей) и тем не менее остается сном, то есть концентрирует впечатления и размышления Веры Павловны Кирсановой». И еще: «Если принять эти подробности за некую авторскую модель коммунизма, то придется признать их сверхнаивными»²³.

«Сверхнаивность» конкретных деталей «сна» Веры Павловны несомненна. Верочке снится, к примеру, что люди будущего станут жить в громадных «чугунно-хрустальных» или алюминиево-хрустальных (на юге) дворцах, что из того же алюминия будет вся внутренняя отделка зданий и вся мебель, что люди будут работать на нивах под «огромным пологом» и обязательно с песнями, что после работы все сообща будут обедать и веселиться в «громаднейших великолепнейших» залах, что все будут «прекрасны телом и чисты сердцем», будут «стройны и грациозны», что здесь будет преобладать «костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время

²³ Н. Наумова. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Л., 1972, стр. 47, 49.

Афин», и «на мужчинах тоже широкое длинное платье без талии» и т. п. (Ч., XI, 276, 277, 278, 279, 280, 281—283 и др.).

Но если не принимать все эти подробности за «некую авторскую модель коммунизма», то на основании чего мы должны судить об этой «модели»? Попробуем, развивая мысль Н. Наумовой, ответить на вопрос. Для характеристики коммунистического идеала Чернышевского остаются те общие идеи, которые навеяли «сон» и которые причудливо преломились в сновидениях героини романа.

Прежде всего это — освобожденный труд, «вольный труд в охоту» как основа всего благосостояния, здоровья общества, причем «почти все» за людей будущего «делают машины», люди «почти только ходят, ездят, управляют машинами» (Ч., XI, 278, 282).

Это — гармония будущего отношения человека с природой, гармония, достигнутая на основе неустанного труда по преобразованию природы, недаром хрустальные дворцы будущего окружают густые, изобильные нивы, оранжереи, недаром люди будущего так много времени проводят на юге, обращая в «плодороднейшую землю» бесплодные прежде пустыни; это им удается, ибо они научились «обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе» (Ч., XI, 277, 280—281).

Это — гармония будущих отношений человека с человеком, недаром люди светлого царства будущего не знают «ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя», получают все сполна по своим разумным потребностям: «кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета... За каждую особую вещь или прихоть — расчет» (Ч., XI, 279, 282).

Это — наибольшая, мы бы сказали, предельная свобода каждого человека: «каждый может жить, как ему угодно», «здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля»; это — полное счастье жизни, даваемое гармоническим сочетанием труда и отдыха, физического здоровья и нравственного развития (Ч., XI, 280, 281, 283).

Это, наконец, свободная от внешних оков любовь, в основе которой лежит удовлетворение всей полноты чувств, полное равноправие полов: «...если ты хочешь одним словом выразить, что такое я, — говорит «царица

любви» в «Четвертом сне Веры Павловны», -- это слово — равноправность» (Ч., XI, 276).

Гармония отношений человека с природой и межчеловеческих отношений, предельная свобода личности, освобожденная любовь, свободный труд как основа всего развития общества... Не слишком ли это общо, скажут нам, и не мало ли этого для характеристики коммунистического идеала Чернышевского?

Но ведь ничего, кроме самых общих представлений о будущем, и не содержится в понятии «идеал»; его значение состоит в том, чтобы обозначить те пределы, к которым движется человечество, никогда не достигая их полностью и абсолютно, но бесконечно и во все большей степени приближаясь к ним. «...Недостижимостью идеала не нужно огорчаться», — растолковывал Чернышевский в комментариях к Миллю, «безусловного совершенства» в осуществлении новых форм жизни «достичь невозможно человеку не только теперь, но и решительно никогда». Но отсюда еще вовсе не следует, что тщетны усилия по достижению новых форм. Как раз наоборот: именно благодаря этим усилиям «расстояние между безусловным совершенством и достигнутою степенью совершенства остается все меньше и меньше: а человеческие потребности удовлетворяются все полнее и полнее с каждым новым успехом» (Ч., IX, 461, 462, 464).

Призывом к неустанному действию во имя осуществления идеалов коммунизма заканчивается и «Четвертый сон Веры Павловны»: «...будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостями и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего» (Ч., XI, 283—284).

Что стояло практически за всеми этими призывами, говорят нам страницы других произведений Чернышевского, и прежде всего его комментарий к «Основаниям политической экономии» Милля и «Очеркам из политической экономии (по Миллю)».

Критикуя непоследовательность буржуазного объективиста Милля, который считал социализм и коммунизм общественным устройством в идеале, принципе более высоким, чем капитализм, но на практике предлагал за-

няться улучшением именно последнего (ввиду отдаленности социализма и особенно коммунизма), Чернышевский писал: «Кажется, что рассудительные люди так не поступают. Близка или далека цель, все равно нельзя выпускать ее из мысли, нельзя, потому что, как бы далека ни была она, ежеминутно представляются и в нынешний день случаи, в которых надобно поступить одним способом, если вы имеете эту цель, и другим способом, если вы не имеете ее» (*Ч., IX, 353*).

Чернышевский связывал утверждение социализма, затем коммунизма²⁴ прежде всего с использованием завоеваний буржуазной эпохи, машинного производства (см., например, *Ч., IV, 307, 729; VII, 662—663; IX, 216—217, 222, 435—436, 458*). Но вместе с тем он длительное время надеялся на возможность использования для такой отсталой страны, как Россия, и остаточных форм патриархального общинного землевладения. По его мнению (см. статьи 50-х годов), эти формы облегчали переход к новым принципам, развитым западным миром и одновременно могли предохранить «массу земледельцев от пролетариата» (*Ч., IV, 307*).

Жизнь показала утопизм этих надежд. Но, подчеркивая историческую ограниченность мыслителя, отметим вместе с тем, что община не занимала в социалистической концепции Чернышевского самодовлеющего места (как не занимала в идейной концепции романа «Что делать?» самодовлеющего места идея организации кооперативных товариществ по образцу швейной мастерской Веры Павловны). Связано это было с ясным пониманием того, что условия самодержавного абсолютистского строя решительно исключали всякую возможность радикальных общественных преобразований. Именно поэтому в публицистике Чернышевского начиная примерно с 1859 г. (как затем и в романе «Что делать?») выдвигается на первое место задача революционного свержения самодержавия — задача труднейшая по исполнению. Этой задаче подчиняется все остальное, в частности и та мис-

²⁴ Чернышевский, как и Милль, проводил четкое различие между социализмом и коммунизмом: «... эпоха коммунистических форм жизни, вероятно, принадлежит будущему, еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также очень далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма» (*Ч., IX, 831*).

сия просвещения «простолюдинов», которую герои «Что делать?» начинают осуществлять уже в среде заводского люда. Вспомним, что Лопухова занимают больше всего «заводские дела», «занятие в заводской конторе... важно, — говорит он Верочке, — дает влияние на народ целого завода» (Ч., XI, 193, 194). Вспомним и то, что «завод служит обыкновенною целью частых загородных прогулок кирсановского и бьюмонтовского кружка» (Ч., XI, 326).

Кто знает, до каких высот в развитии революционной теории поднялся бы Чернышевский, не будь его деятельность прервана в самом расцвете творческих сил арестом и последующей ссылкой!

«...И путь легок и заманчив...»

Смысл идиллий романа «Что делать?» начал понемногу проясняться в нашей литературе, но он все же далеко не выяснен до конца. Предоставим слово авторам школьного учебника, выдержавшего двадцать пять изданий.

««Что делать?», — учат они, — одно из самых оптимистических произведений русской литературы. Замечательна песенная рамка, в которую заключен роман: он начинается «песенкой», «бойкой и смелой», которую распевал революционный народ Франции в 1790 г. ...Каждая строфа этой песни, в которой звучит мотив торжества скорой революции, заканчивается припевом:

Ах, это устроится, устроится, устроится,
На фонарь аристократов!
Ах, это устроится, устроится, устроится,
Аристократов повесят!

Роман заканчивается ликующей песней Томаса Гуда, переведенной другом Чернышевского, поэтом М. Л. Михайловым... И за этой песней, славящей победу над мраком, победу жизни над смертью, следует заключительная глава «Перемена декораций», в которой говорится о гибели старого мира, разрушенного революцией, о перемене общественных декораций.

Роман Тургенева (имеется в виду роман «Отцы и дети». — Авт.) заканчивается печальной, щемящей сердце картиной заброшенного сельского кладбища, на котором похоронен Базаров. Это своеобразный реквием.

Роман же Чернышевского заканчивается картиной победившей революции, солнечным гимном победившего народа»²⁵.

Школьный учебник, который мы цитировали, хорош именно тем, что дает сведения, «отстоявшиеся» в науке, и к тому же сведения, передаваемые миллионам людей. А сами оценки учебника основательно подкреплены текстами. Действительно, радостные мотивы слышны в прологе романа, радость обещает и финал («дело кончится весело, с бокалами, песнью!») (*Ч., XI, 10—11*), содержат идиллии и другие главы. Дабы подтвердить правоту специалистов, мы и сами приведем одно из таких мест: «Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, — призывал автор, — поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно, думайте — думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается — их не нужно... Попробуйте: — хорошо!» (*Ч., XI, 228*).

Не правда ли, как вдохновляющи пропагандируемые автором теории «чистого наслаждения жизнью», как завлекательна рисуемая им картина прогресса — без жертв, без лишений (их «не требуется», «не нужно»), как манит путь развития («путь легок и заманчив»)...

Теперь самая пора спросить специалистов: а не всплывают ли в их памяти совсем иные поучения — о трудностях исторического прогресса, ну хотя бы известное изречение Чернышевского: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта...» (*Ч., VII, 923*)?

Чем объяснить какую-то необъяснимую непоследовательность мысли писателя²⁶? Может быть, во всем вино-

²⁵ А. А. Зерчанинов, Д. Я. Райхин. Русская литература. Учебник для средней школы. М., 1967, стр. 154—155.

²⁶ Следует отметить, что в новом учебнике «Русская литература» (под ред. проф. Б. И. Бурсова. М., 1973) вопрос трактуется уже несколько иначе: «Чернышевский знал, что путь в революцию — это путь, требующий от человека неисчислимых жертв, громадной выдержки, и он не скрывал этого от тех, к кому обращал свой роман»; приводятся и соответствующие высказывания автора

вата та самая «реальная романтика борьбы в период революционной ситуации 1859—1861 годов», из которой «источалась» «художественная» романтика «Что делать?»? Посмотрим, что происходило за стенами Алексеевского равелина как раз в ту пору, когда писался роман, и как происходящее отразилось на его содержании.

Светлые картины романа и окружающий мрак

Еще в год «великой реформы» 1861 г. крестьяне, одетые царем в шинели, расстреляли в Кандеевке, Бездне и других деревнях России крестьян-лапотников, осмелившихся было всерьез поверить в дарованную царем «волю». Уже в 1862 г. стало ясно, что объединиться с «барскими крестьянами» их «доброжелателям» революционерам-разночинцам не удалось, не удалось договориться и между собой и растолковать другим, «как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать?». Правда, «расстрелянное недоумение крестьян в Бездне» могло еще обернуться всеобщим крестьянским возмущением²⁷.

Но в условиях, которые Чернышевский называл «недостатком общности в понятиях между собою и людьми, для которых работаешь», это решение крестьянских масс самим взяться за «ведение своих дел» могло привести лишь к разрушительному бунту. «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее», — писал Чернышевский, якобы обращаясь к царю в тех же безответных «Письмах без адреса». И хотя последняя фраза предназначалась для отвода глаз цензуре, автор «Писем...» высказывал горькую истину, когда отмечал: «...народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы

романа («они сойдут со сцены»). С другой стороны, здесь же сообщается о радостном ожидании героями романа близости революции, где «все празднично, радостно, светло», приводятся высказывания: «это не так трудно», «и путь легок и заманчив» (стр. 136, 141, 142). Однако причины такой несогласованности остаются без выяснения.

²⁷ Мы пользуемся терминологией прокламации Н. Г. Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (*Ч., VII, 517—525*) и терминологией Герцена (*Г., XVII, 10*).

между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (Ч., X, 90, 92). Правда, в самом начале 60-х годов у революционеров были надежды, что им все же удастся возглавить стихийное народное возмущение, придать ему нужное направление. Но надежды эти стали быстро исчезать спустя год-другой.

К середине 1862 г. произошел резкий перелом (воспользуемся терминологией «Колокола») в сторону «бешеной реакции» в правительственной политике по отношению к оппозиционным кругам молодежи в городах. Реакция стала не от случая к случаю, как прежде, а систематически и методически выпалывать ту еле заметную зеленую поросль «новых людей», которая начала было пробиваться к свету на громадных просторах российского темного царства. В мае 1862 г. была создана особая Следственная комиссия для расследования дел о «распространении прокламаций», летом начались многочисленные аресты, были запрещены (поначалу временно) лучшие органы общественного мнения (журналы «Современник» и «Русское слово»), закрыты воскресные школы и такой рассадник «крамолы», как петербургский Шахматный клуб. За решеткой оказались властители дум Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, один из вождей революционного подполья — Н. А. Серно-Соловьевич. «Террор не унимается, — писал Герцен, сообщая в «Колоколе» об аресте Чернышевского и Серно-Соловьевича, — непрерывные аресты, премии доносчикам, благодарность потапствующим литераторам²⁸, подкупы солдат... все безобразия страха, нестерпимого ничем, — страха какого-то недоросля и Нерона вместе» (Г., XVI, 227). Правда, оставшиеся на воле вожаки «Земли и воли» делали последние отчаянные попытки сохранить организацию, упрочить контакты с лондонской эмиграцией, переломить в свою пользу ход событий, еще надеясь, что массовое крестьянское возмущение начнется в 1863 г. — в момент введения в действие

²⁸ «Потапствующие литераторы» — производное от имени начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением А. Л. Потапова.

уставных грамот. Но обреченность их усилий становилась с каждым месяцем все очевидней...

И как всегда, трагедия общественная оборачивалась трагедиями личными. Чернышевского больше всего терзала мысль о терзаниях той, которую в письме из Петропавловской крепости от 5 октября 1862 г. он называл «милый мой друг, моя золотая, несравненная Лялечка», той, которой он обещал «скоро», через «месяц, другой», вернуться из заточения (Ч., XIV, 455—457). Ей же он будет затем писать с каторги, с Александровского завода восемь лет спустя: «Милый мой друг, радость моя, единственная любовь и мысль моя Лялечка... Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя. Пишу наскоро. Потому немного... 10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему» (Ч., XIV, 500). Но царь-«освободитель» милостиво позволил автору «Что делать?» «оставаться праздным» еще не один год, и переселился он не в Иркутск, а гораздо севернее — в Вилюйск; там были, по свидетельству очевидца, очень уж красивые, располагающие к отдыху пейзажи — «спереди и сзади, направо и налево, на горизонте не видно ничего, кроме этой бесконечной тундры»²⁹. «Воздух здесь очень здоровый», — сообщал Чернышевский Оленьке, прибыв в Вилюйск в январе 1872 г. А потом пошли опять письма и письма с «обыкновенным моим известием о себе: я совершенно здоров и живу очень хорошо», и опять за тысячи и тысячи километров клочок бумаги доносил до Оленьки зов изнемогающей души: «Крепко обнимаю и тысячи и тысячи раз целую тебя, моя милая радость, единственная моя мысль, мое счастье, мой милый дружок. Будь здоровенькая. Целую и целую тебя» (Ч., XIV, 512, 685, 718).

И была в ту пору, когда писался роман «Что делать?», еще одна, до конца жизни кровоточащая рана, ее нанесла жизнь как раз в год «великой реформы». Тогда, всего лишь за несколько месяцев до ареста, Н. Г. Чернышевский писал возлюбленной Добролюбова Терезе

²⁹ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II. Саратов, 1959, стр. 139.

Карловне Гринвальд: «Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (Ч., XIV, 449). О смерти Добролюбова скорбела вся мыслящая Россия, и скорбь эту Некрасов впоследствии запечатлел в словах проникновенной горечи и силы:

Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно:
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно...
Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...³⁰

Нет, революционная Россия видела в конце 1862 — начале 1863 г., когда создавался роман «Что делать?», отнюдь не ярко-розовый свет занимающейся революционной зари, она видела «в близком будущем», поверим этому свидетельству современника, «тот же губительный мрак»³¹. И совсем напротив, этот мрак казался солнечным дневным светом шефу жандармов князю Долгорукому, который хвастал в годовом отчете, представленном Александру II в начале 1863 г., что на этот раз удалось «рассеять скопившуюся над русскою землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае»³².

Мрачная неизвестность перед страной, безмерные потери, страшная личная трагедия и вдруг — образы развлекающихся в безобидном «веселье» героев романа, радужная вера в предстоящую вот-вот, через год-другой «крестьянскую социалистическую революцию», которая сразу, одним махом («перемена декораций»!) перебросит Россию из «темного царства» в светлое царство «ангелоподобных» людей — «Четвертый сон Веры Павловны»...

Нет, Чернышевский не был создателем «оптимистического произведения» в таком облегченном варианте, он

³⁰ Н. А. Некрасов. Стихотворения и поэмы. М., 1971, стр. 178.

³¹ «Колокол», л. 148, 22 октября 1862 г., стр. 1227.

³² Цит. по: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV. Пг., 1920, стр. 589.

не был бездумным оптимистом — это доказывает внимательное прочтение романа, серьезное изучение той эпохи, которая его родила.

Со стороны чисто внешней «Что делать?» — произведение романтическое, если угодно — идиллическое. И в этой романтике еще не было отступления от правды жизни, хотя и не была еще вся ее правда. Романтика и реализм — категории не одного только литературоведения, но и реальной революционной борьбы. Чернышевский прекрасно понимал, что романтика — могучий побудитель человеческих деяний, что она могла толкнуть молодежь на путь революции. Но автор «Что делать?» знал и другое: руководствоваться в борьбе романтикой — значит обречь себя на поражение. И поэтому за первым, романтическим слоем лежал второй, глубинный, реалистический пласт, он постепенно открывался внимательному читателю, который начинал постигать и истинный смысл безобидных «развлечений» рядовых героев романа, и смысл титанических подвигов его главного героя, и смысл тех «иронических юмористических оборотов» автора, которые «усложняли аллегоризм».

За легкой вуалью водевильных сцен «Что делать?» различимо изображение разночинских подпольных кружков. В описаниях бесконечных вечеринок и пикников постоянно выдерживается двойной план: здесь идет одновременно «и веселый разговор... и серьезный разговор» (Ч., XI, 118). Пока одни танцевали «кадриль» или играли «в горелки», рассказывает об одном из собраний автор, другие «отыскивали друг в друге неконсеквентности... Разумеется, постороннему человеку трудно выдержать такие разыскивания дольше пяти минут...» (Ч., XI, 138). Такая же «ожесточенная ученая беседа с непомерными изобличениями каждого чуть не всеми остальными во всех возможных неконсеквентностях» шла и в тот самый вечер, когда «некоторые изменники возвышенному прению» помогали Вере Павловне убить вечер (Ч., XI, 193—194). А в одном из мест обозначены сюжеты, волновавшие «развлекающихся» героев романа: от «тогдашних исторических дел (междоусобная война в Канзасе, предвестница нынешней великой войны севера с югом, предвестница еще более великих событий не в одной Америке...» до тогдашнего спора «о химических основаниях земледелия по теории Либиха, и о законах исторического

прогресса», и о «великой важности различения реальных желаний... от фантастических... выставленной тогда антропологической философией, и обо всем, тому подобном и не подобном, но родственном» (Ч., XI, 118—119). И главное, центром «веселых компаний» оказывается, как правило, «мрачный» Рахметов...

Черты облика Рахметова³³ явно гиперболичны. Живым революционерам не приходилось развивать физическую силу, питаясь кровавым бифштексом, тянуть бурлацкую лямку, читать по нескольку суток кряду одни лишь эпохальные труды, запрещать себе прикасаться к женщине, а тем более «спать на гвоздях».

Но люди, вступавшие в единоборство с самодержавием, догадывались в той или иной мере, какая правда была скрыта за внешним неправдоподобием. Дело революции требовало неукротимой энергии — и Рахметов учил самозабвенно, без остатка отдаваться делу. Дело революции требовало колоссальных знаний — и Рахметов звал работать над собой вдесятеро больше, чем работает обычный человек. Революционное подполье менее всего годилось для удовлетворения потребностей и желаний личности — и Рахметов учил, как их надо подавлять. А в непосредственной близости перед юношами, вступавшими на рахметовский путь, — тому учила и судьба самого Чернышевского — маячили не хрустальные дворцы из «Четвертого сна Веры Павловны», а мрачные казематы, куда заживо погребали очередного «жениха», только что обручившегося с «невестой-революцией». Об этом написаны тома, мы ограничимся короткой, почти бухгалтерской справкой из труда уже упоминавшегося нами придворного историка: «Дознание над тысячью слишком привлеченными к ответственности молодыми людьми за социально-революционную пропаганду, — описывает он итог знаменитого «хождения в народ» 70-х годов, — продолжалось несколько лет. За это время из них: 43 человека умерли в тюрьме, 12 совершили самоубийство, 3 покуша-

³³ Отметим, что вождя «новых людей» — революционера-профессионала Рахметова Чернышевский сделал выходцем из потомственных дворян (фамилии «одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе» — Ч., XI, 198), как бы символизируя преемственность двух поколений — дворянского и разночинского — в русском революционном движении 60-х годов XIX в.

лись на него, наконец 38 сошли с ума»³⁴. И это одно только «дознание», в самом начале долгого пути!

А молодежь шла и шла этим путем, она вступала на него добровольно, без тени корыстного расчета, все новые и новые поклонники «невесты-революции» повторяли небывалый подвиг, к которому звал их наделенный такими «неестественными» чертами литературный герой.

Что же касается иллюзий насчет того, что уже первое поколение «новых людей» выйдет на «богатые радостью, бесконечные места», то они-то не были присущи Чернышевскому; в этом, очевидно, смысл расхождений автора «Что делать?» с более оптимистически настроенными «благородными людьми», смысл его горьких насмешек над «забавными» людьми «особой породы», тех насмешек, в которых, по его собственному выражению, «слышатся стоны» (Ч., VI, 323).

Правда, «докопаться» до этого смысла «иронически-юмористических оборотов», опираясь на содержание одного только романа, трудно, надо было привлечь и публицистику Чернышевского, и его автобиографические записки, и целенаправленные переводы Шлоссера, а прежде всего знать историю буржуазных революций. Но в конце концов опыт собственной революционной борьбы давал последователям Чернышевского то знание, которое было синтезировано, спрятано в трудных для понимания строках, давал ту мудрость, которой учили революционные события прошлых веков и десятилетий в Европе.

Как бы то ни было, но роман делал свое дело. «Уходя со сцены», писатель-революционер нанес ощутимый удар самодержавию. Непокколебимая убежденность автора романа в торжестве дела революции и социализма дала не одному поколению русских (и не только русских) революционеров «заряд на всю жизнь» (Ленин)³⁵, узник Алексеевского равелина сделал невероятно много для того, чтобы русское революционное движение все снова и снова оправлялось от репрессий, набирало новую и новую силу. «Что делать?» стал настоящим «лучом света в темном царстве», лучом, осветившим дорогу борьбы за счастье. Но, призывая читателя выращивать ростки светлого

³⁴ С. С. Татищев. Император Александр II, его жизнь и царствование, т. II. СПб., 1911, стр. 549.

³⁵ «В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 650.

будущего в темном царстве настоящего, Чернышевский тут же предупреждал, что это будет долгий, изнурительный, опасный труд.

И все же Чернышевскому в начале 60-х годов было, очевидно, в какой-то мере присуще, как и его соратникам, ожидание скорой революции в России, вера в то, что страна в ближайшее время вступит на дорогу открытой политической борьбы (хотя, подчеркнем еще раз, они по-разному представляли себе масштаб и характер тех трудностей, которые встанут перед победителями после «перемены декораций»). Надежды эти оказались тщетными. Россия — это выявилось в середине 60-х годов XIX в. — вступала на путь буржуазного прогресса, пережив не великую народную очистительную революцию на манер Французской, а убогую, половинчатую «великую» реформу, оставившую в неприкосновенности самодержавный строй, сохранившую массу крепостнических пережитков в экономике страны. Движение по «европейскому» пути, ставшее неизбежностью после Крымской войны, оказалось куда более мучительным, тягостным и для народа, и для его передовых сил, чем это представлялось в конце 60-х годов даже самому трезвому из русских революционеров, — в этом лежат причины столь резкого усиления у автора «Пролога» той трагической интонации, которая различима и в «романтическом» «Что делать?». Скорбные раздумья-тревоги героев «Пролога», которые уже не верят в близость революции, пожалуй, лучше всего оценит и объяснит А. В. Луначарский: «Эпоха, можно сказать, усеяна была трупами и полутрупами, из которых одни сопротивлялись и были сломлены, другие согнулись, остались в живых, но были искалечены, приобрели резко выраженные патологические черты.

Могучий и светлый Чернышевский, который, занимая даже самые радикальные позиции, не мог уже чувствовать себя таким одиноким, как Белинский, все же весьма скептически относился к надеждам революционного порядка для своего времени. Блестящим и раздирающим памятником этих сомнений, этого научного скептицизма Чернышевского является так мало оцененный в нашей литературе роман его «Пролог»³⁶.

³⁶ А. В. Луначарский. Статьи о литературе. М., 1957, стр. 286—287.

Мы попытались обосновать важные выводы, которые касаются глубинных основ не одного только романа «Что делать?», но и всей концепции Чернышевского. Если попытка удалась, то наши выводы должны, вероятно, найти подтверждение в мемуарах современников: ведь трудно предположить, чтобы все сказанное нами стало ясно только во второй половине XX в.

Мы говорили об особой важности издания Чернышевским «Истории восемнадцатого столетия. . .» Шлоссера, и особенно пятого тома; мы утверждали, что Шлоссер и дал толчок раздумьям Чернышевского о «законе» движения буржуазных революций, вывел его к проблеме взаимосвязи морали и политики в историческом процессе. А вот что писал Добролюбов — уже без оглядки на цензуру — в письме к своему другу И. И. Бордюгову 28 июня 1859 г.: «Читай, читай и читай пятый том «Исторической библиотеки», недавно вышедший: там Шлоссер рассказывает о французской революции. Это блаженство — читать его рассказ. Я ничего подобного не читывал. Ни признака азарта, никакого фразерства, так неприятного у Луи Блана и даже Прудона, все спокойно, ровно, уверенно. Прочитаешь его и увидишь, что Николай Гаврилович вышел из его школы. . . Читай его непременно» (Д., IX, 371).

А вот еще одно свидетельство русского революционера тех времен об общественном значении перевода Чернышевского. Вспоминая, что многим заключенным только в тюрьме удавалось «читать спокойно, без перерыва, серьезные книги», П. А. Кропоткин ссылался прежде всего на «Историю восемнадцатого столетия. . .» Шлоссера, книгу, которую «все без исключения попавшие в русскую тюрьму прочитывают по нескольку раз. . . из нее наша молодежь знакомилась с французской революцией за неимением лучших сочинений»³⁷.

Мы говорили о прямой и непосредственной связи между обзорами Чернышевского в «Современнике» и сочинением Шлоссера. А вот что пишет о содержании «Современника» тех лет Н. В. Шелгунов: «То был ряд статей

³⁷ П. А. Кропоткин. Записки революционера. М., 1966, стр. 304. Добавим, что сочинения Ф. К. Шлоссера штудировал в молодости и А. И. Герцен.

о гоголевском периоде русской литературы и затем ряд статей по Шлоссеру из его «Истории XVIII столетия...». Завеса, закрывавшая до сих пор от публики политические и исторические отношения Европы, была приподнята»³⁸.

Воспроизводя социологическую концепцию Чернышевского, мы выделяли его мысли о кратковременности периодов господства народа, неизбежности отката буржуазных революций назад, о медленной, зигзагообразной, но все же восходящей линии прогресса, важности введения парламентских форм. А вот как передает содержание этой концепции В. Н. Шаганов, рассказывая о расставании каторжан-ишутинцев с Чернышевским в ноябре 1871 г.: «Тогда, на прощание, он высказал нам нечто вроде своего политического завещания... Он говорил нам, что со времени Руссо во Франции, а затем и в других европейских странах демократические партии привыкли идеализировать народ, — возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. Самодержавие народа вело только к передаче этого самодержавия хоть Наполеону I и, не исправленное этой ошибкой, многократно передавало его плебисцитами Наполеону III ... Он, Чернышевский, знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от игнорирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя... Сама история не давала указаний на этот путь; его не открыли пока ни практика, ни теория политики. До сих пор получавший власть народ только разрушал свое счастье, и партии, даже народные, получая власть в свои руки, также не могли направить ее на благо народа. Но при власти партий все же более вероятности сделать что-нибудь в пользу народа, чем при отсутствии всяких политических форм, а следовательно, и всякой возможности предпринять что-либо в указанном направлении»³⁹.

Как же выглядели в свете этой социологической концепции мыслителя, еще не поднявшегося в силу отсталости страны до научной теории пролетарской борьбы, пер-

³⁸ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. I, стр. 208.

³⁹ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II, стр. 135, 136.

спективы крестьянской революции в самодержавной России? «Он отлично понимал силу народной инерции и знал, что победа прогресса придет не сразу, что будет несколько — и довольно много — волн прилива и отлива, — вспоминал о своих разговорах с Чернышевским еще один из шестидесятников, Н. Я. Николадзе. — В конечном итоге, несомненно, победит правда и разум, но это будет не скоро, и не одно поколение — этого он не скрывал от нас, молодежи, — положит свои кости в борьбе за воцарение добра. Но в чем он не сомневался, это в том, что уныние, овладевшее высшими сферами после крымского разгрома, логически неизбежно приведет к революции, торжество которой будет непродолжительно и сменится жестокою расправой реакции с ее ядовитыми элементами»⁴⁰.

Анализируя «идиллические» картины «Что делать?», мы возражали против упрощенного их толкования. А вот суровое (и какое же справедливое!) предупреждение против поверхностного восприятия романа читателя — современника Чернышевского, который лучше других знал, что «смех вовсе дело не шуточное», знал, какие шутки может проделывать с писателем проклятый «эзопов язык». «...Всякий разумный человек, — писал М. Е. Салтыков-Щедрин, — читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и прнударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пеннем и плясками»⁴¹.

Мы привели высказывания достаточно авторитетных свидетелей, думаем, их свидетельства подтверждают сказанное выше.

К итогам борьбы вокруг романа «Что делать!»

Жизнь давно перечеркнула крайние оценки консервативно-охранительной критики, оценки Асоченских, Катковых, Цитовичей, творцов триединой формулы: «бездарно,

⁴⁰ «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. I, стр. 398.

⁴¹ «Современник», 1864, № 3, отд. «Современное обозрение», стр. 59.

безнравственно, опасно». «Бездарное» произведение осталось в русской литературе одним из лучших образцов подцензурной революционной классики, на его «безнравственных» и «опасных» идеях воспитывались и воспитываются все новые поколения «новых людей».

Но за сто с лишним лет борьбы вокруг романа «Что делать?» никто, кажется, всерьез не разобрал главный аргумент либеральной критики — суждение дореволюционных (и современных зарубежных) литературоведов о бездумно-«идиллической», «розовой» окраске романа, «добродушном оптимизме», «облегченности» представлений его автора о трудностях освободительной борьбы. Напомним, что такие дореволюционные комментаторы «Что делать?», как Н. Косица (Н. Н. Страхов), С. А. Венгеров, Л. С. Зак, отталкиваясь от видимости вещей, в один голос приписывали Чернышевскому непонимание того, что «высокие и трудные вещи достигаются тяжкими и долгими усилиями», забвение тех жертв, «которые выпадают на долю пионеров», отмечали отсутствие у него и его учеников «той жгучей борьбы сомнений, в горниле которой закаляли свой дух все великие искатели истины»⁴². А на профессора Е. Х. Карра, комментатора американского издания романа «Что делать?», навязчивые описания «развлекающихся в безобидном веселье» героев романа произвели не так давно «тревожное впечатление» полного отсутствия у автора книги «не только таланта, но и здравого смысла!»⁴³.

Подобная интерпретация «идиллических» мест романа вызвала следующую отповедь одного из наших литературоведов: «Вечность страданий, — писал Н. И. Пруцков, — таков удел человечества, такова мысль всех тех, кто или злобно умирал в социальной агонии, или же приходил в бессильное отчаяние от ужаса жизни... Но вот явился Чернышевский, величайший представитель утопического социализма в России, а затем Горький. Они убедительно показали, что счастье жизни на земле возможно

⁴² Н. Косица (Н. Н. Страхов). Счастливые люди. — «Библиотека для чтения», 1865, № 7 и 8, стр. 160—161; С. А. Венгеров. Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907, стр. 72; «Энциклопедический словарь». Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, т. XXXVIII-A (76-й полутом). СПб., 1903, стр. 679.

⁴³ «What is to be done? Tales about new peoples by N. G. Chernyshevsky». New York, 1961, p. XIV.

и без искупительной жертвы, без страданий, без жестокости. Человек рождается для счастья, а не для искупления страданием своей извечной греховности и не для того, чтобы послужить лишь «навозом» для счастья будущих поколений. . . Не все поняли глубочайший, далеко идущий смысл романа «Что делать?», заключенной в нем «теории наслаждения». Даже демократы (и среди них такой пронщательный, как Гл. Успенский) выражали недоумение и упрекали автора в том, что его героям все очень легко дается: счастье личной жизни и общественной деятельности, радость плодотворного труда и радость служения великим целям. . . Критики — противники Чернышевского издевались, иронизировали над его концепцией счастливой жизни, а в сущности они трепетали перед возможностью действительного счастья на земле без бога и страданий»⁴⁴.

Но дает ли простая перемена оценок на противоположные («добродушный оптимизм» романа — свидетельство ущербности концепции мыслителя, безудержный оптимизм романа — свидетельство «глубочайшего смысла» этой концепции) подлинное представление о смысле проблемы и содержании романа Чернышевского? И можно ли так уж безоговорочно объявлять Чернышевского создателем некой «теории наслаждения» или «концепции счастливой жизни»: ведь его произведения 50—60-х годов, и среди них роман «Что делать?» (мы это показали), настойчиво подчеркивали мысль об огромных трудностях революционной борьбы?

Разумеется, подтекст «Что делать?», глубинный реалистический пласт романа, не мог быть вскрыт сразу, без предварительной работы, и едва ли кто станет ныне предъявлять претензии к первым советским комментаторам книги, приступавшим к ее исследованию в начале 20-х годов. Жизнь уже вполне обучила к тому времени специалистов трудностям революционного дела, но еще не дала им времени и возможности познать трудности прочтения подцензурной революционной классики. «. . Мы уже практически вступили на путь социалистического преобразования общества, — писал автор предисловия к первому советскому изданию «Что делать?» А. Марты-

⁴⁴ Н. И. Пруцков. Русская литература XIX века и революционная Россия. Л., 1971, стр. 109—111.

нов, — и видим на практике, как труден этот славный путь, как велика уплачиваемая нами цена победы, в то время как героиня романа Чернышевского Вера Павловна еще только видела в безмятежном сне, как строится социалистическое общество, и это строительство ей представлялось идиллическим, окутанным розовой дымкой»⁴⁵.

То недопонимание романа, которое было извинительно для нашего литературоведения в 1923 г., вряд ли извинительно полсотни лет спустя. . . Недооценка всей глубины содержания основных произведений Чернышевского, будь то роман «Пролог» (о чем писал еще Луначарский) или роман «Что делать?», — это недооценка самих устоев русской революционной традиции.

Жизненность революционного наследия проверяется одним главным критерием — насколько это наследие прошлого помогает преобразованию жизни в настоящем. И на данном этапе освоения наследия русских революционных демократов нам уже мало одних только доказательств революционности того или иного писателя. Теперь, когда русская революционная традиция выявлена полностью и утверждена, акцент, естественно, смещается в иную плоскость, главным становится определение типа, глубины, содержательности выявленных революционных идей. Есть революционность и «революционность». Есть революционность, обобщающая огромный исторический опыт, и есть «революционность» бездумная, есть революционность всесторонне взвешенного лозунга и «революционность» фразы, есть революционность, предвидящая опасности и трудности борьбы, способная дать правильный ответ на вновь и вновь возникающий вопрос «что делать?», и есть «революционность» восторженно-идиллическая, оторванная от жизни, оборачивающаяся неизбежным поражением.

Оценивая наследие Чернышевского с этой точки зрения, мы можем без колебания утверждать: это наследство в целом, включая и роман «Что делать?», выдержало проверку временем. Чернышевский и в «рахметовский период» оставался глубоким, мыслящим, трезвым революционером, учившим своих соратников и последователей

⁴⁵ Н. Г. Чернышевский. Что делать? М.—Пг., 1923, стр. V.

пониманию громадных трудностей революционной борьбы и одновременно убежденности в ее конечной победе.

Эту трезвость ценил в Чернышевском В. И. Ленин. И он вспомнит имя Чернышевского, когда будет писать книгу под названием «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», рассказывающую зарубежным коммунистам о том, как Россия «выстрадала» долгими десятилетиями борьбы правильную революционную теорию и применила ее на практике: ««Политическая деятельность — не тротуар Невского проспекта» (чистый, широкий, ровный тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга), говаривал еще русский великий социалист домарковского периода Н. Г. Чернышевский. Русские революционеры, со времен Чернышевского, неисчислимыми жертвами заплатили за игнорирование или забвение этой истины». Ленин добавлял: надо добиться, чтобы коммунисты других стран «не так дорого заплатили за усвоение этой истины, как отсталые россияне»⁴⁶.

Русским революционерам-шестидесятникам и их вождям пришлось «сойти со сцены», так и не дождавшись грядущей революционной эпохи. Но и в пору убогой либеральной реформы, пользуясь малейшими «ослаблениями» самодержавной власти, вожди «партии» «Современника», гиганты 1861 г. — Чернышевский и Добролюбов сумели совершить максимум возможной исторической работы — сумели заложить основы революционно-демократической традиции, выковать тип профессионала-революционера, завещать ему правило: «будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи»⁴⁷.

Правда, восприняты были их заветы далеко не сразу в полной мере. И особенно трудным для продолжения традиций оказалось, как представляется, первое десятилетие после «ухода со сцены» поколения великих шестидесятников. . .

⁴⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 7—8, 55.

⁴⁷ Из мемуаров С. Г. Стахевича. — «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II, стр. 77.

Выстрел Каракозова

Действия на авось не имеют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неуменье и нежеланье додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и леность мысли, ведущая за собою необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок.

Д. И. Писарев

«...Нужно употреблять самые энергичные меры...»

4 апреля 1866 г. бывший студент, 25-летний Дмитрий Владимирович Каракозов, совершил покушение на царя. Покушение не удалось. Как сообщали на следующее утро газеты, «провидение бодрствовало над драгоценною жизнью»: случайность спасла Александра II.

Выстрел 4 апреля свидетельствовал всему миру о неприятии демократической русской молодежью деятельности царя-«освободителя». Но покушение не было понято народом. «Счастье их, что Каракозову не удалось убить государя, а то бы мы напрудили Фонтанку дворянской кровью» — так поговаривали в Петербурге представители «низших» классов; в Каракозове многие из них видели агента дворянской партии, подосланного отомстить Александру II за уничтожение крепостного права. И пусть версия о том, что крестьянин Комиссаров помешал Каракозову попасть в царя, является всего-навсего одним из мифов; совсем не мифичны проникнутые горьким чувством разочарования слова Каракозова, обращенные к схватившим его, нет, не к жандармам, а к таким же, как Комиссаров, людям из толпы: «Дурачьё! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!..»¹

¹ А. А. Шилов. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года. Пг., 1919, стр. 53, 11.

Каковы бы ни были намерения Каракозова, объективно его выстрел сыграл отрицательную роль. Реакционные силы использовали событие 4 апреля для того, чтобы отобрать почти все из сделанных в конце 50-х — начале 60-х годов незначительных политических уступок, заглушить ожившее было движение радикальной молодежи². С. М. Степняк-Кравчинский свидетельствовал в «Подпольной России», что после выстрела Каракозова «бешенство реакции удвоилось. В несколько месяцев было уничтожено все, что еще носило на себе печать либерализма первых лет царствования. Это была истинная вакханалия реакции»³.

Не ограничивая себя задачей выявления непосредственных участников покушения, председатель особой следственной комиссии Муравьев стремился, по его собственным словам, «обнаружить зло в самом корне и принять меры для окончательного подавления противоправительственного направления»⁴. Были произведены многочисленные обыски у лиц «сомнительной благонадежности», брошены в тюрьмы многие из тех, кто лишь подозревался в «политическом свободомыслии». Чуть ли не поголовно Муравьев арестовывал членов разного рода просветительных кружков, издательских артелей, воскресных школ и т. п.

В напечатанной Герценом в «Колоколе» статье «Каракозов, царь и публика», доставленной из России, говорилось: «...Петербург, за ним Москва, а до некоторой степени и вся Россия, находятся чуть не на военном поло-

² Масштабы его — после самоликвидации «Земли и воли» — были невелики. Движение в сущности ограничивалось полуполигальной и легальной деятельностью кружков Н. А. Ишутина в Москве и И. А. Худякова в Петербурге, которая сводилась в основном к попыткам организации на артельных началах швейной и переплетной мастерских, бытовых коммун (две попытки организовать промышленные артельные предприятия не удалась), к открытию бесплатных школ, библиотек, к отдельным попыткам пропаганды знаний в народе. После покушения на Александра II всей этой деятельности ишутинцев пришел конец (подробнее см.: М. М. Клевенский. Ишутинский кружок и покушение Каракозова. М., 1928; Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). М., 1965).

³ С. М. Степняк-Кравчинский. Избранное. М., 1972, стр. 390.

⁴ Цит. по: А. А. Шилов. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года, стр. 18.

женин; аресты, обыски и пытки идут беспрерывно; никто не уверен в том, что он завтра не подпадет под страшный Муравьевский суд за какое-нибудь слово, сказанное много лет тому назад, или даже просто за знакомство с кем-нибудь из арестованных; правительство окончательно сбросило с себя и последние дырявые остатки либеральной мантии; обскуранты взяли царя решительно под свою опеку; невыносимо тяжелая, душная николаевская атмосфера охватила собою всю святую Русь; печать придушена до нелепости, а в перспективе виднеется еще худшее. . .» Далее корреспондент сообщал, что ретрограды нападают на власти за их «либерализм», за то, что Чернышевскому было дозволено писать в тюрьме роман, укоряют правительство за «недостаточность шпионства, за слабость цензуры» и всеми силами стараются «сделать солидарными с Каракозовым всех нигилистов, включая сюда всех сколько-нибудь свободно мыслящих, всех нетретроградов»⁵.

А как обрадовался Муравьев, узнав, что Каракозов учился в той самой саратовской гимназии, в которой в свое время преподавал Чернышевский!.. Забрезжила мечта о повторном судилище над вождем русской демократии, уже находившимся в ссылке. Но оказалось, что в те годы, когда Чернышевский вел преподавательскую деятельность в Саратове, Каракозов мог быть только в первом классе, а там будущий руководитель «Современника» занятий не вел. Привлечь его к делу не удалось.

Было в конце концов выпущено и большинство арестованных, не оправдавших «надежд» Муравьева. Но тем не менее реакция не унималась. «Горестное событие, совершившееся 4 апреля», было расценено Муравьевым как «последствие полного нравственного разврата нашего молодого поколения». Отсюда следовал курс на усиление вмешательства власти во все области общественной жизни, и прежде всего в область духовного, нравственного воспитания молодежи: таковое должно быть направляемо «в духе истин религии, уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка»⁶.

⁵ «Колокол», л. 224, 15 июля 1866 г., стр. 1829, 1830.

⁶ Цит. по: А. А. Шолов. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года, стр. 54.

Эти идеи и легли в основу царского рескрипта от 13 мая 1866 г., знаменовавшего поворотный пункт в политической тактике царизма, переход к системе открытой реакции. Правительство вводит особые правила, чтобы окончательно обуздать студенчество (запрещение студенческих кружков, землячеств, касс взаимопомощи и т. п., сокращение количества студентов, особенно вольнослушателей, в университетах, вменение в обязанность учебному начальству и полиции информировать друг друга о нравственности и политической благонадежности студентов и т. п.). Усиливается власть губернаторов, им подчиняются относительно самостоятельные ранее органы местного самоуправления. Окончательно закрываются «Современник» и «Русское слово»: на следствии было установлено, что они имели большое влияние на «злумышленников».

Смелый, но безрассудный поступок Каракозова нанес большой вред освободительному движению и вот еще в каком отношении: явившись первым практическим делом после стольких разящих слов, он как бы говорил: вот, смотрите, во что на самом деле выливается «нигилизм», куда в действительности ведет проповедь «отрицателей».

Тезис «каракозовщина — практический нигилизм» составлял сущность антиреволюционной пропаганды того времени, которую вели Катков и его многочисленные соратники и единомышленники. В той или иной степени эта идея получает распространение и в общественном мнении, поэтому на ней следует несколько задержаться.

Представлять дело таким образом, будто выстрел Каракозова вообще не имел никакой связи с революционно-демократической идеологией 60-х годов, было бы неверным. Герцен явно ошибался, когда полагал, что поступок Каракозова — акт мести одиночки-фанатика, за действия которого революционный лагерь не может нести никакой ответственности⁷. На самом деле каракозовское покушение на Александра II было в известной мере логическим следствием той антиправительственной пропаганды, которая и тайно и явно велась и до реформы, и на протяжении всего пореформенного пятилетия.

⁷ «Колокол», л. 219, 1 мая 1866 г., стр. 1789; л. 220, 15 мая 1866 г., стр. 1797; л. 221, 1 июня 1866 г., стр. 1805; л. 224, 15 июля 1866 г., стр. 1829; л. 228, 1 октября 1866 г., стр. 1861; л. 230, 1 декабря 1866 г., стр. 1882.

По свидетельству современника, первыми словами, сказанными Каракозовым царю, были: «Ваше величество, вы обидели крестьян!» По другой версии, на вопрос Александра II: «Почему же ты стрелял в меня?» — он ответил: «Потому что ты обманул народ — обещал ему землю да не дал»⁸. Если эти сведения достоверны, перед нами всего лишь повторение того, что было сказано Каракозовым в его воззвании «Друзьям рабочим», написанном незадолго до покушения. Убийство царя-злодея представлялось там в качестве единственного выхода из того безнадежного положения, в котором оказались крестьяне. Ловко обманул их царь: «Отрезали от помещичьих владений самый малый кус земли, да и за тот крестьянин должен выплатить большие деньги, а где взять и без того разоренному мужику денег, чтоб откупить себе землю, которую он испокон века обрабатывал». Крестьяне бунтовать стали, да толку-то что? Царь послал «своих генералов с войсками наказать крестьян-ослушников, и стали эти генералы вешать крестьян да расстреливать. Присмирели мужички, приняли эту волю-неволю, и стало их житьишко хуже прежнего. . .»⁹.

Во всем этом нельзя не видеть воспроизведения известных положений руководителей русской революционной демократии. «. . . Государь обманул ожидание народа — дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна», — говорилось в прокламации «К молодому поколению»¹⁰. Идея об обмане народа царем систематически проповедовалась и на страницах «Колокола»: «Народ царем обманут», — заявлял Огарев. В подцензурных журналах «Современник» и «Русское слово» в завуалированной форме преподносились те же идеи. Отсюда следовал естественный вывод о необходимости ликвидации самодержавия. При определенных условиях среди недостаточно зрелой в политическом отношении молодежи этот призыв мог быть понят и истолкован как идея цареубийства, физического уничтожения императора. Напомним в этой связи, что еще летом 1862 г.

⁸ А. А. Шилов. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года, стр. 11.

⁹ «Покушение Каракозова». Стенографический отчет, т. I. М.—Л., 1928, стр. 293.

¹⁰ Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания в 2-х томах, т. I. М., 1967, стр. 332.

«Молодая Россия» призывала к кровавому суду над «императорской партией» во главе с царем: «Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых!»¹¹

В том же направлении эволюционировали и замыслы ишутинцев. К идее дополнить сравнительно безобидные и малоперспективные в условиях царской России формы артельной, просветительной деятельности формами решительной политической борьбы Ишутин пришел где-то к началу 1865 г., когда, по свидетельству его соратника Загибалова, он «начал говорить, что мы занимаемся пустяками и что для достижения нашей цели нужно употреблять самые энергичные меры»¹². В 1865 г. происходит перестройка до того рыхлых и аморфных кружков на началах централизации, создается рассчитанная на подготовку «социальной революции» «Организация» и ее тщательно законспирированное ядро — «Ад». «Ад», как сообщает исследователь, «мыслился как особый заговорщический центр, стоящий над тайным обществом и применяющий методы террора не только к самодержавию, но ко всему, что может послужить помехой осуществлению намеченных революционных планов. Он брал на себя и карательные функции по отношению к участникам тайного общества»¹³. Что касается самих революционных планов вожаков «Ада», то они свелись в условиях почти полного безмолвия народа и политической апатии общественности к подготовке «систематических цареубийств». Эти акты и должны были пробудить народ, уничтожить самодержавие, открыть путь к установлению социалистического строя.

В том же духе мыслил, а главное, действовал Каракозов. «Удастся мне мой замысел, — писал он в своем воззвании, — я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу, русскому мужичку. А не удастся, так все же я верю, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для

¹¹ Цит. по кн.: «Политические процессы 60-х гг.». М.—Пг., 1923, стр. 262.

¹² «Покушение Каракозова». Стенографический отчет, т. II. М.—Л., 1930, стр. 366.

¹³ Э. С. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.), стр. 398.

них смерть моя будет примером и вдохновит их. Пусть узнает русский народ своего главного могучего врага, будь он Александр второй или Александр третий и так далее — это все равно. Справится народ со своим главным врагом, остальные, мелкие его враги — помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи — струсят, потому что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля»¹⁴.

Сами ишутинцы — члены кружка, к которому принадлежал Каракозов и с ведома руководителей которого он действовал, — считали себя последователями Чернышевского¹⁵. Идеиная связь кружка с Чернышевским была отмечена и в приговоре по каракозовскому делу: «...Роман этого преступника «Что делать?» имел на многих из подсудимых самое губительное влияние, возбуждая в них нелепые противообщественные идеи»¹⁶. Действительно, эту книгу ишутинцы рассматривали как подлинный учебник жизни. Л. Оболенский писал, что ишутинцы подражали Рахметову, вели аскетический образ жизни. И состоятельный П. Ермолов расхаживал в крестьянском полушубке, а А. Никольский спал на голом полу. П. Ф. Николаев также говорил об этом родстве: «...сближение с мастерами, странствование по разным кабакам и притонам, суровая дисциплина в личной жизни, плавание на волжских пароходах Ишутина и Каракозова в качестве водоливов были до значительной степени навеяны Рахметовым. Эти двое, каждый некоторыми отдельными черточками, безусловно, напоминали Рахметова. Каракозов был очень похож на Никитушку Ломова»¹⁷.

Из учения Чернышевского ишутинцы взяли идею создания ассоциаций, мысль о необходимости передачи земли крестьянам, отрицательное отношение к политическому реформизму. Это давало право П. Ф. Николаеву писать в своих позднейших воспоминаниях, что члены

¹⁴ «Покушение Каракозова». Стенографический отчет, т. I, стр. 294.

¹⁵ Впрочем, на допросе в Следственной комиссии В. Н. Шаганов показал, что не только «Современник», но и «Русское слово» читались и обсуждались в кружке ишутинцев.

¹⁶ «Покушение Каракозова». Стенографический отчет, т. II, стр. 345—346.

¹⁷ В. Е. Чешихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский и каракозовцы. — «Русская мысль», 1913, кн. II, стр. 104.

ишутинской «Организации» могут считаться непосредственными учениками и последователями Чернышевского.

Но дело в том, что они были не всегда хорошими учениками и не во всем верными последователями. Из идей своего учителя они брали то, что лежало на поверхности, да и это нередко толковали весьма упрощенно, вульгарно, а иногда и просто неверно. Старавшийся, по-видимому, походить на Рахметова Ишутин — его в «Организации» часто величали «генералом» — нарочно окружал себя таинственностью заговорщика («сейчас только от дела», «сейчас бегу на свидание с одним человеком»). Ишутинцы считали вполне согласующимися с принципами Чернышевского не только идеи политической конспирации (организация кружков ведется в строжайшей тайне) и централизации (общество имеет право распоряжаться членами, как ему угодно, и все члены обязаны беспрекословно выполнять приказания своих руководителей), но и допущение любых средств, ведущих к достижению намеченной цели. Один из ишутинцев, Д. Иванов, показывал на суде, что в уставе кружка говорилось: «...общество должно действовать не только путем устной пропаганды, но не обращать внимания и на средства для достижения цели — употреблять и нож». «Говорилось только, — заявлял и П. Ермолов, — что все средства дозволительны, что кинжал и яд могут быть также употреблены, как и другие. . .»¹⁸

Среди ишутинцев обсуждались и такие предложения: устроиться почтальоном, чтобы ограбить почту, или с той же целью поступить на службу к богатому купцу. В. Федосеев брался даже отравить собственного отца, чтобы передать полученные в наследство деньги «Организации». Правда, кое-кто из участников кружка протестовал против девиза «все средства хороши», в особенности часто повторявшегося Ишутиним. Однако значительная часть «Организации» считала, очевидно, допустимыми в борьбе любые средства. Не удивительно, что именно в этой обстановке созрел и оформился замысел Каракозова.

Так — далеко не адекватно — совершался перевод

¹⁸ «Покушение Каракозова». Стенографический отчет, т. II, стр. 124; т. I, стр. 217.

идей Чернышевского, теории революционной демократии конца 50-х — начала 60-х годов в революционное «дело». Если мы захотим понять, почему этот перевод не был адекватным, мы должны будем принять во внимание одну из важнейших особенностей движения общественной мысли, заключающуюся в несовпадении двух различных форм существования одной и той же идеологии, — то, как она разрабатывается вождями и теоретиками движения и как она понимается массой их последователей, еще не вполне созревших для понимания высказанных идей в их подлинном и полном смысле (к тому же эти идеи деформировались, искажались жестокой цензурой). Таким образом, идеология вождей революционной демократии 60-х годов и политическое сознание более широкой массы разночинцев-шестидесятников — далеко не одно и то же. Между ними есть различие, обнаруживающее определенный спад, снижение, деформацию теории, когда она становится лозунгом, программой непосредственного практического движения. При этом обычно руководством к действию берется наиболее легко воспринимаемое, поверхностное из идей теоретика. Так и получилось, например, что, оставив без внимания заключенное в романе «Что делать?» предупреждение о трудностях революционной борьбы, ишутинцы по преимуществу выделяли в качестве руководства к действию идею революционного утилитаризма, воплощенную в Рахметове. И уже явным отступлением от заветов Чернышевского была созревшая в их среде идея царубийства как средства, «подталкивающего» все никак не грядущую «народную революцию».

С выстрелом Каракозова перед демократической мыслью вновь во весь свой рост встал ряд коренных проблем освободительного движения, нередко решавшихся ранее слишком абстрактным образом: в чем сущность революционного действия? Какова в этом действии роль «особенных людей», революционеров? Каково место индивидуального террора в революции? Решены были эти вопросы русской революционной мыслью конца 60-х — 70-х годов XIX в. далеко не сразу и далеко не полностью. Но один из самых первых значительных шагов в этом направлении предпринял еще в статьях 1866—1868 гг. русский революционный критик, разночинец-демократ Д. И. Писарев.

Писарев — «нигилист, разрушитель, отрицатель»... Эта мысль без конца варьируется в буржуазной историографии русского революционного движения. В этих оценках схвачена и преувеличена доля истины: Писарев действительно разрабатывал прежде всего критическую, негативную сторону идеологии демократов-шестидесятников; вспомним и его вульгарно-материалистические высказывания, и лозунг «разрушения эстетики», и страстный юношеский призыв из статьи «Схоластика XIX века»: «Бей направо и налево...»

Корни происхождения подобных лозунгов и идей понятны. Разночинец — самый типичный представитель радикального направления в России шестидесятых годов — принадлежал к тому социальному слою, который обладал известной прямолинейностью мышления и действия. Будущее этого слоя было скрыто в тумане, в прошлом же он не видел ничего святого, ибо в значительной степени был разочарован реальными результатами дворянской культуры. В условиях, когда стремление молодых разночинских сил к преобразованию общества на демократических основах не могло получить свободного выражения из-за гнета абсолютистской власти, единственно реальной сферой деятельности для радикально настроенных разночинцев оставалось расшатывание устоев существующего строя, резкая и решительная расчистка поля для последующей созидательной работы.

Но если говорить о нигилизме Писарева, то надо признать, что он выражал крайности творчества Писарева, причем ощущаемые им самим. Писарев сознавал незрелость, ограниченный, узкий характер современного ему нигилизма. «Эта незрелость, — писал он в статье «Московские мыслители» (1862 г.), — составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвящих предрассудков; все мы, становясь на свои ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке...» (П., I, 292).

Ионинная, что «переделать отношения, затвердевшие от десятивековой исторической жизни, и переделать их тогда, когда еще очень немногие начали сознавать их неудобства, — это, воля ваша, мудрено», вполне сознавая громадную ответственность, которую берут на себя люди, претендующие на роль «необыкновенных» («когда берешься устроить чужую жизнь, надо взвесить свои силы; кто этого не умеет или не хочет сделать, тот опасен как слабоумный или как эксплуататор»), критик резко выступал против всякого рода авантюризма. Предупреждения против «действий на авось», приведенные нами в эпиграфе к этой главе, высказаны им в 1863 г., еще за несколько лет до каракозовского покушения (*П.*, I, 268, 217; II, 285).

А за год до этого, приветствуя появление в литературе нигилиста Базарова, видя в нем воплощение лучших черт молодежи своего времени, будущего вождя революции («Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели... Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально») (*П.*, II, 44—45), Писарев одновременно указывает на те недостатки и слабости, которые были присущи реальным Базаровым. Бездумным апологетом базаровщины он не был. Писаревский идеал совпадал с Базаровым лишь отчасти.

Анатомируя образ Базарова со всем его грубым материализмом, утилитарностью, внешним цинизмом, Писарев определял базаровщину как болезнь — «болезнь века», «болезнь нашего времени». «Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера». Вскрывая причины этой болезни, Писарев указывал на отсутствие условий, для того чтобы Базаровы могли проявить свои недюжинные силы, на их практическое бессилие: «...не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений» (*П.*, II, 11, 19).

Однако — и в этом, согласно Писареву, состоит ха-

рактерная черта базаровского нигилизма — Базаров «за-
вирается» в своем отрицании: «Вооружаясь против идеа-
лизма и разбивая его воздушные замки, он порою сам
делается идеалистом, т. е. начинает предписывать чело-
веку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мер-
ке пригонять свои личные ощущения». И еще: Базаров
«сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понима-
ет... Выкраивать других людей на одну мерку с собою
значит впасть в узкий умственный деспотизм», — под-
черкивает критик (*П., II, 27, 24—25*).

В статье о Базарове Писарев призывал «новых лю-
дей» к трезвости, к реальному осознанию своих сил и
возможностей: реализм — вещь хорошая, «но во имя это-
го же самого реализма не будем же идеализировать ни
себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и
трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно
так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь
и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. От-
рицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою
капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо
выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика;
стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть
гениальным мыслителем» (*П., II, 25*).

Так, полемизируя в начале 60-х годов с мнением тех,
кто утверждал, что Базаров не более как карикатура на
настоящего революционера, Писарев определял Базаро-
ва как типичную фигуру передового русского лагеря, рас-
сматривая в качестве свидетельства этой типичности и
его достоинства, и его недостатки.

Последний период творчества Писарева — после вы-
хода 18 ноября 1866 г. из Петропавловской крепости —
отмечен рядом первоклассных статей. Правда, стиль Пи-
сарева уже не так ярок, его статьи не столь дерзки и за-
диристы, как прежде. Как отражение этого факта в ли-
тературоведении появилось утверждение об «утомлении
мысли» Писарева последних лет жизни. Однако в дей-
ствительности речь должна идти о другом — о сосредото-
чении, углублении мысли критика, вступившего в новый,
более высокий этап своей духовной эволюции. Характе-
рной чертой этого этапа было все более глубокое проник-
новение в противоречивость исторического процесса.
Особое внимание Писарев уделяет теме революции.

В статье «Генрих Гейне» (1867 г.) дана одна из осно-

вополагающих формул социально-политического кредо мыслителя: «В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убийство. Если вам придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьете нападающего на вас негодяя... То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война сами по себе всегда наносят народу вред как материальный, так и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельной необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают...» (П., IV, 228, 229).

В статье «Образованная толпа» (1867 г.) Писарев обращается к всегда занимавшей его проблеме различия между стихийным протестом против социальных несправедливостей и осмысленным действием настоящего борца, восстающего против условий, мешающих людям «дышать свободно»: «Бессмысленный протест всегда вреден, потому что он своей бессмысленностью подрывает в массе окружающих людей уважение к той верной и святой идее, во имя которой он совершается». «Чтобы быть успешным, протест должен быть глубоко обдуман и прихорювлен самым искусным образом к существующим обстоятельствам места и времени» (П., IV, 304, 309).

Последней при жизни критика была напечатана статья «Французский крестьянин в 1789 году». Призывая читателя взглянуть в «ту таинственную лабораторию», где вырабатывается «великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом Божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий», Писарев подверг анализу вопрос о том, каким образом может быть осуществлено «политическое пробуждение» трудовых крестьянских низов — абсолютно неотъемлемая предпосылка глубинного социального переворота в таких странах, как Россия (П., IV, 400).

Акт Каракозова подтвердил диагноз Писарева о «болезнях» русского практического революционного движения: оно развивалось лишь настолько, что порождало пока еще по большей части революционеров-фанатиков,

революционеров-мстителей, людей самоотверженных, безусловно преданных народу, но крайне узких, ограниченных, примитивных в своих представлениях о революции, о том «деле», за которое они брались. На новом этапе движения вновь потребовалось отделение мнимой революционности от революционности подлинной, уяснение роли профессиональных революционеров, «особенных», «необыкновенных» людей. На такую «разборку» толкало Писарева еще одно событие — появление как раз в 1866 г. «антинигилистического» романа Достоевского «Преступление и наказание».

Раскольников и Рахметов

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» — это не просто рассказ о криминальном происшествии — убийстве старухи-ростовщицы студентом Раскольниковым. Достоевский целил дальше и глубже: роман задумывался как обличение «нравственной неустойчивости» русской молодежи 60-х годов XIX в. Поступок Раскольникова предстал перед читателем и как следствие растущего в среде молодежи нигилизма. «Идея повести не может . . . ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив, — писал Достоевский издателю «Русского вестника» Каткову. — Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решил убить одну старуху. . . «Полезна ли она хоть кому-нибудь?» — и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее. . . ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уж, конечно, «загладится преступление». Рассказывая далее о том, как «неразрешимые вопросы» встают перед убийцею, как «неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце», Достоевский вновь подчеркивал характер социального типа, к которому принадлежит его герой: «Выразить мне это хотелось именно на развитом, на по-

вого поколения человеке, чтоб ярче и обязательнее была видна мысль. . . Еще много следов в наших газетах о необыкновенной шаткости понятий, подвигающих на ужасные дела. . . Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность»¹⁹.

В черновых записях Достоевский писал: в этом преступлении «все вышло из правильной логической идеи»²⁰.

И здесь вначале было «Слово». И «Слово» это была статья Раскольникова о «двух разрядах» людей: высших, «необыкновенных», которым «все дозволено», и «обыкновенных», низших, которых можно приносить в жертву замыслам высшим. Первая, юная, горячая проба пера, как говорит об этой статье Порфирий. «Дым, туман, струна звенит в тумане». «В бессонные ночи и в иступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи».

За словом приходит «расчет». Убить ростовщицу! «Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чухоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна».

За расчетом — «проба». Раскольников идет к ростовщице — «примериваться». «Ну зачем же я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что, и игрушки!»

За пробой — «дело». Кроме ростовщицы, убитой «по плану», Раскольников «случайно» убивает Лизавету, которая, говорят, беременна и которая «случайно» обменялась крестиками с Соней (значит, и Соню мог убить, подвернись она в ту минуту?). «Случайно» из-за преступления сына сходит с ума и умирает мать — он еще и матереубийца (*Дост., VI, 345, 54, 6 и др.*).

И все же не так просто, конечно, обстоит дело, будто в голову «чистому» Раскольникову пришла «нечистая» идея, и он, представитель «нового поколения», мечтавший

¹⁹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 418—420.

²⁰ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. Л., 1973, стр. 147. Далее ссылки в тексте.

о благе для человечества, решается на преступление ради этого блага, не зная и не ведая, какой будет конечный непредвиденный им результат. Сущность образа Раскольникова до конца не может быть понята, если свести ее к проблеме «добрая цель — дурные средства». Эта антиномия оказывается поверхностной.

Достоевский писал в черновиках о Раскольнике: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество, *чтобы делать ему добро* (выделенные последние слова зачеркнуты Достоевским. — Авт.). Деспотизм его черта... Он хочет властвовать — и не знает никаких средств. Поскорей взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая». «Свободу и власть, а главное, власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» — восклицает Раскольников уже в романе, а не в черновике. «Что на копейки сделаешь? — говорит он. — Мне бы сразу «весь капитал»». «Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить» (*Дост., VII, 155; VI, 253, 27, 211*).

Вот, оказывается, какой червь грызет эту душу. Вот она, еще одна «подпольная» цель — цель в виде мотива, цель, которая сталкивается с другой целью («всеобщее благо») и побеждает последнюю, прикрываясь ею.

Выходит, цель такого самоутверждения определяет средства, а средства суть не что иное, как реализация именно этой цели. Фразы о «всеобщем благе» оборачиваются жаждой эгоистического самоутверждения. Сто больше одного — эта мысль маскирует другую, прямо противоположную: один (Я!) больше и ста, и тысячи, и больше миллиона. Поэтому-то такому одному и все дозволено. Счет в «арифметике» Раскольникова оказывается двойным.

Такой вкратце представляется «антинигилистическая» логика романа Достоевского.

«Почвенник», консервативный литературный критик Н. Н. Страхов²¹ утверждал, что Достоевский изображает в романе не карикатуру, а трагедию нигилизма, и Досто-

²¹ «Наша изящная словесность». Статья третья. — «Отечественные записки», 1867, № 1—4, стр. 544—556.

евский соглашался с ним («Вы одни меня поняли»²²). Но в действительности, как доказали уже Писарев, Елисеев и другие критики демократического лагеря 60-х годов, карикатура и здесь проникла в трагедию, поскольку Достоевский сближает уголовное — пусть «идейно» обоснованное — преступление с революционным словом и делом.

Подчеркнем, что это сближение Достоевский не сумел, да и не желал провести последовательно, из-за чего был обвинен Катковым в уступках «нигилизму». Дело в том, что бесчеловечная, антинародная идея Раскольникова является не просто несоциалистической, она и антисоциалистична. И как раз против социалистов и нацелены его слова: «Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца». Ха! Ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу...» (*Дост.*, VI, 211). Раскольников искренне (но с болью) разуверился в мечте о «всеобщем счастье», — понятие, которое было синонимом утопического социализма. «Проклятая мечта» Раскольникова и есть реакция на эту утопичность. Выбор между «всеобщим счастьем» и абсолютным эгоцентризмом отражается в его сознании как выбор между утопией и реальностью. И тут уже не о «разумном эгоизме» идет речь, а об эгоизме слепом, необузданном.

Возлагая на идеологов ответственность за последующее действие, Достоевский изображал идеологию переломной революционной демократии 60-х годов XIX в. в превратном, неадекватном, искаженном виде. «Арифметика» Раскольникова была не просто пародией на революционную теорию, она в корне перетолковывала ее в самом главном пункте, она отрицала ее главное достоинство, перечеркивала ее смысл и суть — ее гуманизм.

Разве можно сближать с «теорией» Раскольникова теорию Чернышевского, того Чернышевского, который предупреждал о неизбежных издержках революционной борьбы («в ломке многое теряется, от насилования многое замирает»); того Чернышевского, который учил пониманию тяжести, противоречивости, зигзагообразности прогресса («рецидивы — неизбежная принадлежность

²² «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Отд.: Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, стр. 290.

всякого важного исторического дела»); того Чернышевского, который бичевал политиков, умевших «приискивать очень благовидные формы для удовлетворения потребностям, вытекавшим из личного расчета» (*Ч.*, XI, 233; VII, 690, 74)?

Можно ли сближать с «теорией» Раскольникова теорию Герцена, того Герцена, который писал, что он «воспитал в себе отвращение к крови, если она льется без решительной крайности»; того Герцена, который прекрасно знал, что «великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей», что «дурные средства непременно должны отразиться в результатах»; того Герцена, который предупреждал: «взять неразвитие силой невозможно» (*Г.*, XIV, 243; XX, кн. 2, 590, 592)?

Можно ли сближать с «теорией» Раскольникова теорию Писарева, того Писарева, который выступал против легковесного отношения к революциям; того Писарева, который учил не только пользоваться минутами революционных взрывов «как можно полнее», но и взвешивать вред, наносимый ими, с тем вредом, от которого они спасают; того Писарева, который всячески подчеркивал исключительность этого крайнего средства облегчения участи народа («если бы это облегчение могло быть достигнуто путем мирного преобразования, то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы переворот как ненужную трату физических и нравственных сил») (*П.*, IX, 46, 228—229)?

А деление Раскольниковым всех людей на два разряда — «обыкновенных» и «необыкновенных», на материал, служащий «единственно для зарождения себе подобных», и собственно на людей, «имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово», требующих «в весьма разнообразных заявлениях разрушения настоящего во имя лучшего» (*Дост.*, VI, 199, 200), — не находим ли мы в этой «философии истории» нечто совершенно противоположное идеям революционных демократов?

Разве не считал Чернышевский «новое слово» — социалистическое учение — высшим выражением подлинных народных интересов, учением, полнее всего учитывающим требования «природы человека», разве не учил он революционеров не перегонять события, осуществлять новый принцип только в той мере и только постольку, постольку его принимает, осознает, выражает сам народ?

«Но только надобно вам сказать, — говорит героиня романа «Что делать?» работницам своей «социалистической» мастерской, — что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. Стало быть, вам не для чего бояться нового, все будет по-старому, кроме того, что сами вы захотите переменить. Без вашего желания ничего не будет» (Ч., XI, 128). И Герцен в одной из своих статей 1862 г. протестовал против насильственного навязывания народу чуждых ему учреждений, нравов, принципов: «Метода просвещений и освобождений, придуманных за спиною народа и втесняющих ему его неотъемлемые права и его благосостояние топором и кнутом, исчерпаны Петром I и французским террором. Манна не падает с неба, это детская сказка — она вырастает из почвы; вызывайте ее, умеете слушать, как растет трава, и не учите ее колосу, а помогите ему развиваться, устраните препятствия, вот все, что может сделать человек, и это за глаза довольно» (Г., XVI, 27).

Превратно изображалась Достоевским не только теория революционеров, но и их нравственность, те внутренние заповеди, которыми они руководствовались в своей борьбе.

«Я просто-запросто намекнул, — говорит Раскольников о своей статье, написанной незадолго до преступления, — что «необыкновенный» человек (вспомним «особенного человека» у Чернышевского!) имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует... По-моему, если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству» (Дост., VI, 199). Достоевский прямо передает здесь Раскольникову ту

мысль о «дешевизне крови», которую реакция всегда и везде приписывает революционерам, мысль, к которой подлинные революционеры могут иметь только негативное отношение. Как не вспомнить здесь горький смех Рахметова и его саркастические слова, сказанные им Верочке: «...Ведь вы знаете, про таких людей, как мы с вами, говорят, что для нас нет ничего святого. Ведь мы способны на всякие насилия и злодейства» (Ч., XI, 220).

И наконец, последнее — о необузданном «деспотизме» Раскольникова, о его жажде «взять во власть и разбогатеть», о подлинной цели его эгоистических, эгоцентрических действий, лишь прикрываемых словами о «всеобщем благе». Вспомним, что еще автор «Зимних заметок о летних впечатлениях» утверждал: «Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли... Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который если попадет под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; ну вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя» (Дост., V, 79—80). Собственно говоря, «Преступление и наказание» показывает, как именно от такого «тоненького волоска» начинается трещать и разрушаться неуязвимая с виду «арифметика» Раскольникова.

Однако поставим вопрос: а разве не той же полной самоотдаче, самоотдаче, которая предполагает, «чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно без мысли о выгоде», учил «новых людей» автор романа «Что делать?», рисуя образ «ригориста», «аскета» Рахметова? «Рахметовы — это другая порода, — замечает героиня романа, — они сливаются с общим делом так, что оно для них необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную жизнь» (Ч., XI, 256).

Было бы, разумеется, нелепостью требовать от такого художника, каким был Достоевский, чтобы он изображал

революционную теорию шестидесятников как некое новое евангелие или рисовал образы отнюдь не во всем и всегда безгрешных и безупречных революционеров в виде святых. Но предугадывание реальных опасностей, которые вставали перед неокрепшим еще революционным движением, оборачивалось в романе Достоевского искажением и революционной идеологии, и облика революционера.

Характерно, что почти вся демократическая критика так и восприняла «Преступление и наказание» — преимущественно как акт идейной борьбы. В романе она усмотрела главным образом карикатуру и клевету на нигилистов, намеренно искаженное изображение их идей. Разумеется, в таком подходе проявилась определенная узость, но необходимо принять во внимание тот факт, что опубликованный в год каракозовского выстрела в журнале Каткова роман Достоевского сразу же оказался включенным в общий контекст бешеной идеологической травли демократического лагеря.

В отличие от Г. З. Елисеева и некоторых других критиков революционно-демократического направления Писарев отказался видеть в романе лишь «карикатуру» и «дребедень». Однако и он воспринял образ Раскольникова по преимуществу в конкретно-политическом плане. Художественно-философское содержание романа оказалось недооцененным. В конечном счете лишь «каракозовские» проблемы стали основным предметом его анализа в статье «Борьба за жизнь».

«Борьба за жизнь»

Сущность своего отношения к Раскольникову, к этому «раздражительному и нетерпеливому герою», Писарев выразил совершенно недвусмысленно: «Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается миросозерцание современно развитых людей» (П., IV, 351).

Более того, Писарев вообще категорически отказывается видеть в преступлении Раскольникова какое-нибудь следствие его теории. Внимание читателя критик обращал прежде всего на те невыносимые условия жизни, которые толкнули Раскольникова на «бунт», а само его преступление идентифицировалось критиком со сти-

хийшим протестом против «тяжелых обстоятельств», доводящих человека до крайности. Это было, конечно, весьма одностороннее толкование романа, но именно с этой линии начинает Писарев рассмотрение преступления Раскольникова.

«Непобедимо-враждебные» обстоятельства ставят людей в «исключительное положение», — пишет критик. «...Когда человек постоянно попадает с булавки на булавку, когда этим булавкам не предвидится конца и когда человек видит и понимает, что при ужаснейшем напряжении всех своих сил он может только поддерживать это многобулавочное status quo, — тогда... тогда невозможно рассчитать заранее, в каких безумных планах и в каких безобразных галлюцинациях выразится уныние, озлобление, отчаяние и бешенство этого человека, которого люди и обстоятельства со всех сторон продолжают колоть булавками в его незажившие и незаживающие раны» (П., IV, 352).

Очутившись под гнетом такого положения, подавленный им, человек «теряет способность решать нравственные вопросы так, как они решаются огромным большинством его современников и соотечественников». Образуется какой-то «особенный, совершенно фантастический мир, где все делается наыворот и где наши обыкновенные понятия о добре и зле не могут иметь никакой обязательной силы» (П., IV, 332).

Нетрудно заметить, что Писарев рассуждает здесь настолько обобщенно, что под бунтом против «исключительного положения» может мыслиться вообще любое насильственное выступление против притеснителей. Писарев и сам обнажает эту обобщенность: «Очутившись в таком положении, человек научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клин. К такому положению оказываются неприменимыми правила и предписания общепринятой житейской нравственности» (П., IV, 331).

Таким образом, Раскольников под пером Писарева выступает как носитель стихийного протеста против гнета «исключительных обстоятельств». Очутившись на распутье, «очень похожем на то распутье, о котором говорится в сказках и в котором одна дорога обещает гибель коню, другая — всаднику, а третья — обоим», Раскольников пришел к выводу, «что ему надо или отказаться от

всего, что было ему дорого и свято в себе самом и в окружающем мире, или вступить за свою святыню в отчаянную борьбу с обществом, в такую борьбу, в которой уже невозможно будет разбирать средств». И Раскольников решается на «бесчестное средство».

Как же критик относится к раскольниковскому способу разрешения неумолимой жизненной антиномии? Оправдывает ли он героя «Преступления и наказания»? Как будто бы да. По поводу отчаянного решения Раскольникова стать преступником, чтобы не превратиться окончательно в труп, критик пишет: «Заключение верное. Кроме бесчестных средств, не остается никаких».

Однако дело в том, что на этом «согласии» с Раскольниковым автор «Борьбы за жизнь» не останавливается. «Но весь вопрос в том, — пишет он далее, — действительно ли бесчестные средства достигают в данном случае той цели, к которой стремится Раскольников?» (П., IV, 340—341).

Нет, показывает Писарев, не достигают. И не потому, что этому помешали в случае с Раскольниковым определенные случайности. Роковая ошибка — в самом принципе нравственного оправдания кровавого насилия, даже если оно вынуждается «неумолимыми обстоятельствами». Рассуждения Раскольникова о праве «необыкновенных людей» на насилие порочны в корне; тот факт, что история наполнена насилием, отнюдь не доказывает, что для достижения высокой цели хороши любые средства.

Воспользовавшись термином Раскольникова «необыкновенные люди», Писарев выходит далее за несколько узкие рамки своих первоначальных рассуждений, перекидывает мост своих размышлений к проблеме, наиболее его занимающей, — к проблеме деятельности «необыкновенных людей» — революционеров. Он пишет, что до сих пор все крупные исторические события были неизбежно связаны с кровопролитием. «Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благодетельные последствия — это известно всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий». Но необходимость революций, по мысли Писарева, совсем не та же самая, что необходимость поступка Раскольникова. «Кровопролитие становится неизбежным во все не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек, вовсе не тогда, когда какое-ни-

будь живое препятствие мешает этому необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию, а только тогда, когда две большие группы людей, две нации или две сильные партии резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях» (II., IV, 346).

Историческая неизбежность революционного насилия Писареву, как видим, вполне ясна. Но она отнюдь не дает права «необыкновенному человеку» не стесняться в выборе средств. Напротив, по мысли критика, она налагает особую ответственность, предъявляет к его деятельности высокие нравственные требования.

Тут-то и обнаруживается сложный, диалектический характер писаревского раскрытия темы «Революция и нравственность». Сочувствуя «задавленному обстоятельством бедняку», который в борьбе за улучшение своего положения не может разбирать средств и считаться с нормами морали, Писарев вместе с тем прилагает самые высокие нравственные критерии к деятельности тех, кто берет на себя ответственность, становясь во главе народной борьбы. Такой подход характеризует Писарева как прямого преемника Чернышевского. Однако Писарев отнюдь не ограничивается простым повторением идей, завещанных автором «Что делать?». Если последнего волновали прежде всего вопросы личной этики «новых людей» вообще и «особенного человека» в частности, если Чернышевский делал главное ударение на таких моментах, как нравственная чистота и безукоризненная честность революционеров, то Писарев пытается рассмотреть вопрос о нравственном характере и направлении деятельности «необыкновенных людей» в самом процессе «перемены декораций».

По убеждению Писарева, задача «необыкновенных людей» состоит в первую очередь в том, чтобы попытаться избежать кровопролития, склонив неправую сторону к уступкам: «Прежде чем дело дойдет до кровопролития, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди данного общества, всеми силами стараются о том, чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительной частью заинтересованной нации». Писарев не исключает возможность

«мирного и безобидного выхода из затруднительного положения» путем «обширных и добровольных уступок тому течению идей, которое называется духом времени и которое порождается общими причинами и условиями, а никак не выдумками и усилиями каких-нибудь необыкновенных людей» (П., IV, 346—347).

Ставя вслед за Герценом проблему мирного пути революции, Писарев вместе с тем, как и издатель «Колокола», сознает, что теоретически осознанное как разумное и полезное для человечества отнюдь не становится в силу этого реальным. Действительный ход исторического процесса оказывается сложнее расчетов ума, он идет путем зигзагов, приливов и отливов. Решающую роль здесь играет тот факт, что противники «духа времени» не желают добровольно покидать насиженные места. Это и вынуждает «необыкновенных людей» переходить от мирного характера деятельности к боевому. Как писал Писарев еще в статье «Мыслящий пролетариат» (1865 г.), Рахметовых «не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно не свойственный ей характер ожесточения и борьбы» (П., IV, 43).

Эту же мысль Писарев подробно разворачивает в «Борьбе за жизнь» (1867). Он пишет, что в условиях, когда возможность мирного решения общественных проблем остается нереализованной и острая борьба противостоящих друг другу сил оказывается неизбежной, «необыкновенные люди» должны встать во главе стихийного народного движения, с тем чтобы организовать и возглавить его. «...Когда не остается никакой возможности покончить дело соглашением или любовным размежеванием столкнувшихся и перепутавшихся интересов, когда нет возможности разъяснить заблуждающейся стороне посредством спокойного научного анализа, в чем состоят ее настоящие выгоды и в чем заключается ошибочность и неосуществимость ее требований, — тогда, разумеется, остается только начать драку и драться до тех пор, пока правое дело не восторжествует».

Что же должны делать в этих условиях «необыкновенные люди»? Убедившись раньше массы в неизбежности открытой борьбы, они из роли благоразумных советников переходят в роль воинов и полководцев. «Они становятся решительно на ту сторону, которой стремления

совпадают с истинными выгодами данной нации и всего человечества, они группируют вокруг себя своих единомышленников, они организуют, дисциплинируют и воодушевляют своих будущих сподвижников и затем, смотря о обстоятельствах, выжидают нападения противников или наносят сами первый удар».

Но и в этих условиях уже начавшейся кровавой борьбы «необыкновенные люди» не должны ни на минуту упустить из виду не только свою цель — удовлетворение требований «духа времени», но и характер тех способов, средств, методов, которыми она достигается; они должны помнить о неизбежных отрицательных последствиях происходящего кровопролития. И потому, «когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие, но, разумеется, покончить так, чтобы вопрос, породивший борьбу, оказался действительно решенным и чтобы условия примирения не заключали в себе двусмысленных комбинаций и уродливых компромиссов, способных при первом удобном случае произвести новое кровопролитие» (П., IV, 346—347).

Как видим, Писарев отделяет революционный подход к делу от тактики либералов, трусливых любителей «уродливых компромиссов», также не желающих кровопролития и стремящихся как можно скорее с ним покончить, но за счет замазывания неразрешимых противоречий, за счет в конце концов опять-таки народа, которого обрекают на новые схватки в будущем за то же самое, так и не свершенное дело.

Вместе с тем критик в ходе своих рассуждений продолжает настойчиво развивать «антираскольнический» мотив: «Ни перед борьбою, ни во время борьбы, ни после ее окончания необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития. Кровь льется не потому, что в данном обществе в данную минуту действуют необыкновенные люди, а потому, что деятельность этих необыкновенных людей не может перевесить собою массу человеческого неблагоразумия, узкого своекорыстия и близорукого упрямства. Кровь льется совсем не для того, чтобы подвигать вперед общее дело человечества; напротив того, это общее дело подвигается вперед, несмотря на кровопролития, а никак не вследствие кровопролитий;

виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и несправедливости» (П., IV, 347).

Особо важным представляется стремление Писарева размежевать понятие революционности с теми уклонениями от подлинно революционной деятельности, извращениями ее, ее крайностями, которые нередко наблюдались в истории даже у выдающихся руководителей народных масс. Имея в виду, по-видимому, деятелей типа Робеспьера, Писарев заявляет: «Многое может быть объяснено и даже оправдано силою тех страстей, которые возбуждаются в гениальном человеке ожесточением великой борьбы; но если, поддаваясь влиянию этих страстей, гениальный человек раздавил то, что могло и должно было жить, то историк в этом резком и насильственном поступке увидит все-таки проявление слабости, которое должно служить людям поучительным предостережением, а никак не выражение гениальности и силы, долженствующее вызвать в других людях восторженное соревнование» (П., IV, 350—351).

Вот здесь-то и раскрывается внутренний смысл писаревского обращения к «Преступлению и наказанию». Беря себе в союзники «мыслящих историков», произведения которых господствуют над умами «читающего юношества», и прямо полемизируя с выведением идей Раскольникова из идей революционной демократии, Писарев утверждает, что «деление людей на гениев, освобожденных от действия общественных законов, и на тупую чернь, обязанную раболепствовать, благоговеть и добродушно покоряться всяким рискованным экспериментам, оказывается совершенною нелепостью, которая безвозвратно отвергается всею совокупностью исторических фактов».

По мысли Писарева, именно потому, что освобождение народа от ига эксплуатации и несправедливости представляет собой великое, святое дело, «необыкновенные люди», взвалившие на свои плечи все бремя ответственности за него, не могут иметь и каких-то особых, только им присущих прав и моральных принципов. Наоборот, по своим нравственным устоям «необыкновенные люди» должны быть сродни «великим деятелям науки». «...Их руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могут только убеждать людей, а не приневоливать их; с той ми-

нуты, как великий мыслитель вздумал бы употреблять насильственные меры против невежественных и тупоумных противников своей доктрины, он перестал бы быть великим мыслителем, он сделался бы врагом беспристрастного исследования и свободного мышления, он сделался бы преступником против всего человечества, вреднейшим из вредных негодяев и по всем правам занял бы в истории почетное место рядом с испанскими инквизиторами. Представить себе Ньютона или Кеплера в таком положении, в котором они из любви к идее обязаны были бы устранить хоть одного живого человека или пролить хоть одну каплю человеческой крови, — еще гораздо труднее, чем представить себе, что Кеплер или Ньютон, состоя в чине необыкновенных людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встречных и поперечных или воровать каждый день на базаре».

Осуждая действия по методу устранения «живых препятствий», Писарев в сущности заявлял и о своем принципиальном неприятии тактики индивидуального террора: «Если бы Кеплер и Ньютон решились действовать по рецепту Раскольникова и если бы им удалось устранить какое-нибудь живое препятствие, то на месте этого благополучно устраненного препятствия тотчас появилось бы другое, на месте другого третье, потому что общие условия, порождающие такие препятствия, остались бы нетронутыми» (*П., IV, 348, 349, 351*).

Не заглядывая далее в писаревский текст, можно было бы подумать, что критик под «общими условиями» имеет в виду социально-политическое устройство эксплуататорского общества, а применительно к России — систему самодержавного деспотизма и т. п. Однако мысль Писарева нацелена на иное. «Общими условиями оказываются в подобных случаях невежество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикие предрассудки массы» (*П., IV, 349*). Забитость, придавленность трудящихся масс, их «умственная апатия» и следствие этого — историческая пассивность представляют собой, по Писареву, главное препятствие освободительного движения. «Умственная апатия, — писал Писарев в «Очерках по истории европейских народов» (1867), — гораздо хуже самого мрачного суеверия и гораздо вреднее самого кровавого фанатизма». И пока эта апатия будет продол-

жаться, ни о каком социальном освобождении народа не может быть и речи²³.

А проблема развития социального разума масс не может быть решена насильственными средствами. «Народные привычки» не поворачиваются «вдруг», как то заметил Писарев²⁴. И в «Борьбе за жизнь» он делает такой вывод: «...пока общие условия делают возможным существование и деятельность сильных противников научной истины, до тех пор Кеплеры и Ньютоны должны действовать не против этого существования, а против общих условий, которые могут быть изменены только путем настойчивого и неутомимого проповедования той же самой научной истины» (П., IV, 349).

«Путь настойчивого и неутомимого проповедования» — это, согласно Писареву, не только распространение естественнонаучных знаний, но и в конечном счете развитие социального разума народа, революционное просвещение, подготовка грядущего коренного общественного переворота. Что же касается настоящего положения вещей, то Писарев, очевидно, считал революцию в России конца 60-х годов невозможной, а всякие действия, подобные покушению Каракозова, вредными.

Разумеется, положение революционеров оказывалось в этих условиях поистине трагическим, Писарев понимает это и пишет об этом. За внешне спокойными фразами его статьи стоит горькая судьба разночинцев-шестидесятников, судьба Чернышевского и Михайлова, Добролюбова и Серно-Соловьевича... Оскопленное слово или гробовое молчание, вынужденная эмиграция или ссылка, тюремные казематы, ранняя смерть от чахотки... Слишком хорошо знал Писарев ту цену, которую платили лучшие люди его времени за свою честность, свою неискоренимую любовь к народу, свою верность высоким политическим и нравственным идеалам.

И однако, все это еще не основание для революционных авантур. «Необыкновенные люди» часто оказываются в истории в роли мучеников, но даже самая сильная «любовь к идее» не должна превращать их в мучителей: «...мучения никого не убеждают и, следовательно, нико-

²³ Д. И. Писарев. Соч. в 6-ти томах, т. 6. СПб., 1894, стлб. 35—36.

²⁴ Там же, стлб. 129.

гда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся» (П., IV, 349).

Таким в общих чертах был ответ Писарева на вопросы, возбужденные в русском обществе событиями 4 апреля 1866 г. И этот взгляд Писарева на революционную деятельность и ее формы, на историческую роль и границы революционного насилия, это выступление его против разного рода «нетерпеливых героев» революции, осуждающих «обыкновенных людей на унижительную и мучительную роль пушечного мяса» (П., IV, 350), является еще одним свидетельством того факта, что русская революционная мысль 60-х годов XIX в. приходила к очень серьезным и важным выводам²⁵.

Это не означало, конечно, автоматического усвоения этих выводов рядовой массой революционеров. Потребовались новые жестокие уроки, все новое и новое повторение, казалось бы, давно полученных выводов, пока движение не преодолело своей узкости, не поднялось на качественно высший этап.

Очередным уроком послужило так называемое нечаевское «дело»...

²⁵ Отметим, что и Н. Г. Чернышевский, по воспоминаниям С. Г. Стахевича, не одобряя общественного «квиедизма», не относился вместе с тем с одобрением к покушению Каракозова. Порицая «прямолинейное революционерство» тех, которые не умеют, да и не хотят принимать в соображения обстоятельства времени и места, он говорил: «В критические моменты народной жизни эти люди пронесут свое знамя через сцену действий: это они умеют делать и сделают. Но критические моменты редки; до них и после них надо махнуть на этих людей рукой: ничего из них нельзя извлечь, или разве очень мало. Святые младенцы: святые — правда, но и младенцы — тоже правда». Эти слова Чернышевского, сказанные по адресу М. Д. Муравского, Стахевич с полным основанием относит и к Каракозову (см. «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II. Саратов, 1959, стр. 74—76, 109).

Нечаевское «дело»

...Правое дело не нуждается ни в натяжках, ни в утайках, ни в искажениях фактов...

Н. Г. Чернышевский

Нечаев в России и в Европе

Полоса реакции, наступившей в России, казалось, подавила всякий общественный протест. Но там, где не устраняются коренные причины общественного недовольства, движение неминуемо начинается вновь. Как и во время демократического натиска на царизм в 1859—1863 гг., наиболее активным, подвижным элементом борьбы оказалась разночинская молодежь, студенчество, непосредственно затронутые запретительными мерами, проводимыми министерством просвещения, которое было в руках обскуранта графа Д. А. Толстого. В центре волнений, начавшихся зимой 1868/69 г. в Медико-хирургической академии Петербурга, а затем перекинувшихся в другие учебные заведения столицы и Москвы, вскоре оказывается фигура С. Г. Нечаева — учителя приходского училища, вольнослушателя Петербургского университета.

В начале 1869 г. Нечаев инсценирует свой «арест» и «побег», а затем скрывается за границу. Оттуда он направляет своим соратникам прокламацию, оповещающая их о невиданном происшествии — своем «бегстве из промерзлых стен Петропавловской крепости»¹. Так Нечаев начал творить легенду о себе во имя торжества «всесокрушающей народной революции», которую, по его представлениям, следовало вызвать прежде всего «развитием» тех бед и зол, которые терпел народ.

Русская революционная эмиграция в Европе должна

¹ «Правительственный вестник» № 165, 1871 г.

была, по замыслу Нечаева, послужить трамплином в его «революционной» карьере, а благословение М. А. Бакунина должно было придать его имени тот ореол, которого ему столь не хватало для «руководящей роли» в России. Нечаев является к Бакунину и выдает себя за представителя широкой (в действительности не существовавшей) подпольной русской организации. Бакунин снабжает самозванца документом, удостоверяющим, что Нечаев является доверенным представителем Русского отдела «Всемирного революционного союза» (за этим фасадом скрывалась горстка анархистов из «Международного альянса социалистической демократии»). Для придания документу вящей убедительности на нем поставили порядковый номер 2771. Нечаев втирается в доверие и к Огареву, который посвящает ему известное стихотворение «Студент».

За границей Нечаев закладывает и «теоретические» основы своей будущей деятельности в России. Совместно с Бакуниным он издает серию манифестов: «Постановка революционного вопроса», «Начала революции» и другие, а также № 1 листка «Народная расправа». В них провозглашался бакунинский план всеобщего разрушения, ставивший целью не оставить камня на камне от государства с его «мишурно-образованною сволочью», проповедовался культ невежества («кто учится революционному делу по книгам, будет всегда революционным бездельником»; мы «считаем бесплодной всякую теоретическую работу ума»), превозносилось «дело Каракозова» и возводился поклеп на других «предшественников», революционеров-шестидесятников (в благоприятный для революции момент они, оказывается, «сидели сложа руки»), причислялись к «миру русской революции» «разбойники в лесах, городах, в деревнях, разбросанные по целой России, и разбойники, заключенные в бесчисленных острогах империи». «Яд, нож, петля и т. п.!» — провозглашали авторы манифестов, — революция все равно освящает в этой борьбе. И так, поле открыто!»² Манифесты печатались в Женеве, но на них красовались надписи «Imprimé en Russie», «Gedruckt in Russland» (напечатано в России).

² М. А. Бакунин. Речи и воззвания. Б/м., 1906, стр. 236—240, 250; «Историко-революционная хрестоматия», т. I. М., 1923, стр. 85, 86, 87.

«Сейчас я по горло занят событиями в России, — писал Бакунин Джемсу Гильому 13 апреля 1869 г. — Наша молодежь в теоретическом и практическом отношении, пожалуй, самая революционная в мире, сильно волнуется. . . У меня теперь находится один такой образец этих юных фанатиков, которые не знают сомнений, ничего не боятся и принципиально решили, что много, много их погибнет от руки правительства, но что они не успокоятся до тех пор, пока не восстанет народ. Они прелестны, эти юные фанатики, верующие без бога и герои без фраз!»³ А сам «юный фанатик» сообщал в одном из писем в Россию: «Здесь дело кипит! Варится такой суп, что всей Европе не расхлебать»⁴.

В Женеве Нечаев разработал и практически организационное руководство будущего общества «Народной расправы» — пресловутый «Катехизис революционера», который даже ослепленному нечаевской решимостью Бакунину казался похожим на «катехизис абреков»⁵. Простая публикация этого документа была равносильна саморазоблачению для того, кто собирался проводить его принципы в жизнь. Но «Катехизис» и не предназначался для опубликования.

Если вычтешь из этого документа несколько фраз насчет грядущей «народной революции», «полнейшего освобождения и счастья» народа, то перед нами останется квинтэссенция «нечаевщины» — этой псевдореволюционности, привносящей в освободительное движение принципы иезуитских уставов, воинствующего невежества, предлагавшего бороться с мерзостью старого мира его же собственными грязными средствами⁶.

Все «поганое общество» дробилось автором «Кате-

³ Ю. Стеклов. М. А. Бакунин, его жизнь и деятельность, т. III. М.—Л., 1927, стр. 435.

⁴ Письмо зачитывалось на так называемом нечаевском процессе 1871 г.; см. «Правительственный вестник» № 162, 1871 г.

⁵ Подробно об этом в опубликованном М. Конфино письме М. А. Бакунина к С. Г. Нечаеву от 2 июня 1870 г. — «Сahiers du Monde Russe et Soviétique», 1966, № 4, p. 682.

⁶ Впервые «Катехизис революционера» был обнаружен на так называемом нечаевском процессе 1871 г. Вторая часть его («Правила, которыми должны руководствоваться революционеры») воспроизводится в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 415—419).

хизиса» на несколько категорий. Первые «неотлагаемо» осуждались на смерть; вторым была «только временно» дарована жизнь, дабы они «рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта»; третьих — «высокопоставленных скотов» и прочих влиятельных личностей — надлежало использовать «для разных предприятий», овладев их «грязными тайнами»; четвертых — «государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками» — следовало «скомпрометировать донельзя» и их руками «мутить государство». Наконец, всех «праздно глаголющих в кружках и на бумаге» «доктринеров, конспираторов, революционеров» предписывалось беспрестанно толкать на такие заявления, «результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих».

Принципиальный и полный антидемократизм прикрывался фразами о необходимости «доверия к личности». Но вот к чему сводилось это доверие: «Устраняются всякие вопросы от членов к организатору, не имеющие целью дело кружков подчиненных... Полная откровенность от членов к организатору лежит в основе успешного хода дела». А вот что требовалось от организатора по отношению к рядовым исполнителям: для возбуждения их энергии должно было «объяснять сущность дела в превратном виде».

Наконец, ряд параграфов формулировал принципы поведения и морали «революционера». Все «нежные, изнеживающие» чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже чести должны быть задавлены в «революционере». «Революционер» должен разорвать всякую связь с гражданским порядком, образованным миром, его законами, приличиями и нравственностью. Он «знает только одну науку — науку истребления и разрушения...»⁷.

К воплощению в жизнь принципов «Катехизиса» Нечаев приступает еще во время первого визита за границу. Зная, что зарубежная корреспонденция попадает в

⁷ Цит. по: М. А. Бакунин. Речи и воззвания, стр. 259—268. В исследовательской литературе отмечено влияние на автора «Катехизиса» идей П. Н. Ткачева, занимавшегося в конце 60-х годов разработкой нравственных правил «людей будущего». См. Б. П. Козьмин. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М., 1922, стр. 90—98, 179—205.

руки III отделения, он направляет в Россию лицам «четвертой категории» сотни компрометирующих посланий с целью втянуть их в «революционную борьбу».

Кратковременный расцвет «нечаевщины» относится к концу лета — осени 1869 г., когда уполномоченный «Всемирного революционного союза» с мандатом Бакунина и «Катехизисом революционера» в руках явился в Россию для непосредственной организации «повсеместного», «беспощадного» истребления и разрушения. Сколачивая общество «Народной расправы», Нечаев осуществляет ряд провокаций — все якобы во имя того же «общего интереса революции». В Москве он уверяет молодежь, что в Петербурге существует могущественная революционная организация, в Петербурге же, наоборот, расписывает силу Московской организации. Дабы каждый член «Народной расправы» ежесекундно чувствовал на себе всевидящее око и власть мифического «Главного комитета», он разрабатывает систему взаимного шпионажа, рассказывает о «последних инструкциях», якобы полученных им только что из-за границы, выдает подставных лиц за инспекторов комитета, занимается шантажом.

Естественно, что методы Нечаева не могли не вызвать подозрения, а затем и сопротивления в среде русских революционеров. Уже во время студенческих волнений 1868—1869 гг. против него выступали М. Ф. Негрескул и М. А. Натансон. Негрескул боролся против Нечаева и за границей, и после возвращения Нечаева в Россию, рассказывая «всем и каждому, что Нечаев — шарлатан»⁸. Протестовал против анархистских статей А. И. Герцен, предсказывая, что они наделают «страшных бед» (Г., ХХХ, кн. 1, 109). Наконец, против действий Нечаева восстал один из членов «Народной расправы», студент Петровской земледельческой академии в Москве И. И. Иванов. Он решил выйти из общества и организовать свой кружок. Иванов отверг важнейший принцип «нечаевщины», заключающийся в подмене революционной организации единоличной инициативой воли ее руководителя. Он заявил Нечаеву, который постоянно ссылал-

⁸ Б. П. Козьмин. С. Г. Нечаев и его противники. — «Революционное движение 1860-х годов». Сб. М., 1932, стр. 176—190, 204—216; В. Засулич. Воспоминания. М., 1931, стр. 49.

ся на таинственный «Комитет»: «Комитет всегда решает точь-в-точь так, как вы желаете»⁹.

И здесь выявился второй лик «нечаевщины». Первый мы уже знаем — это всепроникающая, всеопутывающая ложь. Но когда ложь находится под угрозой разоблачения, остается единственный способ помешать этому — насилие. Нечаев объявил Иванова предателем, которого надо убрать — для безопасности «общества и дела». Убийство, по мысли Нечаева, должно было к тому же «сцементировать кровью» участников «Народной расправы». 21 ноября 1869 г. Нечаев застрелил Иванова из пистолета в гроте парка академии.

Итак, первым и, собственно говоря, единственным «делом», совершенным Нечаевым, было уголовное преступление, убийство. Террор был применен не к аракчеевым, не к «извергам в блестящих мундирах, обрызганных народной кровью», как обещали Бакунин и Нечаев¹⁰, а к члену организации, честному, революционно настроенному студенту.

После этого представитель «Всемирного революционного союза» скрылся за границу. В январе 1870 г. Нечаев снова в Швейцарии. Во втором номере «Народной расправы» он объясняет свое появление за границей и оправдывает убийство Иванова. Оказывается, он, Нечаев, был снова пойман царем, но, как и прежде, бежал. Он продолжает клеветать на Иванова, утверждая, что убийство — результат «суровой логики истинных работников дела», печатает статью «Кто не за нас, тот против нас», представляющую собой, по выражению Маркса и Энгельса, «апологию политического убийства»¹¹. Прибрав к своим рукам деньги из бахметьевского фонда, оставшиеся у дочери А. И. Герцена, он издает (снова втянув в свои дела Огарева) сумасбродные прокламации, обращенные к дворянству, купечеству, мещанству, сельскому духовенству, студенчеству, пытается возобновить издание «Колокола», ратуя уже не за революцию, а за сплочение всех «честных» людей, как средство . . . избежать народной революции, ведет бесконечные интриги против своих же соратников. Наконец, и Бакунину и Огареву становится

⁹ В. Засулич. Воспоминания, стр. 50.

¹⁰ «Историко-революционная хрестоматия», т. 1, стр. 89.

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 412—413.

невмоготу от происков Нечаева, они рвут с ним отношения¹².

Похождения Нечаева близились к финалу. Отвергнутый русской революционной эмиграцией, он скитался еще некоторое время по Европе, пока один из царских агентов не выдал его швейцарской полиции, а та передала Нечаева в 1872 г. царским властям.

Таковы вкратце обстоятельства нечаевской «эпопеи». Она воплотила в себе в самой уродливой форме незрелость тогдашнего революционного движения, и прежде всего его теоретическую и организационную слабость, определенную узость его классовой базы. Разночинская среда, среда мелкобуржуазной демократии, дала во второй половине XIX в. российскому освободительному движению прекрасный человеческий материал, цвет своего высшего развития. Но та же среда заражала это движение и своими болезнями вследствие разложения отдельных ее слоев. Некоторые выходящие из этой среды протестующие деклассированные элементы испытывают ненависть ко всему, что связано с культурой, наукой, образованием, они склонны к авантюризму, подвержены шатаниям и крайностям, беспринципны в убеждениях, легко и просто меняют лозунги, проявляют неразборчивость в средствах, они дают простор своему необузданному индивидуализму, говоря о «народной революции», выпячивают в центр этой революции собственное «я». Такие элементы имеются в любой полуфеодальной или капиталистической стране. Но в странах с буржуазно-демократическим строем они не уживаются долго в рядах пролетарских политических революционных партий с их принципом демократического централизма, развитым теоретическим мышлением, свободой обсуждения, гласностью, они быстро «перевариваются» такими партиями или выталкиваются из них. В условиях самодержавного строя, господства кружковщины, узкого заговорщичества, таинственности (одним словом, политической инфантильности революционного движения) этим элементам в отдельные периоды создается раздолье, иногда они становятся и во главе движения, обрекая его на ката-

¹² Подробнее о зарубежной «деятельности» Нечаева см.: *Б. П. Козьмин*. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, стр. 445—573.

строфические неудачи. Можно согласиться в основном с выводами исследователя революционно-демократического движения в России в конце 60-х — начале 70-х годов XIX в. Р. В. Филиппова, который видит во всей эпопее «нечаевщины» своеобразный «сгусток тех крайних тенденций, которые наметились в русском освободительном движении в период спада революционно-демократической волны после поражения первого демократического натиска на самодержавие, с одной стороны, и конкретное проявление анархистско-бунтарских идей Бакунина, шедших из-за границы, — с другой. Узкозаговорщические и террористические тенденции в кружке Н. А. Ишутина, специфические задачи, которые ставили перед собой члены ишутинской «Организации», создавая внутри ее группу «Ад», возведение частью ишутинцев «систематических царевубийств» на уровень важнейшего средства достижения «социальной революции», перекликающиеся со всем этим намерения участников «Сморгонской академии» — все это единая линия развития тех взглядов и настроений, которые нашли в «нечаевщине» свое концентрированное выражение»¹³. К сказанному стоит, пожалуй, добавить, что, хотя линия примитивной, ограниченной революционности может вести и действительно приводит в определенных условиях к псевдореволюционности, между той и другой все же не следует стирать и границу: политический акт царевубийства, на который отважились Каракозов с товарищами, никак не равнозначен акту убийства революционера, уголовному преступлению, которое лежит на совести Нечаева (если можно по отношению к нему употребить это выражение). Не имели ничего общего с революционностью и прочие черты его практической и «теоретической» деятельности.

Нечаев требовал вырабатывать революционные характеры в протестующей деятельности, в борьбе, и сам же превращал эту деятельность в фарс, мистификацию,

¹³ Р. В. Филиппов. Из истории революционно-демократического движения в России в конце 60-х — начале 70-х годов XIX века. Петрозаводск, 1962, стр. 59. Кружок под названием «Сморгонская академия» действовал в Петербурге в 1867—1869 гг., часть его членов разделяла идею царевубийства, определенное влияние на кружок оказали идеи Бакунина (знакомство с бакунинским № 1 «Народного дела»). Подробнее см.: Б. П. Козьмин. Революционное подполье в эпоху «белого террора». М., 1929, стр. 135—145.

игру в революцию. Он протестовал против казенной науки, растлевающей молодежь, клеймил софизмы «попов-профессоров», «украшивающих цветами античного красноречия цепи, в которых скован русский народ», и тут же обращал свою ненависть на науку вообще, возводил невежество в культ. Он бичевал бесплодные либеральные переливания из пустого в порожнее, прекраснородушные утопии и вместе с ними топил в грязи социалистические идеи Добролюбова и Чернышевского. Он призывал революционеров сознательным и целеустремленным руководством направлять слепые крестьянские бунты, и сам же сводил «революцию» к огульному отрицанию, разнузданной анархии. Он уверял, что выше всего ставит народ, и этот же народ считал простым средством для заговоров. Он говорил об освобождении общества от уз деспотизма, о гарантиях «полной свободы обновленной личности», а сам создал в виде общества «Народной расправы» организацию, построенную на диктаторстве и деспотизме, взаимном шпионаже, слепом подчинении и безропотной покорности ее членов одному человеку. Он был человеком непреклонной воли, но вред его действий был прямо пропорционален той упрямой последовательности, с которой он их осуществлял.

Фанатическая ненависть к царизму, проявленная Нечаевым на суде и в застенках Алексеевского рavelина, где его гноили почти 10 лет (он умер в 1882 г.), не может изменить этой общей оценки объективной роли «нечаевщины». «Нечаевщина» не могла служить революции, она могла только погубить ее, ибо за мнимо революционной фразеологией Нечаева скрывалась контрреволюционная сущность его принципов и дел. То, что сеял Нечаев, пожинала реакция.

По стопам III отделения

Человеку, знакомому с историей царской России второй половины XIX в., не может не броситься в глаза удивительный факт. В июле — августе 1871 г. в Петербурге проходит первый в стране публичный политический процесс. До сих пор самодержавная Россия вносила свой вклад в дело международной реакции в виде голой и грубой силы. Но со времени «великих реформ» 60-х годов к прямому насилию, которое всегда было для ца-

ризма главным способом борьбы, все чаще стала прибавляться организация клеветы на революцию. Отсталый царизм начинает учиться у «передовой» европейской буржуазии бороться против революционеров путем их дискредитации. Процесс 1871 г. — это по существу первый опыт приобщения царизма к международной идеологической и политической кампании реакции против сил социализма в Европе, которая небывало широко развернулась после подавления Парижской коммуны.

Без труда раскрыв факт убийства Иванова, власти арестовывают около 150 человек, 79 из них сели на скамью подсудимых. Имя Нечаева объявляется синонимом революции, демократии, коммунизма. Нечаев называл себя революционером, значит, любой революционер — нечаевец. Он выступал от имени «Всемирного революционного союза», значит, он типичный представитель «Интернационалки», как именовала в те годы Международное Товарищество Рабочих русская реакционная печать. Он прибегал ко лжи и убийству, значит, таковы принципы коммунизма! Дабы привлечь «благотворительное внимание» публики к материалам процесса, министерство юстиции специально предложило обеспечить быстрое и подробное печатание в газетах отчетов заседания суда. Александр II собственноручно наложил на докладе управляющего министерством юстиции Эссена резолюцию: «Дай бог»¹⁴.

Замысел реакции был предельно прост: одним ударом покончить со всеми революционными элементами, искоренить «красную крамолу» в самодержавной России столь же радикально, как это делал в республиканской Франции палач Тьер. Буквально все «государственные преступники», выявленные III отделением за полтора года со времени убийства Иванова, были представлены на нечаевском процессе (отсутствовал, правда, пока еще сам Нечаев). К обвинению в убийстве Иванова соучастников Нечаева — членов «Народной расправы» (П. Г. Успенского, А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова, Н. Н. Николаева) был привязан еще десяток обвинительных актов. В них фигурировали не только остальные члены «Народной расправы», не имевшие никакого ка-

¹⁴ Авторы благодарны Б. С. Итенбергу, сообщившему им этот факт.

сательства к убийству, но и лица, не состоявшие в заговоре, но знавшие и не донесшие о нем, члены так называемого сибирского кружка студентов, студенты Харьковского и Новороссийского университетов и жители г. Череповца за хранение прокламаций «преступного содержания»; наконец, П. Н. Ткачев — за публикацию «противозаконных примечаний к книгам» и столь же «преступных» статей.

Как заявил прокурор Половцев, в деле «такого громадного значения» прежде всего важна роль «предшествующих явлений»¹⁵. «Нечаевщина» в документах обвинения объявлялась закономерным результатом проникнувших в Россию в начале 60-х годов «лжеучений коммунизма и социализма», нити от заговора были протянуты не только к Каракозову (которому звал подражать Нечаев), но и к Чернышевскому, не только к русской революционной эмиграции в Европе (что «доказывалось» мандатами Бакунина), но и к Интернационалу.

Знаменательно, что параллельно с публикацией правительственных сообщений о нечаевском деле и со статьями по этому поводу реакционные газеты публикуют информацию о Франции, отчеты о заседаниях Версальского военного суда¹⁶. Если в статьях о коммунарах встречаются ссылки на Нечаева, то в материалах о нечаевцах подчеркивается их «сходство» с коммунарами.

В ходе самого процесса обвинение постаралось «выжать» из факта убийства Иванова все, что только могло. «Насилие над Ивановым и затем смерть его ясно убеждают, — указывалось в обвинительном акте, — что члены общества не признают иного способа уничтожить мнимое или действительное препятствие к достижению своих целей, как только убийством»¹⁷.

Прекрасную службу реакции сослужил и нечаевский «Катехизис революционера». «Московские ведомости» Каткова, призывая ударить в «самый корень этой так называемой русской революции», писали: «Вы, господа, снимаете шляпу перед этою русскою революцией... Но вот катехизис русского революционера... Послушаем,

¹⁵ «Правительственный вестник» № 163, 1871 г.

¹⁶ См., например, «Московские ведомости» № 144, 145, 166, 167, 169, 172, 173, 175 и др. за 1871 г.

¹⁷ «Правительственный вестник» № 156, 1871 г.

как русский революционер сам понимает себя. На высоте своего сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабеж, убийства и предательство... Жулики лучше и честнее вожаков нашего нигилизма...»¹⁸

В эту клеветническую кампанию широко включилась и западная пресса. В «Times» от 21 октября 1871 г. появилась передовая «Революционный нигилизм», где «нечаевщина» фигурировала уже в качестве своеобразного национального воплощения методов международной революции вообще, Интернационала в особенности: «Русская программа... является в общем и целом программой любого заговора... Мы воистину должны благодарить этих русских революционеров... за произведенную демонстрацию того, что является их (заговоров.— Авт.) естественной тенденцией и логическим выводом...»

Не удивительны та радость и тот восторг, с которыми ухватились за «нечаевщину» реакционеры начала 70-х годов XIX в., начиная от царских жандармов и кончая буржуазной прессой «передового» Запада. Только что утопив в крови Парижскую коммуну, международная реакция обливала живых и мертвых революционеров потоками лжи и клеветы. И вот минуло целое столетие, а «нечаевщина» служит на Западе все тем же целям клеветы на революцию.

Поставим вопрос: есть ли объективные оценки роли Нечаева в современной зарубежной буржуазной литературе? Блеснув как метеор, писал, например, известный английский историк Э. Х. Карр, «он фактически ничего не достиг. У него было мало последователей, да и эти немногие заслуживают скорее имени обманутых простаков, чем учеников. Заговор, носивший его имя и окончившийся для многих из них тюрьмой и ссылкой, не просто потерпел фиаско — он был сплошным обманом... Нечаев не только провозгласил, но и осуществил принцип, согласно которому мораль не существует вообще. По этому принципу в интересах революции (единственным судьей которой он считал только себя) похвально и законно любое преступление, от убийства до мелкого воровства... Но и это еще не было самым отталкивающим. Логика

¹⁸ «Московские ведомости» № 161, 1871 г.

Нечаева всла его еще дальше. Те же самые принципы он применял с одинаковой готовностью и к своим противникам, и к своим так называемым друзьям. Он обманывал всякого на своем пути, а когда обман исчерпал себя, окончилась и его власть... Он представляет собой не имеющее параллелей и ошеломляющее сочетание фанатика, головореза и невежды». Исключительность явления «нечаевщины» отмечает и итальянский историк Ф. Вентури в известной книге «Корни революции». «Революционное брожение, вдохновлявшее Ишутина и его группу, — пишет он, — произвело в Нецаеве само воплощение насилия. Он придал чувствам и идеям «Ада» безжалостность, единственную в своем роде среди революционеров-шестидесятников»¹⁹.

Подобные оценки, свидетельствующие о стремлении исследователей разобраться в фактах, встречаются в современной зарубежной литературе. Но такие признания редки.

Одна общая черта характеризует пособия наподобие изданного в Вашингтоне еще в годы «холодной войны» пресловутого справочника «Стратегия и тактика мирового коммунизма», псевдонаучных книжонок Кона «Основы истории современной России» или Либера «Философия большевизма в главных чертах ее развития»²⁰. Сводя всю русскую революцию к «заговору», а большевизм — к «экстремизму», эти «исследователи», соответственно, обращаются к фигурам вроде Нецаева и Бакунина. Но даже занимаясь специально Нецаевым, они боятся привести всю совокупность касающихся его фактов, хотя бы главные выдержки из его «творений»; явно шарлатанский характер его походов и документов способен уже сам по себе вызвать сомнения в типичности подобного рода явления.

Правда, лет 15 тому назад история «нечаевщины» была как будто детально документирована в буржуазной литературе. Вышло специальное исследование некоего

¹⁹ E. H. Carr. *The Romantic Exiles*. London, 1949, p. 335—336; Fr. Venturi. *Roots of Revolution*. New York, 1960, p. 354.

²⁰ *The Strategy and Tactics of World Communism*. Washington, Committee on Foreign Affairs, 1948; H. Kohn. *Basic History of Modern Russia*. New York, 1957; H. J. Lieber. *Die Philosophie des Bolschewismus in den Grundzügen ihrer Entwicklung*. Frankfurt am Main, 1958.

М. Правдина под интригующим названием «Преданный забвению Нечаев. Ключ к большевизму». В этой книге можно найти все детали касательно нечаевских похождений в России и за рубежом, подробный отчет о нечаевском процессе 1871 г. и о суде над Нечаевым в 1873 г., рассказ о поведении Нечаева в Алексеевском равелине. Сообщает Правдин и об отрицательном отношении передовой общественной России к Нечаеву: «...название «нечаевщина» стало олицетворением вероломства, политической лжи и бесконтрольного централизаторского диктаторства, основанного на систематическом обмане товарищей»²¹.

Но, создав видимость объективности в начале книги, Правдин идет на откровенный подлог в конце. К части первой — рассказу о Нечаеве попросту «приклеивается» часть вторая — «Ленин», где собраны всякая накипь и грязь, вылитые в свое время на Ленина и его партию врагами большевизма. Принципиальность Ленина в борьбе против извращений марксизма изображается здесь как «абсолютная нетерпимость» к любому инакомыслию, настойчивость в борьбе за организационные принципы демократического централизма выдается за стремление установить «личное диктаторство», принципиальные расхождения, выявившиеся сначала в рядах российской социал-демократии, затем в рядах II Интернационала, преподносятся как результат бесконечных «интриг» все того же «одного человека»; в довершение всего большевикам подсовываются нечаевские принципы... вплоть до лозунга единения с «разбойным миром» России.

Реальной историей большевизма Правдин не интересуется и даже откровенно в этом признается: «...эта книга не ставит задачей описывать тактические действия большевиков и повороты их внутренней и внешней политики», но с тем большей легкостью нагромождаются им одно за другим клеветнические сравнения, призванные «установить, до какой степени их идеология и их методы могут быть прослежены вплоть до Нечаева»²².

Однако сколько бы вымыслов ни нагромождал Правдин, нельзя скрыть простой и ясной истины: коммунизм

²¹ M. Prawdin. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism. London, 1961, p. 70.

²² Ibid., p. 184, 123, 126, 132, 141, 172.

и анархизм, ленинизм и «нечаевщина» — смертельные, непримиримые враги. Это очевидно любому добросовестному человеку, хоть сколько-нибудь знакомому с фактами. «Организационных принципов» Нечаева — Бакунина хватило лишь на то, чтобы скленть обманом в конспиративную организацию дюжину-другую человек и уже через месяц-другой погубить их авантюризмом и шарлатанством. Организационные принципы большевизма позволили в условиях жесточайших репрессий выковать многотысячную боевую пролетарскую партию, поднять и повести на сознательную революционную борьбу миллионные массы, совершить величайший в мире социальный переворот. От этого факта никуда не уйти, и недаром тот же Правдин кончает книгу знаменательным самоопровержением: «Крах нечаевской практики и успех Ленина, достигнутые хотя и в совершенно различных обстоятельствах, говорят сами за себя»²³.

«Исследователи» типа Кона, Либеры, Степуна, Правдина, «разрабатывающие» нечаевские сюжеты в нынешней буржуазной науке, во всех отношениях уподобляются своим духовным предкам — жандармам III отделения. Но при всем своем служебном честолюбии царские чинуши и жандармы (убогие и отстающие люди!) и не подозревали, что их «наследие» станет всерьез «разрабатывать» буржуазная историческая наука. Им и присниться не могло, что они будут выступать в роли компетентных толкователей истории, что их «умозаключения» будут повторять в середине XX в. западные «знатоки» коммунизма и специалисты по борьбе с ним. . .

«Бесы» Достоевского в современной идеологической борьбе

Однако у нынешних исследователей «нечаевских традиций» есть еще один первоисточник, несколько иного рода, чем духовное наследие царских жандармов. Этот первоисточник они не скрывают, а много говорят о нем. Мы имеем в виду роман «Бесы» Достоевского, где писатель в образе Петра Верховенского изобразил Нечаева типичным представителем русских революционеров. В открытой Достоевским «диалектике экстремизма», уверяют

²³ Ibid., p. 192.

ценители «Бесов», заложен «ключ» к «пониманию природы русской революции», ее «метафизических корней», последствий «разрушения идеи бога». «Во всем XIX в., — заявляют они, — не было другого такого романа, который предвидел бы с большей прозорливостью политические потрясения XX в.». «Преодоление нигилизма изнутри», «откровение о русской революции», «пророческое и ужасающе детальное предсказание неизбежного хода революции», «пророчество о событиях XX в.» — в этой оценке «Бесов» сходятся десятки буржуазных специалистов²⁴.

Достоевский действительно выступил в начале 70-х годов с романом против революционеров, и нет ничего удивительного, что за роман цепляются нынешние клеветники. Находясь за границей и узнав о нечаевском деле, он тут же принялся за работу. «Ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства, — сообщал еще в 1870 г. Достоевский, приступая к работе над романом, — я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет». О Нечаеве газеты заговорили в январе 1870 г., а 18 октября 1870 г. Достоевский уже посылает Каткову первые главы романа. 5 апреля 1870 г. Достоевский писал Н. Н. Страхову: «На вещь, которую я теперь пишу в «Русский Вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность...»²⁵ Однако (как почти всегда у Достоевского) первоначальный замысел и исполнение отличались друг от друга.

И если разобраться глубже в источниках противоречий гениального художника, то анализ содержания даже такого романа, как «Бесы», оборачивается против реакционных тенденций творчества Достоевского, не говоря уже о тех, кто хотел бы приумножить за его счет свой моральный и политический капитал.

²⁴ Приведенные выше типичные оценки взяты нами из книг: *H. Kohn. The Mind of Modern Russia. New York, 1955, p. 12; R. Curle. Characters of Dostoevsky. London, 1950, p. 120, 158, 164; W. Nigg. Prophetische Denker. Zürich, 1957, S. 351, 371, 373; F. Steppin. Der Bolschewismus und die christliche Existenz. München, 1959, S. 240; J. Lavin. A Panorama of Russian Literature. London, 1973; C. M. Woodhouse. Dostoevsky. New York, 1974, p. 54; A. Klimov. Dostoevski ou la connaissance périlleuse. Paris, 1971, p. 144.*

²⁵ *Ф. М. Достоевский. Письма, т. II. М.—Л., 1930, стр. 288, 257.*

С социализмом Достоевский борется не во имя торжества «буржуазности», а во имя борьбы с ней; этот факт скрывается в буржуазной литературе, его не замечают те, кто коллекционирует антиреволюционные высказывания писателя, умиляется ими и... отказывается понимать их смысл.

Вот как писатель рисует капитализм: «...одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых — лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке»²⁶. А вот картина «социализма»: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми» (*Дост.*, X, 312).

Сравним еще два рассуждения. Первое: «...Не надо высших способностей! ...Их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями...» Теперь второе: «Мне нравилось ужасно представлять себе существо именно бесталанное и срединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я — бездарность и незаконность, и все-таки выше вас...» (ср.: *Дост.*, X, 322, и XIII, 76—77).

Совпадение идей говорит само за себя. Но в первом случае это идеи «социалиста» («Бесы»), а во втором — героя, мечтающего стать Ротшильдом («Подросток»). Эта отмеченная в марксистской литературе²⁷ путаница социальных адресов наиболее ярко проявилась в романе «Бесы», написанном по горячим следам деятельности Нечаева.

События, описываемые Достоевским в «Бесах», читатель вполне мог связать с именем и деятельностью Чернышевского (Степан Трофимович Верховенский специально изучает «роман «Что делать?»», чтобы заранее знать приемы и аргументы участников кружка своего сына Петра Верховенского «по самому их «катехизису»») (*Дост.*, X, 238).

²⁶ Ф. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 10, ч. I. СПб., 1895, стр. 37.

²⁷ См., например, В. Ермилов. Достоевский. М., 1956, стр. 17.

Герой романа «социалист» Петр Верховенский говорит: «...шпионят друг за другом взапуски и мне переносят... Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности... Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность... Ну, и, наконец самая главная сила — цемент, всёсвязующий, — это стыд собственного мнения... Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство... Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Полное послушание, полная безличность...» (*Дост.*, X, 298, 299, 322, 323). А шигалевская формула «будущей общественной формы» гласит: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» (*Дост.*, X, 311).

Очевидно, что изображать в таком бредовом свете социализм Чернышевского (не говоря уже о марксистском социализме) — в корне извращать факты. Если уже «нечаевщина» была карикатурой на социализм, то «верховенщина», можно сказать, карикатура в квадрате. И сам Достоевский подтверждает это. Он заставляет Верховенского признаться: «Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха!» (*Дост.*, X, 324). Но тем самым писатель подрубает свою критику социализма: выходит, что реально он разоблачает даже не грубо ошибающегося социалиста, а расчетливого мошенника, монстра, настоящего социального подонка. Один вопль Виргинского (после убийства Шатова) — «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» (*Дост.*, X, 462) выявляет всю неправомерность смешения уголовщины и социализма. И это — не случайные «оговорки», «проговорки». Это не социалисты, а мошенники, пишет Достоевский о Нечаеве, «мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте»²⁸.

Итак, Достоевский обвиняет социалистов по тому же самому списку, что и буржуа. Социализм для него — не антипод, а вариант буржуазности. Причем, когда Достоевский имеет в виду социализм Чернышевского, он глубоко заблуждается. Когда же речь идет у него о мелкобуржуазном, анархическом социализме, выявление

²⁸ Ф. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 9. СПб, 1895, стр. 335—336.

социального родства этого социализма с буржуазностью, действительно, оказалось весьма перспективным для понимания его природы. Вот почему, подводя итоги изучения «Бесов» в советской литературе, Б. Сучков имел все основания сказать: «Роман «Бесы» являет собой анатомию и критику ультралевацкого экстремизма»²⁹.

Достоевский прав, разоблачая тех «социалистов», которые исповедовали и олицетворяли иезуитскую мораль. Достоевский не прав, когда — в пылу полемики — отождествляет «верховенщину» с социализмом вообще. Но критика им «верховенщины», как таковой, оказалась глубокой и, повторяем, перспективной. Критика эта помогает лучше вникнуть в известное предупреждение Маркса: «...мы теперь уже знаем, *какую роль в революциях играет глупость и как негодяи умеют ее эксплуатировать*»³⁰. И сравним с этим циничное и точное самосознание Петра Верховенского, как оно выражено в романе: «Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом» (*Дост.*, X, 463).

Достоевский всю жизнь «заговаривал» себя и других против революции и — большую часть жизни — против социализма. Но отношение его к революции и социализму столь же противоречиво, как и отношение к религии. Он хотел поставить окончательный знак равенства между социальным протестом и преступлением и не мог его поставить. Сам бывший петрашевец, он знал, что среди молодежи масса таких, кто обращается к идеям революции и социализма беззаветно, с «неподдельной любовью к человечеству», «во имя чести, правды и истинной пользы»³¹. И как бы Достоевский ни относился впоследствии к социализму, творчество его без социалистического первотолчка не мыслится. Он чувствовал и понимал, что никакой анафемой не отделаться и от революции. Вот какие мысли мучили его: «У миллионов демоса

²⁹ Б. Сучков. Великий русский писатель. — «Достоевский — художник и мыслитель». Сб. М., 1972, стр. 20.

³⁰ См. В. И. Ленин. Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844—1883 гг.». М., 1959, стр. 310. В. И. Ленин выписал и подчеркнул это высказывание.

³¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV. М., 1959, стр. 280.

(кроме слишком немногих исключений) на первом месте, во главе всех желаний, стоит грабеж собственников. Но нельзя и винить нищих: олигархи сами держали их в этой тьме... Тем не менее они победят несомненно, и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела. Но никто не уступит вовремя, — может быть, и от того, что уж прошло время уступок»³².

А вспомним ту «картинку» из «Братьев Карамазовых», когда помещик затравливает ребенка собаками, затравливает на глазах матери, «картинку», нарисовав которую, Иван и возвращает «билет в мировую гармонию», а Алеша (всепрощающий инок!) шепчет: «Расстреляй!» (*Дост., XIV, 221*). Если даже из такого, казалось бы, безобидного, светлого облачка ударила вдруг такая молния, то какие же бури и грозы предстояло перенести России и всему миру? И хотя Достоевский всячески стремился смягчить и примирить все непримиримые социальные интересы, можно сказать, что от этих страниц и от многих других веет духом социального протеста (по замыслу художника, Алеша должен был уйти в революцию).

Раздувая ошибки Достоевского, буржуазные исследователи обходят, как правило, сильные стороны его творчества, замалчивают источники его противоречий. Достоевский против коммунизма! Достоевский за христианство! Достоевский наш союзник! Вот лейтмотив буржуазных работ. Но Достоевский был не только противником коммунизма, не понятого им. Писатель был смертельным врагом эксплуататорского строя. Как бы ни изменялись взгляды Достоевского, какие бы выпады он ни допускал против непонятого им социализма, никогда он не избирал альтернативой буржуазный строй. Сторонником социализма (утопического) Достоевский бывал, но защитником буржуазии — никогда. Неистребимое убеждение в бесчеловечности того общества, где «главный князь — Ротшильд», а деньги — «чеканенная свобода», — вот в чем ключ к пониманию чрезвычайно сложного отношения художника к социализму, революции, атеизму. И когда он объявлял, что раз коммунисты не верят в бога, то для них все дозволено, он попросту

³² Ф. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 10, ч. 1. СПб., 1895, стр. 105.

мерил коммунизм буржуазным аршином. «Все дозволено» — это и есть предел эксплуататорской морали вообще, буржуазной морали в особенности. Об этом свидетельствует и сам писатель, бичуя аморализм буржуазного мира. «Что такое *liberté*? Свобода, — писал он. — Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё, что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно» (*Дост.*, V, 78). Это — антибуржуазное кредо Достоевского. Здесь он и объективно (а часто и субъективно) — союзник Чернышевского, Герцена, Писарева.

Как это ни парадоксально кажется на первый взгляд, но именно непримиримая ненависть к капитализму ослепила Достоевского настолько, что он обвинил в грехах старого строя и зарождавшийся коммунизм. Верховенский — носитель омерзительных нравственных принципов, в этом писатель безусловно прав. Но, приняв продукты распада старого общества, заражающие новую жизнь, за зародыши этого нового, Достоевский отвернулся от нового вообще.

В XX в. в пору столыпинской реакции, веховцы использовали заблуждения и ошибки великого писателя для сознательной клеветы. Булгаков в «Вехах» характеризовал революцию как «легион бесов, вошедших в гигантское тело России». В сборнике «*De profundis*» («Из глубины»), 1918 г., Бердяев уверял, что «Бесы» — это «пророчество» о русской революции. Те же утверждения повторяют его книги «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937), «Русская идея» (1946). У веховцев и занимствовали свои сведения современные «знатоки» России — реакционные теологи, изгоняющие из мира «бесов коммунизма», продажные журналисты, клеветущие на коммунизм, разного рода дипломированные «исследователи» его истории и предыстории. Но в данном случае вопрос о том, прямо от Достоевского или косвенно — через веховцев — идет в нынешнюю антикоммунистическую литературу версия о «нечаевской традиции» в русской революции, не меняет существа дела. Первоисточником этой версии остается все та же полицейская клевета.

Столетняя идейная борьба вокруг нечаевской эпопеи доказывает: «нечаевщина» была и остается союзницей реакции. Та же идейная борьба доказывает: «нечаевщина» была и остается антиподом революции. Начнем с того, что даже такой «союзник» Нечаева, как Бакунин, не мог не порвать в конце концов этот союз.

Деятельность С. Г. Нечаева и М. А. Бакунина в 1869—1870 гг. исследователи обычно рассматривают слитно, не видя особой разницы в теории и методах действий того и другого. Для этого есть основания. Бакунин внес свою лепту в сотворение легенды о Нечаеве. Мистификаторские действия одного подкреплялись мистификациями другого. Бакунину и Нечаеву принадлежит соавторство в написании ряда «программных» документов, наконец, есть и письменные выражения восторгов Бакунина перед решимостью и талантами Нечаева, и признание того, что в 1869 г. они «соединились совершенно»³³.

Но гармонии этой пришел конец во время второго наезда Нечаева за границу, когда тот стал строить свои взаимоотношения с деятелями русской эмиграции на принципах шантажа и обмана. Публикация Конфино огромнейшего письма-объяснения Бакунина Нечаеву от 2 июня 1870 г. не только позволяет уточнить ряд до того неясных моментов³⁴, но и свидетельствует о любопытных сдвигах в воззрениях самого Бакунина на допустимость применения в политической борьбе иезуитских методов.

Бакунин в существе своих воззрений остается тем же Бакуниным-анархистом, убежденным в необходимости «всецелостного разрушения государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальной, но безымянной коллективной диктатурой друзей освобождения народа из-под всякого ига». Повторяет письмо и прочие анархистские идеи: о будущей ведущей роли «самородного

³³ «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1966, № 4, vol. VII, octobre-décembre, p. 628.

³⁴ Судя по письму, Бакунин был непричастен к составлению «Катехизиса революционера», который был творением одного Нечаева.

движения», «бродяжническо-воровского и разбойнического мира», о ненужности в ходе революции «малейшего вмешательства какой бы то ни было, даже временной или переходной власти», «всякого государственного посредства», кроме, разумеется, вмешательства все той же невидимой «коллективной диктатуры нашей организации».

Но в том же письме Бакунин сознается, что деятельность Нечаева в России не только травмировала его самого («я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет»; «я перестал верить в вашу политическую зрелость, в серьезность и в действительность вашего Комитета и всего общества вашего»). Куда важнее признание полнейшей несостоятельности всей нечаевской затеи, которую он так горячо поддержал. «Начнем с признания, что... мы разбиты... Народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал... Организация наша и по качеству, и по количеству своих членов, и по самому способу своего составления оказалась недостаточною».

Разрывая свои «интимно-политические отношения» с Нечаевым и все еще предлагая ему союз чисто практический, деловой, Бакунин, наученный горьким опытом, теперь требует не более и не менее как организовать и «морализовать» (!) не только весь народ, но и его «генеральный штаб», т. е. самих же нечаевцев и бакунинцев.

«А Вы делаете совершенно противное, — бросает он упрек Нечаеву, — следуя иезуитской системе, Вы систематически убиваете в них всякое человеческое личное чувство, всякую личную справедливость, как будто бы чувство и справедливость могли быть безличными, воспитываете в них ложь, недоверие, шпионство и доносы, рассчитывая гораздо больше на внешние пути, которыми Вы их связали, чем на их внутреннюю доблесть».

В сущности Бакунин проповедует в этом письме теорию «двойной морали» — полного доверия между членами товарищества, соратниками по революционной борьбе, и, напротив, систему обмана, лжи, насилия по отношению к противостоящему им обрекаемому на гибель официальному государственному миру. «...Где война, там политика, там поневоле является необходимость насилия, хитрости, обмана, — пишет он. — Общества, близкие по цели к нашему обществу, должны быть принуждены к слитию с ним или по меньшей мере должны быть

подчинены ему, без своего ведома и с удалением из них всех вредных личностей; общества противные и положительно вредные должны быть расторгнуты, правительство, наконец, уничтожено. Всего этого одною пропагандою истины не сделаешь — необходима хитрость, дипломатия, обман. Тут место и иезуитизму, и даже опутыванию... Итак, в основании всей нашей деятельности должен лежать этот простой закон: правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении к каждому человеку, который способен быть и которого Вы бы желали сделать братом; ложь, хитрость, опутывание, а по необходимости и насилие в отношении к врагам. Таким образом, Вы будете морализировать, укреплять, теснее связывать своих и расторгать связи и разрушать силы других»³⁵.

Теория «двойной морали» Бакунина ложна в самой своей основе. Политическая борьба, действительно, заставляет революционеров прибегать к насильственным способам действия. Но подлинные революционеры всегда отвергали применение системы «иезуитизма и опутывания» даже к врагам, а принципиальное решение проблемы, данное в конце концов марксизмом, состоит в том, чтобы применять революционное насилие только как вынужденное ответное средство, ставя своей сознательной целью гуманизировать каждую фазу борьбы, как только для этого открывают возможность успехи революционеров, заботясь неустанно о чистоте их собственных рядов.

Как бы то ни было, несмотря на выявившиеся позднее расхождения, Бакунин несет полную ответственность за нечаевскую авантюру — он был ее непосредственным вдохновителем и соучастником. А между тем эту ответственность реакция облыжно приписала русским революционерам-демократам.

Русские демократы и революционеры против «нечаевщины»

Русская демократическая общественность держала в 1871 г. трудный экзамен. Ей предстояло отделить зерна от плевел, революционные принципы и идеи — от их извращений и искажений.

³⁵ «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1966, № 4, р. 624, 628, 642, 650, 654, 656, 658, 674, 676, 684.

Но если некоторые товарищи Нечаева не смогли в свое время отличить революционную правду от нечаевской лжи (например, Успенский даже на процессе верил Нечаеву и доказывал необходимость убийства Иванова), то уже в первые дни процесса это сделала демократически настроенная защита подсудимых.

В ходе процесса выяснилось, что на участие в убийстве Иванова Нечаев толкнул своих друзей помимо их воли и желания. Ни один из его соратников вообще ничего не знал о «Катехизисе революционера». Другие «программные» документы Нечаева и Бакунина, известные участникам «Народной расправы», не всегда находили у них сочувствие, а у некоторых русских революционеров встретили прямой отпор³⁶.

Процесс вопреки замыслам его организаторов выявил противоположность принципов и поведения революционной молодежи безнравственным заповедям и делам Нечаева. Именно благородные черты членов организации: их честность, бескорыстие, готовность служить народу, с одной стороны, доказывала защита, и узурпация Нечаевым имени народной революции — с другой, — объясняют факт непонятной, почти мистической власти Нечаева над своими товарищами. Трагедия людей, отдавших свою жизнь и честь во власть проходимца и авантюриста, состояла в том, что, служа ему, они искренне думали, что служат делу освобождения народа. Именно на этих светлых, высоких чувствах мастерски умел играть Нечаев.

«Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение... — говорил на процессе защитник Спасович. — Читались показания студента Енишерлова, который дошел до того, что подозревал, не был ли Нечаев сыщиком. Я далек от этой мысли, но должен сказать, что если бы сыщик с известной целью задался планом как можно более изловить людей; то он действительно не мог бы искуснее взяться за дело, чем взялся Нечаев». «Предшествующими защитниками... — справедливо заключил адвокат Соколовский, — с Нечаева снят тот ореол, кото-

³⁶ «Правительственный вестник» № 158, 163, 165, 1871 г.

рый окружал его, — ореол революционера»³⁷. Таков был главный итог процесса.

Судебный процесс явно не оправдывал возлагавшихся на него «свыше» надежд. Он постепенно превращался в обвинение против самого самодержавного строя. Не случайно уже через какую-нибудь неделю после начала заседания председатель суда стал одергивать защитников и подсудимых, запрещая им касаться «исторической и политической части дела». Вместо подробнейших стенограмм газеты стали ограничиваться краткой информацией о суде, сообщения публиковались все реже и реже.

О провале замыслов реакции красноречиво свидетельствуют и донесения царских шпионов, и реакционная печать. Уже в донесении агента III отделения от 11 июля 1871 г. выражалось беспокойство насчет того, что происходит на процессе. «...Собственно, роли переменились: не общество и государство в лице суда являются обвинителем, а, напротив, они становятся обвиняемыми и обвиняются с силою и красноречием фанатического убеждения, как бы напрашивающегося на мученичество. Такие примеры всегда создают последователей». «Как можно было суду и прокуратуре допустить в число защитников по политическому процессу Спасовича, Арсеньева и князя Урусова? — жаловался в своей записке шефу жандармов агент III отделения, реакционный журналист И. Арсеньев. — Спасович ярко обрисовал свой характер и цели в деле Щапова, защищая социалистические теории Луи Блана; Спасович был счастлив, что в залах суда публично имел возможность высказывать свои политические убеждения и верования... Суд и прокуратура... обязаны были распорядиться так... чтобы в качестве обвинителя явилась личность вполне способная отстоять интересы правительства»³⁸. «На преступников обрушились кары, рассчитанные по такой-то и такой статье уголовного законодательства; но образ мыслей, лежавший в основе их действий, не только не подвергся отрицанию, он даже прославлен»³⁹, — сокрушались «Московские ведомости» по поводу итогов процесса.

³⁷ «Правительственный вестник» № 158, 163, 165, 167, 1871 г.

³⁸ «Нечаев и нечаевцы». Сб. материалов. М.—Л., 1931, стр. 168, 186, 187.

³⁹ «Московские ведомости» № 161, 1871 г.

Не удивительно, что единодушное одобрение реакционной печатью гласности суда сменилось не менее единодушным осуждением «мягкости», «либеральничанья» с подсудимыми и «вольности» адвокатов. Восторги реакции в предвкушении того, что ей удастся опорочить революцию и революционеров, оказались преждевременными. Первый публичный процесс в России провалился.

Передовая же русская общественность начала распутывать хитросплетения нечаевского дела. Она поняла, что «нечаевщина» и революция — смертельные враги. Нечаевский процесс сыграл вопреки замыслам реакции революционизирующую роль.

Народник А. Лукашевич, живший в ту пору в Херсоне, пишет в воспоминаниях: «Благодаря обильному материалу, доставленному всем газетам «Правительственным вестником», у нас являются первые «проклятые вопросы». . . Нет никакой возможности как следует оценить теперь эффект, произведенный в молодых умах разоблачениями, внезапно на нас нахлынувшими. . . Новые для нас факты и попытки их объяснить в буквальном смысле слова будили спавшую мысль молодежи. . . Я всегда считал эти два факта: нечаевский процесс и парижскую Коммуну теми двумя далеко видными вехами, которыми определился весь мой дальнейший путь в жизни»⁴⁰.

В мемуарах народников Парижская коммуна и нечаевский процесс (при всей неравнозначности этих событий) фигурируют, как правило, в числе главных факторов, содействовавших в начале 70-х годов прошлого века росту революционных настроений в России. И в большинстве случаев все эти источники отмечают «смешанное», а точнее, двойственное впечатление современников от процесса: их сочувствие и симпатии нечаевцам, делу борьбы за освобождение народа, их возмущение самим Нечаевым и его образом действий. Революционная молодежь резко и определенно отмежевала революцию от «нечаевщины»⁴¹.

Имеются десятки высказываний современников, не

⁴⁰ А. Лукашевич. В народ! (Из воспоминаний семидесятника). — «Былое», 1907, № 3/15, стр. 1, 2, 5.

⁴¹ Исключение в этом отношении представлял

оставляющих никаких сомнений на этот счет. В. И. Засулич, О. В. Аптекман, И. С. Джабадари, Н. А. Чарушин, П. Л. Лавров, С. М. Степняк-Кравчинский, Светозар Маркович, Л. Г. Дейч и многие другие революционеры единодушно определяли «нечаевщину» как наглядный пример «отрицательного» опыта, как попытку деморализовать движение и «отодвинуть его назад», как «дугую затею, построенную на обмане товарищей». Все они постоянно подчеркивали «контраст между Нечаевым и нечаевцами», заявляли, что «средством для распространения истины не может быть ложь», что революционерам нельзя «ни в коем случае строить организацию по типу нечаевской», что такая организация обречена на гибель если не от врага, то от «собственного разложения» и т. п.⁴²

Отметим также другой важный момент: уже у современников Нечаева сложилось представление о том, что «нечаевщина» — это порождение не революции, а самого старого строя. «Редакция «Вперед» с самого начала признала, — писал П. Л. Лавров, — что истина и солидарность нового социального строя не может быть основана на лжи и лицемерии, на эксплуатации одних другими, на игре принципами, которые должны лечь в основание нового строя, на овечьем подчинении кружков нескольким предводителям. Ни один из его (журнала «Вперед». — *Авт.*) главных сотрудников никогда не отступал от убеждения, что эта «отрыжка старого общества» не только безнравственна в деятеле нового, но подрывает самые начала, за которые борется социалистическая партия»⁴³.

События нечаевской эпопеи лишний раз убеждали Лаврова в необходимости углубленной разработки проблем этики революционного действия. И в 1884 г., подводя итог своим многолетним размышлениям, он нашу-

⁴² См., например, В. Засулич. Воспоминания, стр. 56—57; О. В. Аптекман. Общество «Земля и воля» 70-х годов. Пг., 1924, стр. 59—60; «Былое», 1907, № 9(21), стр. 183; В. Фигнер. Полн. собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., 1932, стр. 91; П. Л. Лавров. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг. Л., 1925, стр. 31; Н. А. Чарушин. О далеком прошлом, ч. I и II. М., 1926, стр. 78—79; «Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии». Сб. статей. М., 1957, стр. 330—331, и др.

⁴³ П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы в 8-ми томах, т. 3. М., 1934, стр. 362.

пывает в статье «Социальная революция и задачи нравственности» в общем верное их решение, относя к «условиям торжества социализма» постоянную борьбу за нравственную чистоту самой революционной партии, точное осознание этой партией объективных условий ее борьбы, предельно возможное, в каждом конкретном случае, сужение сферы вынужденных насильственных действий. «Сила организованной партии революционеров, — писал Лавров, — есть единственное надежное оружие для разрушения политического препятствия... Но при этом она должна знать, что борьба, которую она ведет, относится не к области нравственности, а к области необходимого, и потому тем строже, вне пределов этой борьбы, должна в своей среде охранять себя от всякого нравственного пятна... Она должна строго взвешивать, что именно «крайне необходимо». Она должна тщательно рассчитывать, чтобы эти «крайне необходимые» удары приносили свои полные результаты вследствие подготовленной для них обстановки. Она не должна допускать ни одного «лишнего» пятна на знамени социальной революции»⁴⁴.

Таким образом, одной из традиций русского революционного движения была не традиция «нечаевщины», как уверяли и уверяют прошлые и нынешние фальсификаторы, а традиция борьбы с ней, ее разоблачения. И если говорить о подлинных традициях в русской революции, то в ней складывалась и укреплялась, наследовалась и развивалась и в XVIII, и в XIX, и в XX вв. в труднейших условиях тогдашней подпольной жизни революционеров традиция самоотверженности, бескорыстия, традиция нетерпимости ко всякой несправедливости и лжи.

Если в России, стране с преобладанием мелкобуржуазного населения, подчеркивал В. И. Ленин, анархизм пользовался сравнительно ничтожным влиянием, то главную роль в этом сыграли уроки беспощадной борьбы революционной социал-демократии против оппортунизма и анархизма и то, что анархизм «имел возможность в прошлом (70-е годы XIX века) развиваться необыкновенно

⁴⁴ П. Л. Лавров. *Философия и социология*. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., 1965, стр. 481—483.

пышно и обнаружить до конца свою неверность, свою непригодность как руководящей теории для революционного класса»⁴⁵.

Идеи Чернышевского против «нечаевщины»

Мы не имеем никаких данных, говорящих об отношении Чернышевского к нечаевскому процессу или самой «нечаевщине». Как раз в конце 1871 г. «государственного преступника» перевозили с Александровского завода в Вилюйск. Успел ли Чернышевский до отъезда узнать об этих событиях, неизвестно.

Однако мы можем установить полную противоположность заповедей Чернышевского и нечаевских «дел».

Чернышевский ясно представлял себе одно из реальных противоречий революционной борьбы — противоречие между ее высоконравственными гуманными целями и тем насильственным способом действий, теми средствами борьбы, на которые толкает революционеров сопротивление отживших социальных сил, применение насилия с их стороны. Чернышевскому принадлежит уже знакомое нам изречение, приведем его теперь полностью: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя» (Ч., VII, 923). В формуле Чернышевского в самом общем виде определено основное условие целесообразности «не совсем опрятных» занятий революционеров — высшим критерием этой целесообразности должна быть «благотворность» их для людей.

⁴⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 15. Эпизод «нечаевщины», безусловно, входит в историю анархизма в России. Вместе с тем следует учитывать и отмеченную в советской литературе «неустойчивость теоретических взглядов Нечаева и его теоретическую беспринципность, в силу чего он иногда в одно и то же время высказывался и как анархист, и как бланкист, и как непримиримый враг общества, и как сторонник объединенных действий с либералами» (Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века. М., 1958, стр. 262).

«Это время чистки, — разъяснял Чернышевский в обзорах «Политика», — неудобно для прогулок чистоплотным людям: они только будут мешать людям, у которых чистоплотность не доходит до пренебрежения к исполнению дел, нужных для приведения в порядок тротуаров. Аполлон не принимался за очищение Авгиасовых конюшен: это дело мог исполнить только Геркулес, во всю свою жизнь только однажды вздумавший пощеголять в чистой рубашке, да и то перед самой кончиной, по совершении всех своих двенадцати подвигов» (Ч., VI, 187).

А в романе «Что делать?» мыслитель подчеркнул те «родовые» качества революционеров, которые должны были стать залогом успеха возглавленного ими дела, залогом того, что их самих не засосет расчищаемая ими грязь старого мира: знание, непреклонная воля и умение довести дело до конца; нравственная чистота и полное бескорыстие. Что же касается идеала будущего, как он представлен в романе, то о нем можно сказать одно: покончив с вынужденными, насильственными способами борьбы, людям неизбежно придется смыть грязь «со своей обуви».

В сибирских письмах 70-х годов, адресованных сыновьям, Чернышевский касался и специально того основного «принципа», которому следовал Нечаев. В письме сыну Михаилу из Вилюйска (15 сентября 1876 г.) Чернышевский пытается сформулировать «правильные... понятия о знаменитом подлом правиле — «цель оправдывает средства», подразумевается: хорошая цель, дурные средства. Нет, она не может оправдывать их, потому что они вовсе не средства для нее, хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели, а для хорошей годятся только хорошие... Да, мой милый, историки и вслед за ними всякие другие люди, ученые и неученые, слишком часто ошибаются самым глупым и гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало или может быть, что дурные средства — средства, пригодные для достижения хорошей цели. В этой их глупой мысли нелепость внутреннего противоречия: это мысль, подобная таким бессмыслицам, как «четное число есть нечетное число», «треугольник имеет четыре угла», «железо имеет

корень, стебель и листья», «человек — существо из семейства кошек» и тому подобные нелепые сочетания слов. Все они годятся лишь для негодяев, желающих туманить ум людей и обворовывать одураченных. Средства должны быть таковы же, как цель» (Ч., XIV, 684—685).

Правда, Чернышевский не отвечает в своем письме на вопрос, который он ставил в статьях «Современника»: а как быть, если условия реальной политической борьбы навязывают силам, ставящим перед собой благие цели, насильственные, не всегда соответствующие целям средства борьбы? Но не будем искать в сибирских письмах Чернышевского, проходивших через жандармские руки, слишком ясных ответов на вопросы, поставленные ходом революционной борьбы в России. То, чего не мог сделать вождь русских революционеров, сделали в те же годы Маркс и Энгельс, нанеся в полемике с анархистами сокрушительный удар по «нечаевщине», этому псевдореволюционному иезуитству, извращению средств и целей революционной борьбы.

Маркс и Энгельс против «нечаевщины»

Еще на заре своей революционной деятельности К. Маркс сформулировал принцип: «...цель, для которой требуются неправо́вые средства, не есть правая цель...»⁴⁶ Но Маркс, как и Чернышевский, десятки раз подчеркивал, что сам выбор средств диктуется вовсе не пожеланиями революционной партии, а конкретными условиями политической борьбы, теми способами, которые практикуют правящие эксплуататорские классы для подавления сил революции, сил прогресса. Этот, казалось бы, заколдованный круг (благой цели нельзя добиться путем неправых средств, с другой стороны, мир зла не допускает применения одних только благих средств в борьбе) разрывается практически тем, что подлинно революционные партии повторно учатся на целом ряде проб и ошибок вкладывать в каждое применяемое средство столько от справедливой, нравственной, гуманной цели, сколько этого допускают объективные условия борьбы, и прежде всего собственные наличные силы. Они учатся при первой же создавшейся возможности сводить насилие даже

⁴⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 65.

в отношении эксплуататорских классов к «минимальнейшему минимуму»⁴⁷, безусловно и категорически запрещающая применение насильственных средств в области организации сил, создающих новый строй, в отношении самих трудящихся масс.

Важность этого общего принципа была еще раз подчеркнута основоположниками научного коммунизма в начале 70-х годов XIX в., когда последствия нечаевской авантюры сказались и на деятельности международного рабочего движения.

Нечаев появился за границей в тот момент, когда разворачивалась острая борьба между марксизмом и анархизмом, Интернационалом и бакуниным Альянсом. С одной стороны, через Русскую секцию Интернационала впервые была установлена связь международного рабочего движения с революционной русской эмиграцией в Европе; с другой стороны, в лице бакунизма и «нечаевщины» был заключен союз между западной и русской разновидностями анархизма с целью завоевания руководства интернациональным революционным движением, подчинения его скрытой диктатуре нескольких авантюристов. Пытаясь воспользоваться авторитетом Интернационала, анархисты постоянно злоупотребляли его именем, умышленно создавали путаницу между Международным Товариществом Рабочих и пресловутым «Альянсом социалистической демократии». Именно это давало повод зарубежной и русской реакции сваливать на Интернационал ответственность за авантюристические действия, а то и просто за уголовные преступления анархистов.

Уже в своем письме от 12 марта 1870 г. комитет Русской секции I Интернационала, обращаясь к Марксу с просьбой быть представителем этой секции в Генеральном совете Интернационала, подчеркивал, что русские интернационалисты не имеют «абсолютно ничего общего с г-ном Бакуниным и его немногочисленными сообщниками... Настоятельно необходимо разоблачить лицемерие этих ложных друзей политического и социального равенства, мечтающих на самом деле только о личной диктатуре по образцу Швейцера...»⁴⁸. В ответном

⁴⁷ См. *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 355.

⁴⁸ «К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия». М., 1967, стр. 169—170.

письме Маркса читаем: «Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века»⁴⁹.

В августе 1870 г. Бакунин и его приспешники были исключены из Центральной Женевской секции I Интернационала. В сентябре 1871 г. на Лондонской конференции Интернационала в повестке дня особо стоит вопрос о «нечаевщине». Незадолго до конференции закончился процесс в Петербурге, и Маркс сделал специальное заявление в связи с тем, что «во всех газетах этот процесс публиковали как процесс Интернационала»⁵⁰. В заявлении Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих (октябрь 1871 г.) говорится: «...*Нечаев* никогда не был ни членом, ни представителем Международного Товарищества Рабочих... Его утверждение, будто он основал секцию Интернационала в Брюсселе и был направлен брюссельской секцией с поручением в Женеву, является ложью... Упомянутый *Нечаев* злоупотреблял присвоенным им именем Международного Товарищества Рабочих для того, чтобы обманывать людей в России и приносить их в жертву»⁵¹.

Наконец, в 1873 г. выходит работа Маркса и Энгельса «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих», разоблачающая происки анархистов. Здесь дана всесторонняя характеристика «нечаевщины», разоблачено ее контрреволюционное содержание, вскрыта ее классовая суть. «Перед нами общество, — писали Маркс и Энгельс, — под маской самого крайнего анархизма направляющее свои удары не против существующих правительств, а против тех революционеров, которые не приемлют его догм и руководства... Для достижения своих целей это общество не отступает ни перед какими средствами, ни перед каким вероломством; ложь, клевета, запугивание, нападение из-за угла — все это свойственно ему в равной мере. Наконец, в России это общество полностью подменяет собой Ин-

⁴⁹ Там же, стр. 171.

⁵⁰ «Лондонская конференция Первого Интернационала 17—23 сентября 1871 г.». М., 1936, стр. 114.

⁵¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 17, стр. 440.

тернационал и, прикрываясь его именем, совершает уголовные преступления, мошенничества, убийство, ответственность за которые правительственная и буржуазная пресса возлагает на наше Товарищество»⁵².

В выступлениях Маркса и Энгельса против «нечаевщины» выделяются два основных момента: указания на ее вредность, опасность для дела революции и коммунизма и в то же время на ее нелепость, ничтожество, смехотворность. «Нечаевщина», не разоблаченная, действующая в потемках, из-за угла, опасна и страшна; «нечаевщина», разоблаченная и отданная на суд общественности, омерзительна и жалка. «Тьмы, побольше тьмы» — вот лозунг «нечаевщины», условие существования авантюризма и карьеризма, прикрывающегося маской революционности. «Света, побольше света» — вот лозунг пролетариата, условие существования и развития демократии пролетарской. «Против всех этих интриг, — писали Маркс и Энгельс, — есть только одно средство, обладающее, однако, сокрушительной силой, это — полнейшая гласность. Разоблачить эти интриги во всей их совокупности — значит лишить их всякой силы»⁵³.

Обнажив гнилую сердцевину «нечаевщины», Маркс и Энгельс изобличили контрреволюционность вождей Альянса, советовавших революционерам быть иезуитами — «только не с целью порабощения, а освобождения народного». Анархизм, выступающий от имени революции, — это не заблуждение людей, применяющих негодные средства для достижения благой цели. Это органическое единство ложных методов и ложных принципов, ибо любые верные принципы, защищаемые методами обмана, шантажа, не могут не превратиться в свою противоположность.

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма!» — писали Маркс и Энгельс о «Главных основах будущего общественного строя», программной статье Нечаева, в которой тот, ссылаясь на «Манифест Коммунистической партии», рисовал «коммунизм» как строй, где господствует принцип «производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше», где труд

⁵² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 329.

⁵³ Там же, стр. 330.

обязателен под угрозой смерти (!) и где регламентированы неким «Комитетом» все личные отношения, вплоть до поведения, быта людей. Маркс и Энгельс обнажили и классовые корни «нечаевщины», характеризуя ее как доведенную «до крайности буржуазную безнравственность»⁵⁴. Вспомним также, что Ленин характеризовал анархизм как «вывороченный наизнанку буржуазный индивидуализм»⁵⁵. В применении к «нечаевщине» эти положения означают, что она — порождение самой реакции, не враг ее, а наилучший союзник и друг. «Нечаевщина» на деле становится орудием реакции в борьбе с революцией: во-первых, помогая физически уничтожать революционеров, во-вторых, позволяя изображать их в образе Нечаева.

Чтобы оклеветать марксизм-ленинизм, реакция ставит знак равенства между «нечаевщиной» и принципом централизма. Но централизм централизму — рознь. Централизм коммунистической партии является демократическим. Маркс и Энгельс были самыми последовательными борцами за правильное сочетание демократии и централизма. Ленин постоянно настаивал на необходимости единства действий, отстаивал поистине железный централизм. Но он всегда считал демократический характер централизма условием жизнеспособности партии, ее сознательности, наконец, ее нравственной чистоты. Когда после II съезда РСДРП углубился раскол между большевиками и меньшевиками, встал и вопрос о том, какой должна быть пролетарская партия, Ленин, в частности, писал: «Пора, в самом деле, решительно отбросить традиции сектантской кружковщины и — в партии, опирающейся на массы, — выдвинуть решительный лозунг: *побольше света*, пусть партия знает *все*, пусть будет ей доставлен *весь, решительно весь материал* для оценки всех и всяческих разногласий, возвращений к ревизионизму, отступлений от дисциплины и т. д. Побольше доверия к самостоятельному суждению всей массы партийных работников. . .

...Необходимо, чтобы *вся партия систематически, исподволь и неуклонно воспитывала себе подходящих лю-*

⁵⁴ См. там же, стр. 413, 414, 415, 420.

⁵⁵ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 377.

дей в центре, чтобы она видела перед собой, как на ладони, *всю деятельность* каждого кандидата на этот высокий пост, чтобы она ознакомилась даже с их индивидуальными особенностями, с их сильными и слабыми сторонами, с их победами и «поражениями».

...Света, побольше света!»⁵⁶

В. И. Ленину — за это говорит вся его деятельность — было абсолютно чуждо представление о том, что вопрос об этике революционного действия либо неважен вообще, либо станет важным лишь в отдаленном будущем. Напомним, что Ленин избрал главной темой своего выступления о «задачах союзов молодежи» именно проблемы воспитания коммунистической нравственности. Подчеркивая трудности создания нового аппарата управления, В. И. Ленин недаром писал: «...нужда в честных отчаянная». Ленин говорил со страстью о том, что коммунизму нужны люди, которые «ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», не побоятся признаться ни в каких трудностях и не испугаются никакой борьбы за достижение серьезно поставленной себе цели⁵⁷.

А в своей речи памяти Я. М. Свердлова — этого «наиболее отчеканенного типа профессионального революционера», В. И. Ленин с особой силой подчеркнул, какое «громадное значение» имеет для успехов революции «крупный, завоеванный в ходе борьбы, бесспорно непрекаемый моральный авторитет, авторитет, почерпающий свою силу, конечно, не в отвлеченной морали, а в морали революционного борца, в морали рядов и шеренг революционных масс»⁵⁸.

Этот ленинский подход к революционному делу, требующий основывать его на единстве науки и морали, единстве знания и нравственной чистоты, нашел предельно сильное и ясное выражение в известных его словах: в партии мы видим «ум, честь и совесть нашей эпохи. . .»⁵⁹.

Марксистско-ленинские традиции борьбы за теоретическую и нравственную чистоту рядов революционной партии продолжает и развивает ныне мировое коммунистическое движение, передовой отряд прогрессивных сил

⁵⁶ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 94, 96.

⁵⁷ См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 298—318; т. 50, стр. 295; т. 45, стр. 391—392.

⁵⁸ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 75, 77.

⁵⁹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, стр. 93.

мира. Его борьба с «левым» ревизионизмом — прямое продолжение борьбы Маркса и Ленина с мелкобуржуазными извращениями марксизма.

В «Манифесте Коммунистической партии» есть такое определение коммунизма: «...ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»⁶⁰.

В 1894 г., за год до смерти Энгельса, к нему обратился итальянский социал-демократический журнал «L'Ега пиова» с просьбой привести какое-нибудь высказывание Маркса, которое столь же точно определяло бы дух нового общества, как определяли дух старого общества слова Данте: «Одни люди властвуют, а другие страдают». Энгельс отвечал: «Сформулировать в немногих словах идею грядущей новой эры, не впадая ни в утопизм, ни в пустое фразерство, — задача почти невыполнимая». И все же он нашел такие слова — слова сорокашестилетней давности — о свободном развитии каждого как условия свободного развития всех⁶¹.

Вот одна из главных идей, с которой основатели марксизма выступили впервые перед всем миром и которая стала одним из главных пунктов их духовного завещания. Вот идея, которой предстоит овладеть массами, воплотиться в жизнь — при соответствующих объективных экономических предпосылках и при соответствующей научно обоснованной политике коммунистических и рабочих партий. Вот позитивная идея, противостоящая идеологии «казарменного коммунизма».

Приведенное положение «Манифеста Коммунистической партии» относится не только к отдаленному будущему, но и к живому настоящему. Ясно, конечно, что данный принцип не может быть осуществлен повсеместно, сразу и полностью. Думать иначе — еще одна наивная и опасная утопия. Но движение к его полному осуществлению началось давно, оно продолжается и поныне. Цель не может откладываться на одни только грядущие времена, она должна быть реализуема систематически и постоянно уже в сегодняшних действиях, в самих избираемых силами социализма средствах борьбы.

⁶⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 447.

⁶¹ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 39, стр. 166—

Мера реализации принципа — свободное развитие каждого как условие свободного развития всех — и есть мера реального осуществления научного коммунизма, мера практического опровержения всех «аргументов» против него, всех предрассудков в отношении его, мера доказательства и подтверждения всех возлагаемых на него надежд.

Освободительное движение в России 50—60-х годов XIX в. обнаружило в своем развитии как взлеты, так и спады революционной мысли и действия, дало примеры подлинной революционности, двигавшей «дело» вперед, и примеры революционности мнимой, тормозившей это «дело».

Каждый из разобранных эпизодов по-своему поучителен. Для историка крайне важно зафиксировать и скрупулезно изучить моменты взлета теории и практики: на эти вершины десятилетиями и столетиями равняется человечество в своих помыслах и делах. Но не менее важно зафиксировать, скрупулезно изучить моменты спада теории и практики: заглядывая в эти пропасти, человечество учится избегать падений, ушибов, переломов, смертельных случаев в тех же помыслах и делах. Такое по возможности полное познание плюсов и минусов революционного дела гарантирует плодотворность учебы людей в великой и трудной «школе революций», гарантирует действенность знания о прошлом, призванного помочь людям преобразовать свою настоящую жизнь.

Если, подводя итог, попытаться выявить одну из главных заслуг таких революционеров, как Герцен, Писарев, Добролюбов, особенно Чернышевский, то мы не ошибемся, если скажем, что заслуга эта состояла в осознании громадной сложности вставшей перед революционерами задачи свержения самодержавного строя, задачи освобождения народа и соответственно в стремлении строить всю свою практическую деятельность на фундаменте прочного знания — знания исторического опыта более передовых стран Запада, знания социально-экономических и политических отношений собственной страны, знания устремлений и силы противоборствовавших здесь классов, знания трудностей предстоявшей революции, знания

творящих ее людей. Выработка социалистического идеала, его экономическое, историческое, философское обоснование, соотношение революции и реформы, условия успеха революционного действия, цель и средства революционной борьбы, роль в ней народных масс, революция и наука, политика и нравственность — таков далеко не полный перечень проблем, которые волновали выдающихся революционеров и по которым ими было достигнуто наибольшее движение вперед. Крайне важным был и осуществленный ими переход от мысли к «делу», как бы ни были малы поначалу его размах и результаты (попытка создания революционной организации, выработка типа революционера-профессионала, формулировка лозунга: «в народ! к народу!»). Важно и то, что «дело» вообще не мыслилось ими без систематической проверки каждого сделанного шага, плоды своих неустанных поисков они стремились делать достоянием своих последователей и учеников. Постоянная учеба в «школе революций» — вот их отличительная черта.

Если говорить, с другой стороны, об основном пороке революционеров вроде Зайчневского, Ишутина, Каракозова, особенно Нечаева и Бакунина, то он состоял (при всем различии этих фигур, их манеры действовать и мыслить, различии побудительных мотивов их деятельности) в предельной примитивности их представлений о задаче освобождения страны, в отсутствии теоретического обоснования осуществляемого ими «дела», в игнорировании уже накопленного опыта, знаний о революции. Крайне легковесное восприятие западной и российской социалистической и революционной литературы у Зайчневского или ишутинцев уступает место настоящему культу невежества у Нечаева и Бакунина. Соответственно деградирует и практика: от попыток вызвать прокламациями сиюминутную революцию — к попытке цареубийства, провоцирующей ее приход, к мистификациям и шантажу как средствам «развязывания» все той же сиюминутной революции. И как ни важны были сами по себе попытки претворить в жизнь революционные лозунги, эти попытки неизбежно оказывались авантюрой, поскольку за лозунгом действия не стояла глубокая работа ума. Нежелание, органическая неспособность учиться в «школе революций», неумение извлекать уроки из поражений — вот что отличает революционеров подобного толка.

Действия незрелых в теоретическом отношении революционеров и псевдореволюционеров нанесли российскому революционно-демократическому движению немалый вред. Но прервать его поступательное развитие они не могли. Правда, успехи стали приходить далеко не сразу: после каракозовского выстрела и авантюры нечаевщины революционная Россия видела и неудачу «хождения в народ», и новые попытки цареубийства, к которым толкнула эта неудача революционеров «Народной воли»... И все же движение расширялось и крепло, на смену одним «ушедшим со сцены» революционерам приходили другие, расширялись масштабы их практики, углублялись их теоретические представления, крепла их организация. В немалой степени помогало оправляться от ударов самодержавия, выправлять блуждания и шатания наследие, оставленное великими вождями шестидесятников, к этому наследию постоянно обращались продолжатели их традиций, они учились, воспитывались на нем, стремились развить его дальше.

Конечно, деятельность и труды даже наиболее выдающихся представителей революционной демократии 50—60-х годов в России не давали исчерпывающего ответа на поставленные общественным развитием проблемы: учителя сами еще не создали действенной революционной организации, не нашли дороги к народу, не достигли на практике и в теории уровня научной революционности, они только приближались к этому уровню в разной степени и разных отношениях. Но само обращение к тем же теоретическим источникам (утопический социализм, немецкая классическая философия, английская политическая экономия), которые разрабатывались К. Марксом и Ф. Энгельсом, наконец, беспрестанные занятия собственно революционной теорией, воспитание настоящей общественной потребности в ней, воспитание неистребимой потребности в практическом действии для освобождения народа — все это подготовило почву для органического восприятия в России научной теории общественного развития и соответственно к переходу практической деятельности революционеров на качественно новую ступень.

Пропаганда марксизма, этого высшего достижения теоретической мысли XIX в., была начата уже в 1883 г. заграничной плехановской группой «Освобождение тру-

да». 20 лет спустя в России была создана революционная марксистская партия, возглавившая борьбу угнетенных масс. Творческое развитие и применение марксизма к новым историческим условиям конца XIX — начала XX в. дали возможность вождю этой партии В. И. Ленину указать революционному пролетариату и его союзникам путь к решению задач, перед которыми остановилось российское революционное движение на его разночинском этапе.

Но, говоря о марксизме как единственно верной и по-настоящему действенной революционной теории, В. И. Ленин всегда отдавал дань глубочайшего уважения поискам великих предшественников марксизма в России. Он считал, что как усвоение положительного, так и изживание отрицательного опыта разночинского этапа революционного движения России способствовали победе идей научного коммунизма в стране. «А правильность этой — и только этой — революционной теории, — писал он в «Детской болезни «левизны» в коммунизме», — доказал не только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы»¹.

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 7—8.

- Адлерберг В. Ф. 25
 Адоратский В. В. 67
 Александр II 20, 25, 27, 31—35,
 46, 47, 49, 53, 61, 126, 132, 133,
 204, 216, 217, 219, 220, 222, 255
 Алексеев В. 56
 Алексеев Н. А. 183
 Алексей Михайлович 49
 Анна (Стюарт) 92
 Антонелли Д. 119
 Аптекман О. В. 273
 Аракчеев А. А. 251
 Арсеньев И. А. 271
 Арсеньев К. К. 271
 д'Артуа III (Карл X) 47
 Аскоченский В. И. 211
- Бабеф Г. 176, 179
 Бабст И. К. 28, 120
 Бакунин М. А. 9, 10, 11, 247—
 249, 251, 253, 256, 258, 260,
 267—269, 278, 279, 286
 Баллод П. Д. 157
 Барбару Ш. Ж. М. 68
 Барбес А. 174
 Баррас П. 85, 92
 Белинский В. Г. 189
 Бердяев Н. А. 266
 Блан Л. 43, 209, 271
 Бланки Л. О. 174
 Богословский Н. В. 175
 Бордюгов И. И. 209
 Ботта К. 72
 Брайт Д. 112, 189
 Бриссо Ж. П. 80
 Булгаков С. Н. 266
- Булгарин Ф. В. 130
 Бурсов Б. И. 200
- Валуев П. А. 159
 Венгеров С. А. 212
 Вентури Фр. 12, 258
 Вёрлин У. Ф. 11, 12, 123, 124,
 161, 162, 164
 Верньо П. 80
 Верховский Г. П. 191
 Виктор-Эммануил II 118
 Виленская Э. С. 14, 142, 150,
 152, 155, 217, 221
 Вилькс (Уилькс) Д. 93
 Водолазов Г. Г. 14
 Володин А. И. 14, 192
 Вудхауз Ц. М. 261
- Гагарин П. П. 25
 Галилей Г. 262
 Гарибальди Д. 115—119, 189
 Гейне Г. 227
 Георг I 92
 Георг II 92
 Георг III 92
 Гервинус Г. Г. 182
 Герцен А. И. 16, 20, 21, 22, 25,
 26, 28, 32, 33, 36, 38, 61, 64,
 126—134, 137, 143, 155, 157,
 158, 160, 161, 169, 189, 201,
 202, 204, 209, 217, 219, 233,
 234, 240, 250, 251, 266, 285
 Гизо Ф. 94, 176, 182
 Гильом Дж. 248
 Гольц-Миллер И. И. 157

- Гончаров П. А. 119
 Грахх Г. 107, 176, 179, 187
 Грахх Т. 107, 176, 179, 187
 Грамши А. 194
 Грановский Т. Н. 189
 Греч Н. И. 130
 Грин Д. Р. 72
 Гуд Т. 199
 Гюаде Г. 80
- Давид Ж. Л. 82
 Дантон Ж. Ж. 69, 83, 84
 Дейч Л. Г. 273
 Демулен К. 68, 80
 Джабарди И. С. 273
 Дизраэли Б. 176
 Добролюбов Н. А. 49, 65, 119—
 122, 129—131, 134, 189, 203,
 204, 215, 232, 244, 254, 285
 Долгоруков В. А. 25
 Долгоруков П. В. 55, 204
 Достоевский Ф. М. 229—236,
 260—266
 Дружинин А. В. 24
 Духовников Ф. В. 163
 Дюмурье Ш. Ф. 84, 179
- Евгеньев-Максимов В. Е. 29
 Европеус А. И. 64
 Екатерина II 65
 Елисеев Г. З. 232, 236
 Енишерлов Г. П. 270
 Ерасов Б. С. 8
 Ермилов В. В. 262
 Ермолов П. Д. 222, 223
- Зайончковский П. А. 52, 61
 Зайцев В. А. 175
 Зайчневский П. Г. 154, 156—158,
 286
 Зак Л. С. 212
 Зародов К. И. 8
 Засулич В. И. 250, 273
 Зевин В. Я. 29
 Зерчанинов А. А. 200
- Иванов И. И. 250, 251, 255, 256,
 261, 270
 Иванов Д. Л. 223
 Иосиф II 34, 87
 Итенберг Б. С. 255
 Ишутин Н. А. 217, 221—223,
 253, 258, 286
- Кавелин К. Д. 16, 17, 21, 24, 38,
 39—44, 131
 Кавеньяк Г. Э. Л. 29, 174
 Кавур К. Б. 117—119, 120, 176
 Кант И. 72
 Каракозов Д. В. 216—224, 228,
 236, 245, 256, 286
 Карл X 31
 Карпович М. М. 12
 Карр Е. Х. 212, 257
 Катон М. П. (старший) 179
 Каченовский Д. И. 64
 Кашкин Н. С. 125
 Кеплер И. 234, 243
 Керле Р. 261
 Клевенский М. М. 217
 Климов А. 261
 Клоотс А. 82
 Кобден Р. 93
 Козьмин Б. П. 14, 129, 155, 157,
 159, 249, 252, 253
 Кокорев В. А. 28, 58
 Комиссаров О. И. 216
 Константин Николаевич 62
 Костомаров В. Д. 163
 Кошелев А. И. 16, 24, 38
 Кошовенко А. Е. 131
 Кромвель О. 97, 188
 Кропоткин П. А. 209
 Кузнецов А. К. 255
 Кутон Ж. О. 69
- Лаврин И. 261
 Лавров П. Л. 9, 140, 273, 274
 Ланской С. С. 25, 26, 33, 53,
 159
 Ларошфуко (Лянкур Ф. А. Ф.)
 81
 Лафайет М. Ж. 81
 Лебедев А. А. 167—169
 Левин Ш. М. 14, 136, 160, 275
 Лейбзон Б. М. 8
 Лемке М. К. 151, 158, 159, 204
 Ленин В. И. 5, 9—11, 15, 16, 27,
 39, 40, 83, 98, 126, 138, 189,
 207, 215, 259, 260, 264, 274,
 275, 281—283, 288
 Лессинг Г. Э. 20, 25, 189
 Линков Я. И. 15, 160
 Лициний С. Г. 107, 187
 Локк Д. 92
 Лонэ де 68
 Луи Бонапарт (Наполеон III)
 92, 176, 211

- Луи Филипп 100, 177, 187
 Лукашевич А. О. 272
 Лукриан 169
 Луначарский А. В. 208, 214
 Людовик XI 31, 48
 Людовик XIV 31, 48
 Людовик XVI 88, 91
 Людовик XVIII 31
- Мадзини Д. 20, 119
 Маколей Т. Б. 182
 Мальзерб К.-Г. 92
 Манфред А. 3. 85
 Марат Ж.-П. 68, 79, 80
 Марий Г. 107, 178, 179, 187
 Маркович Светозар 273
 Маркс К. 67, 72, 76, 83, 98, 149, 168, 183, 248, 264, 277—281, 283—284, 287
 Мартынов А. 213, 214
 Матъез А. 82
 Мснерт К. 9
 Меттерних К. 136, 176, 177
 Миллер И. С. 154
 Милль Д. С. 173, 180, 197, 198
 Милютин Н. А. 45, 52, 53, 59
 Минье Ф. 66, 77
 Мирабо О. Г. 174
 Михайлов М. Л. 142, 151—153, 155, 189, 199, 220, 244
 Мишле Ж. 77
 Муравский М. Д. 245
 Муравьев М. Н. 25, 217, 218
- Наполеон Бонапарт 35, 85, 92, 99, 110, 177, 179, 188, 210, 262
 Натансон М. А. 250
 Наумова Н. Н. 195, 196
 Негрескул М. Ф. 250
 Некрасов Н. А. 131, 204
 Нечаев С. Г. 6, 7, 10, 11, 246—261, 263, 267—270, 272—281, 286
 Нечкина М. В. 142, 152, 160
 Нигг В. 261
 Николадзе Н. Я. 211
 Николай I 15, 16, 17, 61—62
 Николаев Н. Н. 255
 Николаев П. Ф. 222
 Никольский А. М. 222
 Новикова Н. Н. 152, 154
 Норв А. С. 33
- Ньютон II. 182, 234, 243
- Оболенский Л. Е. 222
 Обручев В. А. 151
 Обручев Н. Н. 151, 160
 Огарев Н. П. 28, 38, 58, 129, 137, 138, 161, 189, 220, 247, 251
 Орлов А. Ф. 25
 Островский А. Н. 119
- Пальмерстон Г. 176
 Панин В. Н. 44, 61—63
 Пантилеев Л. Ф. 150, 151, 163
 Пантин И. К. 14
 Паскевич Ф. И. 62
 Пестель П. И. 38
 Петр I 35, 49
 Пиль Р. 22, 93
 Пинаев М. Т. 180, 191
 Пирумова Н. М. 14
 Писарев Д. И. 156, 202, 216, 224—229, 232, 233, 236—245, 266, 285
 Плеханов Г. В. 44, 167, 287
 Плимак Е. Г. 14, 98
 Позен П. М. 16
 Покровский М. Н. 60
 Половцев В. А. 256
 Поляный М. 9
 Помбал С. 87
 Поршнев Б. Ф. 72
 Поэрио К. 129, 131
 Правдин М. 259, 260
 Прудон П. Ж. 209
 Пруцков Н. И. 212, 213
 Прижов И. Г. 255
- Раднщев А. И. 97, 98, 184, 187
 Райхин Д. Я. 200
 Ранке Л. фон 182
 Ришелье А. 31, 48
 Робеспьер М. 69, 80, 82—85, 97, 174, 179, 242
 Ройтберг Л. И. 152
 Ронсен Ш. Ф. 84
 Ростовцев Я. И. 44, 51, 53, 59, 60—62
 Ротшильд М. А. 262
 Рудницкая Е. Л. 160
 Руссо Ж. Ж. 104, 174
 Рылеев К. Ф. 38

Рэнделл Фр. Б. 11, 12, 123, 161,
162, 164, 165

Салтыков-Щедрин М. Е. 170,
211

Самарин Ю. Ф. 16, 24, 38

Свердлов Я. М. 282

Семевский В. И. 26

Сен-Жюст Л. А. 69, 85, 174, 179

Сен-Симон А. 185

Серно-Соловьевич А. А. 151,
160, 189

Серно-Соловьевич Н. А. 125,
151, 156, 160, 161, 189, 202

Снейес Э. Ж. 174

Сикорский Н. М. 40

Скафтымов А. П. 19, 29, 167,
168, 183

Слепцов А. А. 150, 151, 157, 160,
163

Собуль А. 82, 85

Соколовский 270

Сомервилл Д. 10

Спасович В. Д. 270, 271

Стахович С. Г. 108, 131, 215, 245

Стеклов Ю. М. 248

Степняк-Кравчинский С. М. 217,
273

Степун Ф. 260, 261

Столн Лициний 107, 187

Страхов Н. Н. 212, 231, 261

Струэнсе И. Ф. 87

Сулла Л. К. 178, 179

Сучков Б. Л. 264

Сьюэлл 72

Талейран Ш. М. 85, 174

Тальен Ж. Л. 85

Тарле Е. В. 85

Татищев С. С. 25, 206—207

Таубин Р. А. 152

Тацит К. 65, 66, 71

Тенгоборский Л. В. 43

Ткачев П. Н. 11, 256, 272

Толстой Д. А. 246

Тройницкий А. Г. 57

Тупикин В. 190

Тургенев И. С. 20, 45, 159, 199

Тургенев Н. И. 58

Тьер А. 77, 182, 255

Тюрго А.-Р. Ж. 48, 50, 87, 88,
92

Уланов В. Я. 26

Унковский А. М. 16, 38, 58, 64

Урусов А. И. 271

Усакина Т. И. 129

Утин Н. И. 157, 161

Успенский Г. И. 213

Успенский П. Г. 255, 270

Федосеев В. А. 223

Фейербах Л. 176

Фердинанд II 119, 129

Фигнер В. Н. 273

Филиппов Р. В. 253

Флеровский Н. (Берви В. В.)
279

Фрерон Л. М. 80

Фридрих II 35, 87

Фридрих-Вильгельм I

Фридрих-Вильгельм III 35

Фурье Ш. 185

Фуше Ж. 85

Худяков И. А. 217

Цезарь Г. Ю. 107, 187

Цитович П. П. 211

Цицерон М. Т. 262

Чарушин Н. А. 273

Чернышевский М. Н. 276

Чернышевский Н. Г. 5, 6, 10—
14, 18, 20—23, 24, 29—63, 64—
66, 70—72, 75, 76, 89—119,
122—125, 127, 131, 132, 136,
140—155, 157, 160—165, 166—
215, 218, 232, 233, 244—246,
254, 263, 279, 285

Чернышевская О. С. 163, 166,
203

Чешнхин-Ветринский В. Е. 26,
222

Чичерин Б. П. 16, 17, 21, 127—
129

Шаганов В. Н. 210

Швейцер И. Б. 278

Шекспир В. 262

Шелгунов Н. В. 65, 142, 150—
153, 155, 189, 209, 220

Шелгунова Л. П. 142, 152, 155,
220

Шибаев С. М. 190

Шилов А. А. 216, 217, 218, 220

Шлоссер Ф. К. 65—90, 91, 94,
106—107, 173—175, 177, 209,
210

Шувалов П. П. 62

Щапов А. П. 151, 271

Щербина В. Р. 169

Щеулин В. 190

Энгельс Ф. 67, 72, 76, 83, 98,
149, 168, 183, 248, 277—280,
283—284, 287

Эбер Ж. 69

Эссен О. В. 255

Яковлев А. И. 26

Введение	5
Глава 1	
Хлопоты по «опостылому делу»	15
У истоков великого спора. Вначале было «Слово». Способен ли Александр II стать «государственным человеком»? Чернышевский выражает «готовность помочь» русскому дворянству. Чернышевский в «союзе» с Кавелиным. Первые поправки к тактической линии «Современника». «Полевание» Ростовцева. К вопросу о движущих силах реформы. Последний шанс на «полюбовный» исход дела. «Колокол» надевает траур	
Глава 2	
«Современник» открывает «Историческую библиотеку»	65
«Тацит XIX столетия». «Так называемый самодержавный народ». «Раздоры между друзьями нововведений». Шлоссер: реформа или революция?	
Глава 3	
«Современник» открывает школу политики	91
«Прогресс совершается чрезвычайно медленно». «Краткие периоды усиленной работы». «. . . Главная масса еще и не принималась за дело. . .». «Естественное отношение партий». Цель и средства революционной борьбы. «Все вздор перед общим характером национального устройства». «Сицилийские и неаполитанские дела». «От Москвы до Лейпцига». Буржуазные авторы о «реформизме» Н. Г. Чернышевского	
Глава 4	
«Не начало ли перемены?»	126
Царская реформа или крестьянская революция? Манифест 19 февраля 1861 г. и Бездна. «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». «Письма без адреса». Революционеры 1861 г. Болезнь «левизны» в русской революционной демократии. Буржуазная версия об «отставании» Чернышевского от революционного движения начала 60-х годов	

Глава 5		
«Что делать?»	Главные приемы «саратовского юродивого». «От романтики к иронии»? «Смех вовсе дело не шуточное...». «Таков общий вид истории». «Тайна всемирной истории». «Второй сон Веры Павловны» и «Основания политической экономии» Милля. «Смещение безумия с умом... вопрос всемирно-исторический». И снова «новые люди». «Четвертый сон Веры Павловны» и «Перемена декораций». О коммунистическом идеале Чернышевского. «...И путь легок и заманчив...». Светлые картины романа и окружающий мрак. Современники свидетельствуют. К итогам борьбы вокруг романа «Что делать?»	166

Глава 6		
Выстрел Каракозова	«...Нужно употреблять самые энергичные меры...» «Инглизист» Писарев против нигилизма. Раскольников и Рахметов. «Борьба за жизнь»	216

Глава 7		
Нечаевское «дело»	Нечаев в России и в Европе. По стопам III отделения. «Бесы» Достоевского в современной идеологической борьбе. Разрыв Бакунина с Нечаевым. Русские демократы и революционеры против «нечаевщины». Идеи Чернышевского против «нечаевщины». Маркс и Энгельс против «нечаевщины»	246

Заключение		285
Указатель имен		289

Володин А. И. и др.
В 68 Чернышевский или Нечаев? О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50—60-х годов XIX века. М., «Мысль», 1976. 295 с.
Перед загл. авт.: Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г.

В книге анализируется позиция вождя русских демократов-разночинцев Н. Г. Чернышевского в пору «великой реформы» 1861 г., показано, как гибко и последовательно он вел революционную линию, осмысливал исторический опыт западных стран, события российской действительности. На примерах Каракозова, Ишутина, Нечаева показаны и огромные трудности сохранения и продолжения революционной традиции в самодержавной стране, — трудности, преодоленные только на пролетарском этапе освободительного движения.

В $\frac{10604-244}{004(01)-76}$ БЗ-45-3-76

9(С)1

Володин Александр Иванович,
Карякин Юрий Федорович,
Плимак Евгений Григорьевич

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ или НЕЧАЕВ!

**О подлинной и мнимой революционности
в освободительном движении России
50—60-х годов XIX века**

Заведующий редакцией В. С. Антонов
Редактор Ю. В. Мочалова
Младший редактор Е. Р. Зазульская
Оформление художника В. П. Логинова
Художественный редактор В. А. Захарченко
Технический редактор Л. П. Гришина
Корректор Т. С. Пастухова

Сдано в набор 21 апреля 1976 г. Подписано в печать 23 сентября 1976 г. Формат 84×108^{1/2}. Бумага типографская № 1. Усл. печатных листов 15,54. Учетно-издательских листов 15,91. Тираж 12 000 экз. А 08150. Заказ № 575. Цена 1 р. 18 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

1 р. 18 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО · МЫСЛЬ ·

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ИЛИ НЕЧАЕВ?

